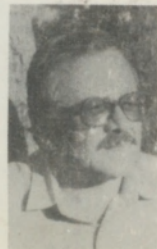


КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT  
 КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

На этой сумрачной пыльной площади, куда он попал после стольких блужданий, нет ничего, кроме бес-

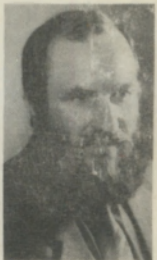


смысленного награждения телефонных будок. Те, в которых он уже побывал, стоят с отпахнутыми дверцами, и на каждой дверце отдельно от его физического естества дрожит и плавает его отражение...

*Евгений Богданов*

Когда-то П.А.Вяземский доказывал, что — не в состоянии писать мемуары о друге-родственнике Карамзине: «Ведь не напишешь же биографии, например, горячо любимого отца». Позже всякое бывало меж предками и потомками. Отец любил цитировать «Конармию» Бабеля: о том, как сын (красный) расправляется с белым папашей:

— Товарищ! главком, у пленного шашка именна. Говорит — вы награждали, — как-то слишком предупреди-



тельно и заискивающе проговорил чубатый.

Тухачевский молча перевел хмурые коровьи глаза на Егора и, не меняя раздраженного выражения сытого лица, бросил:

— Расстрелять!

*Петр Алешкин*

Это после уже, по прошествии лет, он прошел — и приятель спросил:

«Знаешь — кто?» ...и я долго

смотрел  
 ему вслед —  
 как он шел  
 по Тверской  
 и мотал головой,  
 будто лошадь  
 по шею в траве  
 луговой,  
 на исходе  
 немислимых

смы...

*Михаил Поздняев*



— Хорошо вам, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказали папаша, — худо мне.

— А теперь, папаша, мы будем вас кончать...

«В этом эпизоде, — восклицал мой отец, — уже запрограммирован будущий Павлик Морозов. Впрочем, герой Бабеля действует более открыто и честно...»

*Натан Эйдельман*

...Керимановы без привычных свойств Керимановых продолжали двигаться в окружающем мире вперед с сумками

и в руках и наперевес, как бы не зная, откуда они в мире взялись и куда они идут. И непонятно, куда бы они ушли, но свойства тихонько возвратились к ним. Их головы вновь наполнились памятью.

*Зуфар Гареев*



*Главный редактор:* Владимир Максимов  
*Зам. главного редактора:* Наталья Горбаневская  
*Ответственный секретарь:* Виолетта Иверни  
*Заведующий редакцией:* Александр Ниссен

*Редакционная коллегия:*

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон  
Николас Бетелл · Иосиф Бродский  
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес  
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург  
Густав Герлинг-Грудзинский · Пауль Гома  
Милован Джилас · Пьер Дэкс · Эжен Ионеско  
Оливье Клеман · Роберт Конквест · Наум Коржавин  
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц  
Эрнст Неизвестный · Амос Oz · Ярослав Пеленский  
Норман Подгорец · Андрей Седых · Виктор Спарре  
Юзеф Чапский · Карл-Густав Штрём

*Корреспонденты «Континента»*

Италия Сергей Рапетти  
Sergio Rapetti  
via Beruto 1/B  
20131 Milano, Italia

США Эдуард Лозанский  
Edward D. Lozansky  
3001 Veazey Terrace, N.W.  
Washington, D.C. 20008 USA

Япония Госуке Утимура  
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7  
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «Континент» — © В.Е.Максимова

Ⓚ





# КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический  
и религиозный журнал

64

1990

**КОНТИНЕНТ — CONTINENT**

**Revue trimestrielle**

**Dates de la parution:**

**début du janvier, d'avril, du juillet et d'octobre**

**Publiée par l'Association des Amis  
de la revue «Continent»**

**11 bis rue Lauriston  
75116 PARIS, France**

**Prix 60 francs**

**Directeur de la publication  
Vladimir Maximov**

## СОДЕРЖАНИЕ

Инна Лиснянская — Четыре стихотворения .....	7
Зуфар Гареев — Парк. (Повесть) .....	10
Семен Липкин — Стены Нового Иерусалима (и др. стихотворения) .....	55
Анатолий Макаров — Кафе «Националь». Рассказ .....	60
Нина Бялосинская — Молитва (и др. стихотворения) .....	80
Евгений Богданов — Телефон доверия. Рассказ .....	83
Николай Панченко — «Завершение — отважное дело...» (и др. стихотворения) .....	112
Владимир Максимов — Музейные ценности. Застолье в двух картинах. Из сценического триптиха «Женщина и некто» .....	115
Григорий Поженян — Перед уходом. — Подводя итоги. (Стихи) .....	131
Петр Алешкин — Время великой скорби. Эпизоды из жизни тамбовской деревни. Главы из романа .....	135
<i>СТИХИ ИЗ РОССИИ</i>	
Михаил Поздняев, Алексей Гелейн, Игорь Бондаревский .....	163
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
С. Зверев — Как и кто придет к власти в СССР к концу 1990 года .....	187
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Ромуальд Лазарович — Дороги и надежды .....	217
ЗАПАД — ВОСТОК	
Лев Наврозов — Стремление Кремля к мировому господству и его глобальная стратегия .....	225
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Яков Айзенштат — О Борисе Слуцком .....	259
ИСТОКИ	
Натан Эйдельман — Об отце .....	263

## ИСКУССТВО

Михаил Л е м х и н — Экран-89 ..... 287

## ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

*К 90-летию со дня рождения Андрея Платонова:*

Николай Т ю л ь п и н о в — Душа прозы ..... 307

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Андрей Н и к о л е в — Стихотворения. Публикация  
и предисловие Глеба Морева ..... 323

КОЛОНКА РЕДАКТОРА ..... 331

НАША ПОЧТА ..... 335

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Антон К о з л о в — В поисках утраченной истории ..... 355

Кира С а п г и р — Игра после мата ..... 358

Виталий А м у р с к и й «Поэт — у древа времени  
отросток...» — ..... 362

Светлана Б е л я е в а — ..... Ну что еще можно  
сказать о Пригове ..... 366

КОРОТКО О КНИГАХ ..... 371

## НАША АНКЕТА

«Я сделал свой выбор...» Беседа с главным редактором  
журнала «Новый мир» писателем Сергеем Залыгиным.  
Ведет журналист Виталий Амурский ..... 379

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

\*\*\*

Развалилось все, что долго длилось,  
Но столпилось в тьму.  
Помолилась я, перекрестилась,  
Но с груди сниму

Крест, поскольку из зимы метельной  
Двигается погром.  
Рассекут, боюсь, и мой нательный  
Алым топором.

Ярославны плач и плач Рахили  
Смешаны во мне.  
Спрячу крест, пойду по снежной пыли  
Да к своей стене.

Спрячу крест и подымусь на кровлю,  
И под град камней  
Я заплачу в голос всею кровью,  
Солью двух кровей.

1989

\*\*\*

Последние дни  
Мы и спорим и кутим, а там  
Затянем ремни  
Да и гайки подкрутим, а там  
Войдем в берега,  
Как заблудшие реки, а там  
Родная пурга  
Зацелует нам веки, а там...

1989

## НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Ах бабочка-красавица Павлиний глаз!  
Ах солнышко, песок, водохранилище! –  
Так радоваться можно лишь в последний раз,  
Неужто тебе завтра на судилище?

Ужель тебе, ликующая, невдомек,  
Что каторжная жизнь или острожная –  
Давно удел для мыслящего поперек,  
Да и в поступках ты не осторожная.

А может быть, ты дурочкой не зря слывешь,  
Все блага на земле на правду выменяв?  
А ты в ответ смеешься и плывешь, плывешь,  
Почти до седины на солнце вылиняв.

Но знает даже бабочка Павлиний глаз  
И вся вода, хранимая насильственно,  
Что так плывут не в первый, а в последний раз,  
И что тебе известна эта истина.

1984

## САЛОМИЯ

*А. Д. Сахарову*

Дрожит в руке перо подробное,  
Пугливую бросая тень  
На многоопытную чернь,  
На власть ее, на место лобное  
Без крови на текущий день.

Расправа изменилась в принципе,  
Теперь казнят не плоть, а дух, –  
Чтоб разум в светочке потух,  
К матрасу пригвозждают шприцами...  
Но нет, я не осмелюсь вслух!..

Свой вялый почерк в пыль чердачную  
Я прячу иль в подпольный мрак.  
И мнится подвороний карк:  
Не я ль та женщина невзрачная,  
Какую мельком вспомнил Марк,

Та Саломия в кофте латаной,  
Что мускус и настой смолы  
Несла и, обойдя стволы,  
Увидела, что опечатанный  
Отвален камень от скалы,

Та, что разжала пальцы с мускусом  
В пещере светом залитой,  
Та, что завидя гроб пустой,  
Бежала прочь объята ужасом  
И скованная немотой.

О Саломия в кофте латаной,  
О прикусившая язык,  
Не я ль сегодня твой двойник?  
И ты вела бы, будь ты грамотной,  
И прятала бы свой дневник.

1984

## ПАРК

Утром нашего дня юноша Коля Степанчиков лежал в постели и испытывал совершенно бессмысленную нежность и к теплой постели, и к веселым занавесочкам на окнах, и к обоям в розовый цветочек. Словно маленькой кошечке, Коле Степанчикову хотелось нежно прижаться к чему-либо, потереться щекой о что-либо пушистое или гладкое. Это вызывало в нем глубокую заботу, хотя уловить, в чем же заключалась ее суть, было трудно. Потому что, подумав: а почему бы мне не потереться гладкой щекой о подушку, а потом бы потянуться и как-то глубоко и проникновенно изогнуться, чтобы хрустнула косточка, – он заочно, как бы минуя стадию опыта, обнаружил, однако, что ни то, ни другое, ни даже третье не исчерпает сути его волнения. А тревожная радость все нарастала и нарастала в его душе. Он был похож, говоря фигурально, на клушку, которая чувствует назревание яичка.

Кстати, была курица. Непоседливая и торопкая. Предчувствуя минуту выкатывания яичка, она во весь дух мчалась через двор, чтобы скрыться под крыльцом, но никогда не успевала. Яичко окаянно выкатывалось в середине пути, что всегда курицу и удивляло и возмущало. Она настигала катившееся яичко, притормаживала его лапкой и начинала над ним запыленно вопить: ко-ко-ко!

Вот на такую клушку был похож Коля Степанчиков. Что-то внутри у него поднатужилось в родильном усилии, и из него выкатилось радостное яичко-стихотворение, к приятному изумлению самого Коли:

Я смотрю на тебя удивленный:  
 Как твой профиль и нежен, и чист!  
 И твой рот – уголек раскаленный,  
 А твой локон так мило волнист!

Прямо удивительно, что из голов некоторых людей мысли выкатываются как яички. Коле Степанчикову еще больше захотелось изогнуться, а может быть, даже свернуться клубочком. Как щенок, он радостно взвизг-



нул и даже тьякнул на обойный цветочек, а потом полетел бабочкой над этим нарядным цветком. Но неожиданно перед его кроватью воздвигнулась плотная женщина, на челе которой был список всяких бытовых забот. По сути дела, она даже немножко агрессивно вдвинулась в лирическую среду; она как бы ожидала, что ее тут же примутся выталкивать посредством полемики. Коля Степанчиков в обратном порядке из бабочки превратился в щенка, потом снова в Колю. Перед его разбуженным сознанием вспыхнула опознавательная мамашина табличка: «Творог! Творог!» Это был удар по невинному эстетическому удовольствию, и Коля очень обиделся на родительницу. Он тупо на нее посмотрел:

– Удавлюсь сейчас я через тебя!

Маманя тут же всполошилась:

– А не сходить ли мне самой?

– Вот именно! – заулюлюкал и заверещал Коля Степанчиков, немножко превратившись в поросенка. Маманя, заткнув уши, в первобытном страхе метнулась к авоськам, потом к вешалке и ушла.

Коля снова прикрыл глаза. Теперь уже ничто не мешало ему. Потихоньку он снова стал испаряться: тонкой поэтической струйкой витать над цветочками и лужками. В цветочках бродила некая темноволосая девица. На лице ее не было следов мясо-молочных продуктов – во-первых. Во-вторых, она явилась в образе классической русалки: то есть с розовыми грудями и в задумчивости. «Во дает... – хихикнул Коля. – Бабец-то голый...» Лирический трепет охватил прыщики Коли, и душа его снова стала беременеть яичком стихотворения. Как вдруг вновь явилась родительница, полны руки и творога, и других продуктов. Существо Коли вздрогнуло, а яичко стихотворения вдруг затрещало и лопнуло, и погибло. Ведь вдохновение – известное дело...

И тогда Коля Степанчиков решил принять утреннюю ванну. Он стал намыливать заковыристую голову и входить в воды душа.

А в это время в противоположной части города Т. выдвинулся другой герой нашей повести. Это был т. Кромешный Г.Г., рассказ о котором можно будет назвать так: Тревожное утро т. Кромешного Г.Г.

По сути дела, много еще всяких других людей, способных стать эпизодическими героями нашего дня, вы-

двинулось из пятиэтажных коробок в той части областного города Т. Автор с удовольствием наложил бы на любого из них приятные функции выправить начало нашей повести, пущенной наперекосяк маманей Коли Степанчикова. Но идеальным героем был для этого т. Кромешный. Он был как бы средоточием озабоченности о жизни вообще. И на этом участке предстояло много всякой борьбы.

Т. Кромешный с книгой «Наставления по производству инструктажей» в правой мускулистой заскорузлой руке пересекалицу, перпендикулярное магистральному направлению, и втиснулся в переполненный автобус. Здесь слышались всякие разнузданные речи, вроде:

– Чего ты лезешь? Сама хамка! Не шипи, кишку простудишь!

Кроме речей, в ход пускались и другие средства взвинчивания обстановки: тумачи, подтычки, навалы, выпирания. И даже кто-то сорвал с другого шляпу и швырнул в окно, крикнув при этом:

– А я все равно заставлю вас сойти на следующей остановке!

С изумлением т. Кромешный заметил, что это его шляпа. Кроме того, т. Кромешному выдавили глаз, который он, с некоторой обидой, положил в карман.

Замутилось у него в душе от такой современности, потому что он любил жить в переключке с веками. Он переложил книгу наставлений из правой руки в левую и широкими шагами стал удаляться в одиночество. Все сумрачнее становилось лицо его, все упрямее и суровее. Как бы черная тень лежала на его волевых чертах, как бы суровый ветер бил по нему – словно топором, глыба за глыбой, высекая на нем каменеющее мужество. И в эту минуту солнце как бы исчезло с голубого, похожего на зеленый стадион, неба. Низкие свинцовые тучи эпох поплыли над головой т. Кромешного. Он как бы разговаривал сам с собой, для чего он говорил:

– Ну что, т. Кромешный, одолела тревога?

И отвечал:

– Ничего, выдюжим, не впервой. Где надо – товарищи поддержат...

– Оглянись-ка по жизни: ну а как нету тебе товарищев, т. Кромешный – а? Что-то не слышно в твоём голо-

се прежнего задора, т. Кромешный... Песни в степях смолкли, стихи поостыли...

– На внешняк горлопанистый не хочу бить – бойкость мельтешинная ни к чему мне. Пора пришла неторопких, раздумчивых, привольных, как бы философских, понимаешь, побед. Громкость бойковистую молодым оставим, у нас – нутряк, нутряное...

– А победим, как думаешь?

– Всенепременно победим. Только несуетно надо бороться, неторопоко...

И свинцовые тучи стали как бы еще ниже, стали сильнее давить сверху на т. Кромешного, как бы вдальбывающая его нутряное начало в совсем уж философскую глубь. Но теперь он уверенно шагал по земле: приземисто, широкоубежденно разворачивая плечи по левому и правому флангу.

А мы приступаем к следующей главке нашей повести. Она называется: Рассказ об уборщице Толубеевой, содержащий необходимые предпосылки появления т. Петрова, в качестве почти что главного действующего лица нашей повести.

Работница Зеленого театра областного парка уборщица Толубеева вольется в наше повествование в качестве отрицательного персонажа, с целью оттенить совершенство т. Петрова. Уборщица Толубеева была похожа на бугор земли, слабо оформленный в человеческую фигуру, – она была как бы два куба, посаженных один на другой. Характер Толубеева имела молчаливый, но упорный. Ее негромкая философия жизни не походила на вольную птицу или звонкую песню. Ее всяческие и разнообразные мысли напоминали мельничные жернова, старательно перетиравшие даже самые абстрактные понятия в муку практических нужд.

Хороший летний день замер, предвосхищая появление Петрова. Толубеева наяривала в фойе шваброй. Она поглядывала на двери зала, в котором грохотало и лязгало одно из огненных произведений искусств. И в матерой ее душе змеился вот какой циничный монолог: ишь, культурные какие; думают – цацы, думают – не видали мы таких! Ой глупые, ой дураки. Им хоть плюй в глаза, они всё – Божья роса. Эх, пешки вы! Начальство-то само

в этот театр не очень-то ходят: пускай, мол, тут шушера всякая веселится. Они сами на пароходах белых катаются да в ресторанах сидят...

Да, крепко сердилась на начальство жизни уб. Толубеева. Больше всего начальство боялось, как бы Толубеева не разбогатела ненароком. Долгие мысли на эту тему занимали львиную долю интеллекта Толубеевой. Да не хочу я богатеть-то, думала она, нешто с 15-20 рублей прибавки могу разбогатеть я? А обидно мне, сердечной: всю-то жизнь горбишься, горбишься – и ни почета тебе, ни грамоты, ни прибавки... Они сами, небось, в руки швабру не больно-то возьмут. Кому ж охота зашибундыривать ой да зачербундычивать, зачербундычивать да загуживать по семи верстов погонных полов окаянных ой да казенных, да душе немилых, а постылых, – как я каждодневно делаю-юу-уу-уу...

– Эхма!

И глубокое фольклорное прошлое начинало тесниться за тучной спиной Толубеевой. В небе были кровавые отблески, дымились горящие гумна, и мужики с бабами в поддевках и кокошниках бежали к подоженной белой усадьбе с вилами и граблями наперевес. И первая была Толубеева и кричала:

– Убейте кровопивца!

Солнце только-только подкрадывалось к зениту, когда Петров вышел из дому. Он намеренно в воскресный день не заказал машины – ему хотелось пешком отправиться в парк. Он образцово смешался с шествующими туда же толпами горожан. По ходу дела он перебрасывался с трудящимися веселой шуткой, в толпе слышался его задористый смех – и солнечный день обещал пройти с огоньком, с бойцовинкой.

А у нас появилась прореха в повести, в которую необходимо поместить Рассказ о покотившемся вагончике, иллюстрирующий хорошие качества личности Петрова. Также он послужит усугублению мрачного впечатления от Толубеевой.

Появился этот вагончик в центре парка культуры, потому что было необходимо проложить новую широкую дорожку, с целью пустить по ее бокам тучные флаги и новую доску Почета. Хороших людей в городе год от года становилось все больше и больше, и одной доски на

всех уже не хватало. Вагончик как бы специально располагался на возвышении, чтобы в один прекрасный день взять да и покатиться. И он покатился. В ту зловещую минуту, когда он устремился по наклонной главной аллее вниз, на ее просторах, и вблизи, и в перспективе, находились:

1) Кречмар Т.Г. – комбайнер колхоза «Урожай» с женой и четырьмя детьми, приехавший к родной сестре Кречмар (ныне Романовой) П.Г.;

2) Бородунько Д.К. – пенсионер с женой-пенсионеркой и с подругами юности;

3) Тураев М.Н. – хлопковод, почетный гость города, в окружении корреспондентов;

4) группа передовиков соцсоревнования с женами и детьми, сестрами и братьями, общее количество которых достигало 30 человек;

5) также много других отдыхающих с женами, сестрами, детьми и братьями.

Где же в ту роковую минуту находился Петров?

Прослушав лекцию «Мы и дельфины», он под звуки песни «Бананы, бананы!» переместился в одну из беседок, где было представлено собрание произведений, посвященных 55-летию со дня рождения некоего Мочаленко Б.М. Петров, одинокий в хорошем лирическом смысле слова, прогуливался в беседке и с наслаждением вдыхал героическую атмосферу жизни Мочаленко Б.М. Через несколько минут ему предстояло тоже совершить нечто достойное внимания искусства. Наконец Петров остановился перед триптихом «Вечерний час (Мочаленко Б.М. в кругу семьи)». Картина была успокоительного содержания, что как бы ослабляло мужественно-бдительное напряжение в нем. И действительно, очень даже дородная супруга Мочаленко Б.М. с пышными, как красные яблочки, щечками, пробуждала в Петрове затаенно-теплую мысль. Что-де собственная супруга Петрова не так по-кустодиевски прекрасна, как супруга Мочаленко Б.М. Петров стал жмуриться, а сладкие его глазки сделались маленькими, и на губах выступила улыбка, похожая на розовое сердечко. Улыбка эта была несомненно личного содержания, потому что Петров думал, что хоть и хороша Мочаленко А.Б., а вот сам он, Мочаленко, как

будто бы кривоват, да и вообще неказист на вид, в то время как он, Петров, куда как недурен собою, прямо как молоденький петушок, – бери его сейчас и помещай на портрет вместе с Мочаленко Анной Борисовной: рядом с щечками, которые как два ломтя арбузных, что лежат на столе перед нею; рядом с губками, красненькими, словно фантики конфеточек, что выглядывают из-под пирожков крутобоких.

Такие мысли, конечно, не могли способствовать сохранению внутри Петрова состояния боеготовности, но исключительная собранность и любовь к народу помогли ему совершить героический поступок.

В ту минуту, когда раздались испуганные крики, в голове Петрова мелькнуло: «Беда!» И он побежал. Кстати сказать, в неверном, а точнее, в совершенно противоположном направлении, потому что, несмотря на физическое здоровье, он был глуховат на 20% и в первую минуту не разобрал, где кричат и что кричат. Ветки хлестали Петрова по лицу, а он все бежал и бежал, как вдруг заметил, что отдыхающие бегут в совершенно противоположном направлении. «От беды бегут!» – горько подумал он. И еще подумал: плохой пошел народ. Выбежал на окраину парка и обнаружил, что она совершенно пуста. «Бананы! Бананы!» – стала вертеться в голове его песня, полная тонкого психологизма.

«Назад!» – осенило его, и он прыжками, как животное кенгуру, ринулся в противоположную сторону и тяжело и долго бежал в кустах, круша их и вытаптывая. Вскоре он догнал людей и благодарно подумал: к беде бежит наш народ, к беде. Ветки хлестали Петрова по лицу, в животе колело, а он все обгонял и обгонял людей. Главное – успеть первым, подумал он. Он выскочил на главную аллею. Женщины хватили детей и тащили их, оглупевших от страха, торопливо семенили пенсионеры, спасая свои драгоценные жизни, разбегались мужчины, словно курицы. А зеленая громадина вагона приближалась.

Петров выхватил из кустов цепкий сук и бросился наперерез. Он быстро, словно лань, перебежал аллею, метнулся под тучными флагами по тротуару вверх, словно пантера, – и стал разворачивать сук поперек, а потом оттягивать назад, чтобы сунуть в ступицу левого колеса,

напрягшись жилами багровой шеи и выкатом глаз. И он успел. Но его ждала беда. Сук вывернуло и шмякнуло его по голове – да так сильно, что из головы его хлестнул фонтан крови, как из барана, и он, дико взревев, круша кусты, стал было убегать. Но вернулся, стиснул до боли зубы, снова схватил сук и, когда сук стало проворачивать вместе с колесом, крепко уперся в землю.

– Кирпичей! – кричал он, хрипя кровавой пеной. – Кирпичей давай под колеса, раззявы! Эх, ядрена копоть!

Но сук треснул, и вагон снова покатился, как бы специально для того, чтобы подвиг Петрова не закончился так быстро. Он вспомнил ребят с завода своей юности, вспомнил проходную, дядю Гошу и сказал себе: «Нельзя тебе сдать!» И тогда Петров забег вперед вагона и уперся. Он взревел как штангист, и птицы на окраинах парка сорвались с ветвей и взметнулись в небо.

– Кирпичев давай, кирпичев! – ревел он хрипло. – Эх, ядрена копоть!

И победа после этого пришла.

Радостный, веселый народ широкошумной, привольной толпой окружил остановленный вагон и героя текущего дня. Но Петров быстро скрылся в гуще деревьев, прокрался к выходу и удалился.

И вот сегодня он вышел на центральную аллею и ахнул. Голубая картина массового отдыха развернулась перед ним. Она полыхала, как алые галстуки на майском ветру. Колонны трудящихся, наполняя пространство воплями и матами, растекались по местам активного отдыха. Другие колонны трудящихся весело входили в двери буфетов и устремлялись к прилавкам с пирожками и банками кильки, а также минтая. А третьи рвались к газетным киоскам.

В целом над парком стоял восклицательный гуд: опля! ы-ых! ас-са! ур-ра! эге-ге! о-го-го! выше! быстрее! дальше! больше!

Это, несомненно, характеризовало атмосферу как оздоровительную. На широких площадках отдыхающие агрессивно (в мирном смысле слова) боролись за единоличное первенство: прыгали в высоту, в длину, крутили на перекладинах всякие финтифлюшки. Многие отдыхающие в разномастных трусах устремлялись к беговым

площадкам и занимались приседательными упражнениями на кривых ножках. Другие, поддерживая животы, уже бегали небольшими кучками по кривоватым кружочкам. Совсем рядом разворачивались пляски под ядреную гармошку. В перспективе, за подпрыгивающими головами, были лотки с пирожками, галантереей. А дальше, распугивая стада уток и гусей, выплывали в озеро нумератые лодки – это катались по воде от берега к берегу. В одной лодке пара мальчишек лупцевала друг дружку по лысым, словно тыквенки, головам. Между прочим, в этой лодке находились Кокошников М.Р. и его супруга Анна. Они были соседями Петрова по лестничной площадке. Он не узнал их, хотя, увидев, как Петька с Васькой колошматят друг друга и орут от дикой боли, как будто бы насторожился. В голове Петрова, словно ленивая рыба, проплыла какая-то мысль, вернее, обломок мысли. Этот обломок проплыл и погрузился в тину забвения.

А зря. Было бы интересно Петрову понаблюдать за взволнованной женщиной Анной. От любовного общения с природой щеки ее стыдливо рдели, а в душе ее проснулось цветистое, кудрявое чувство к собственному супругу. Она как бы чувствовала себя девушкой и даже завизжала от девичьего страха в ту минуту, когда Васька так звезданул по головенке Петьку, что лодка накренилась и чуть было не перевернулась. Она завизжала и со стыдливою любовью посмотрела на супруга и даже подумала: а вот если бы я упала сейчас в воду, то была бы им спасена.

– Не визжи, Анна, – басовито сказал супруг Кокошников. – На природе и в особенности на поверхности воды необходимо дружить с дисциплиной и порядком.

А потом взял весло и так хрякнул Ваську, что тот кувыркнулся в воду, сверкнув пятками. И сказал:

– Не спасай его, Анна! Пусть он станет добычей рыб...

А мстительный Петька сверху обрушил на братца такой мощный удар, что тот ушел под воду и больше не всплывал.

За прудом, на мощных площадках, соревновались в поднятии штанги и гирь, а рядом были организованы битвы на мешках.

Эх, спорт!



Товарищ Петров скинул штаны, быстренько отвялял 500 метров, прыгнул в высоту, обрадовав пустые небеса вольностью полета, метнул гранату, съел 300 штук русских народных блинов в соревновании «Кто больше?», влез на столб, слез со столба с холодильником в руках и под крики «ура!» получил значок «Готов к труду и обороне тоже». И только хотел было устремиться к штангам, как глаза его вдруг обнаружили на недалеком пятачке заведение. Оно было дырой, возле этого заведения чудесное-расчудесное пространство, полное ликования и здоровья, начинало искривляться, скособочиваться, замыхрыживаться, хиреть – в общем, извращаться в тлен и загнивание. Конечно, Петров не мог пройти мимо этой пивнушки. В нем ударил колокол этической работы. Он с саднящим чувством спросил себя:

– Товарищи, как же это получается, что одна часть нашего народа культурно отдыхает после трудовой недели, а другая часть, поглядывая по сторонам, наливает в кружки вовсе даже не тот напиток, название которого значится на вывеске: под желтой кружкой, полной кудрявой пены, – наливает и хмыкает?!

Петров некоторое время смотрел на мужиков, и в душе его шевелился вопросительный знак, похожий на символический крюк, предназначенный застропить самый фундамент нашей малопонятной жизни – застропить и как следует тряхнуть.

И здесь необходимо прерваться и втиснуть в образовавшуюся брешь одну историю нехорошего, пьяного содержания.

Был некто сторож Потемкин. Однажды, возвратившись с работы – а было это в десять часов утра, – он обнаружил, что в квартире гидрометдушно и, как следствие, психологически сперто. И с целью проветрить помещение открыл окна. Сам же сел на кухне и стал пить пиво, подливая туда понемногу другой жидкости. «Для веселья», – сказал себе сторож. А через час почувствовал в голове крепкопосаженную умственную тяжесть, осоловелый застой. В таком состоянии Потемкин провел минут двадцать. Но веселья не наступало, хотя для бодрости Потемкин попробовал пуститься в пляс. Потом он стал для разнообразия поглядывать в окно – хотел задать какую-то пищу своему уму. Но ничего не обнаружили за

окном его глаза, хотя они стали даже выкатываться из орбит именно с целью как можно пристальнее и строже всмотреться в окружающую действительность. Тогда сторож Потемкин слюбопытством стал смотреть в потолок. К концу пятнадцатой минуты нижняя челюсть сторожа начала отваливаться и рот превращаться в букву О. А в носу сторожа, меж буйных волос, родилась тонкая свистящая музыка: пара мух, юркнувших в ноздри, наблюдала непосредственно, как из буйной поросли рождается музыка.

Сторож между тем чихнул и подумал: «Черт знает что такое...» Он изобразительно пошевелил пальцами в воздухе. Объем заключенного в них воздуха мыслился и как некоторый куб, и как шар, и даже как конус или даже цилиндр, но как бы ни то, ни другое, ни третье при всем при этом, – а как бы более всего очевидное это самое черт знает что такое. Призадумался ст. Потемкин над таким раскладом вещей и гаркнул с седьмого этажа в раскрытое окно: «А вот посмотрим!» Он как бы боролся в эту минуту с силами абсурда доступными средствами. И после этого вошло, бодро взревел, как невиданное доселе животное:

– А вот мы кисленького!..

Вскоре явился общественный инспектор Кузькин и сказал во-первых:

– Отчего ж ты, т. Потемкин, в прекраснобушующей, яростной действительности, разукрашенной в честь дня такого-то и такого-то?

Во-вторых он молвил:

– Отчего ж ты, т. Потемкин, нагло игнорировав приказ супруги твоей о сношении белья грязного в место соответствующее, о чем было извещено в записке каракулистой, суя которую под глаза тебе, сам стыдливой краской покрываюсь за тебя, ибо туман стит тебе очи, – и в усилии прочесть написанное, потом жарким ты обливаешься, а в усилии осмыслить прочитанное, зеленее травы ты становишься, труд беря на себя сизифоровный?

В-третьих он продолжал:

– Отчего ж ты, Потемкин, говоря коротко, пьяным сделался?

Выложив такой вопросец, Кузькин призадумался. В мыслях своих, надо сказать, он был проще, понятнее:

– Дай-ка посмотрю я на тебя, гуся этакого! С утра наханьхабычился как зюзя, ёш твою переёшь, – и завы-

вания на всю квартиру устраиваешь?! И думаешь, нам нет до тебя дела? Ошибаешься, брат по сообществу! Ты вот сейчас пьяный в квартире сидишь, а через минуту выйдешь на улицу и убийства человека опасность уголовную устроишь! А инспектор Кузькин, скажут, не усмотрел! Скажут, где инспектор Кузькин находился? Чем занимался?

Тут в голове у Кузькина как бы возник строгий образ т. Кромешного, который приказал: «Сверяй по мне поступок свой!» Увидев пьяного, Кромешный коротко бросил: «В проработку!»

– Так-то вот, – удовлетворенно сказал Кузькин. – Лучше будет загодя тебя препроводить в профилактику, как бы на корню тебя, Потемкин, задушить...

Но как претворить план в жизнь? Ведь для того, чтобы отправить Потемкина в проработку, необходимо было изъять его не из квартиры, а из общественного места.

Тогда Кузькин стал выманывать сторожа на улицу.

– Эх, душа ты моя! Брат! – стал вскрикивать Кузькин и обнимать при этом Потемкина.

– Брат! Душа! – мямлил Потемкин и задушевно вскидывал очумелую голову, всматриваясь в новоявленную родню. А потом от радости гаркнул: «А вот мы кисленького-о-о-у-у...» Кузькин же в это время подпихивал его к лифту, пока не залезли они наконец. А выйдя во двор, Кузькин пустил зигзагопетляющего сторожа в самостоятельный путь, засвистел в белый свисток и немедленно задержал.

Итак, Петров стоял перед воронкообразной дырой с весьма плотной утекательной характеристикой, покачивая печальной головой, – вместе с ней в его голове покачивалась плохая эта история про сторожа Потемкина. Крохотный рассказ о женщине Коробковой вполне убедит читателя в том, сколь коварна была эта дыра. Женщина Коробкова, с простым и крупным лицом, как раз в эту минуту стояла отважно перед этой дырой. И, подумав, сделала к ней шаг, полный невидимой борьбы и неслышимой песни. Она вышла на пяточок перед пивнушкой в платке цвета алой зари и, как древний матриархат, сурово вскинула козырек ладошки к глазам своим,

ко лбу своему. Свиристое выражение ее лица говорило как бы о том, что сейчас она зычным голосом кликнет какого-нибудь подкаблучного мужичонку Петьку-Леньку и развернет перед его мировоззрением монолог, полный тумачков и заталдычин. Дескать:

– Опять пиво! Мы для того с тобой пришли в природу, чтобы ты с мужиками трескал пиво! У, душитель! А я шаландаюсь с детьми, как антилопа-гну!

И уведет с собой к спорту, как бы вырвав из рук зла. Петров, растроганно улыбувшись, мысленно наградил ее вымпелом.

Высоко подняв пурпурный вымпел в правой руке, женщина Коробкова ушла в невидимые стойла пиво-воды и больше не возвращалась. Более того, послышался ее легкомысленный смех, и зла в мире стало как бы больше – больше ровно на одну женщину Коробкову...

Петров ахнул, сердце Петрова спасательски сжалось.

Он пересек условную границу. Он улыбался одной из своих блистательных, неопровержимых улыбок – улыбкой, похожей на почетную грамоту и графин с водой. Кроме того, эта улыбка была полна психологизма, что делало ее привлекательной и для самых широких слоев интеллигенции. В добром смысле выпячивая идею спортсменства, иллюстрируя бойцовские качества внешней личности, Петров маршеобразно принялся вымуштровываться к пивнушке – и в это же время из всех расщелин его богатой внутренней личности грянул гром и треск золотистых литавр. Он сделал еще один шаг и стал, как красивый белый парус, призывать население пивнушки и женщину Коробкову, как мать детей и жену своего мужа, обратить на него, на Петрова, внимание. И для этого, как бы иллюстрируя радушие, вместе со вторым шагом распахнул сучающие объятия и широко улыбулся улыбкой, которая была похожа на капитанов дальних морей.

Но тут же Петров убрал с губ улыбку и сделал шаг назад, якобы усомнившись в легкой победе, якобы говоря себе:

– Нет, мне еще не удалось одержать победу, пусть сладость борьбы длится более и не дряхлеет мускул моего грозного сердца!

– Э нет, – сказал Петров, – сделаю-ка я шаг назад, чем шаг вперед, изображу-ка я идею, с которой срослись они к нашей всеобщей печали...

И Петров, изобразив на своем лице кайф, балдеж и расслабку – длиной в их зарубежную жизнь, – снова начал втискиваться в гнусную дыру, раздвигая ее края налево и направо мускулом. Его лицо изображало сейчас:

- а) веселье удалое
- б) загуляли мужики
- в) вызревание песняка

Со вторым шагом Петров пошел вприсядку, но и шаловливо тряс пальчиком: э, дескать, знаю всё, сам в лаптях ходил – да паровозный техникум кончил я! И даже бренчал воображаемой балалайкой, мол: и в полях бродил, и косьбу знаю, и про березки наши знаю: как, бывало, шапку скинешь с головы окаянной и как взрешь в роще Есениным: эх, мол, березки-сережки!

Некто забубенный тут же смахнул слезу, скинул бритопомятую фурагу и, вскрикнув: «Эх: мать-перемать да ядрена копоть!», – пустился навстречу.

Теперь Петровых было как бы двое. Один Петров был с щечками цвета новой зари – будто бы прошедший трудный путь эволюции из проклятого прошлого в спортивное настоящее. А другой – еще не начавший этого пути. И вдвоем они принялись размашисто-присядочно пластать пространство. Но как вдруг вышел кто-то третий, достаточно интеллигентный. Он, живописуя идею согбенного под бременем философа наших мелкотравчатых дней – пообтрепанного, конечно же, – набычился, обиделся, безоглядно ринулся вперед и утек в неизвестность, повесив перед носом Петрова крюк вопроса.

– Ага! – вскричал Петров, и голос его был похож на рельсы магистралей. – Ушел в амбивалентность! И амбивалентность знаю, как же, – не думай, в школе жизни прошел!

Так сказал он и, изображая множество, перестал прыгать вприсядку, а поплыл как бы величавой лебедушкой, а потом встрепенулся как бы джигитом на коне, а потом как бы стал стучать в бубен. Но все это разнообразие наконец он завершил знакомым маршеобразным шагом. Он вскинул правой рукой – и тут же взлетела в

небо армада ракет, и устремилась в космос, и покорила его; вскинул он левой рукой – и в небе возникли отряды самолетов, и по земле ринулись трактора и поползли белые фермы с красными крышами. Вскинул он левой бровью – и брызнул из глаза луч лазера, ударил в дно Марианской впадины, нащупал там какую-то тварь невиданную и дал ей название и класс. Сверкнул он правым глазом – и в какой-то пустыне вырос цветок.

– То-то же! – вскричал Петров радостно. – Не пущать амбивалентность!

И гордо ушел в перспективу, где толкали штанги, – как бы заштопав дыру, которую проломила на голубом горизонте черная амбивалентность.

В этот самый момент оживилась и уб. Толубеева. Она взяла ведро с мусором и, крепко держась широкими ступнями за землю, прошагала к помойке. В заиндевелой ее душе положительно потеплело, когда она увидела Петрова. «Ишь, они сами пришли отдохнуть», – подумала она.

Как только Петров скрылся, как только произошло первичное перевоспитание уб. Толубеевой, в парке появился юноша Коля Степанчиков. Кудрявая его голова была полна цветочками и бабочками. Коля Степанчиков тут же столкнулся со следами профилактических деяний Петровой. Вдвигаясь в пивную среду, Петров, по закону Архимеда, вытеснил из нее двух хороших мужиков. Прихватив закусовые причиндалы, те усочились в близлежащие кусты. Они долго окликали друг друга в дебрях заблудившегося сознания, прежде чем встретились. Они колотили друг друга в грудь и как перед последним прощанием вопили:

– Да ты же мне друг!

– А ты мне тоже!

Они сидели в окружении белоснежных кашек и одуванчиков, между ними была газетка с рыбешкой. «Вот так да!» – радостно и удивленно подумал всем своим неразумением Коля Степанчиков. Холодное дыхание окружающего мира, некая невидимая репрессия, которую он ощущал как всякий мыслящий человек, – все это внезапно исчезло и открылось другое. Здесь был пир дружбы и любви. А рядом в кустах хохотом хохотала женщина Коробкова.

– Здравствуйте, мужики! – стилизованно для пользы дела сказал Коля. И хотел было вклиниться в эту компашку, хотел было присесть, но...

Как только в задубелых перепонках мужиков раздался задорный голос чужака, они, не открывая глаз, стали шарить паническими руками в траве, как бы пряча остатки пира. «На хвост хотит сесть!» – дружно подумали мужики и, схоронив пузырь, труппами повалились на землю, слились с молчанием травы, притаились.

Докричаться до них Коле не удалось, отчего он красиво вздохнул.

На пруду во всю медную мощь ревели трубы. Это прощалась славянка, второй век подряд. Тащили в фургон синюшной тыквенкой вперед утопленника Ваську, пела песню любви женщина Анна, высоко вскидывая перед мужем Коккошниковым мускулистую голову и стыдливо рдея. Песня высоко летела над прудом, уходила в небо и как бы в вечности запечатлевался герой ее – муж Коккошников. С новой силой стала визжать в кустах Коробкова, как будто кто щекотал ее в крутые бока. Крутилась карусель, ходил милиционер, бдительно всматриваясь в отсутствие преступника вокруг, прыгали пляски. Веселый народ шумной толпой, бодрясь шуткой и пословицей, входил в магазины и палатки и растекался у прилавков, хватая молотки и гвозди, грабли и ведра, консервы с минтаем, а также импортные монгольские перчатки и тюль в ржавинку местного производства. Только Коле Степанчикову пока не было места в этой прекрасной кутерьме, удовлетворенный гул которой плотно висел над парком и час от часу набирал в весе.

Коля хотел было пойти в кафе покушать блинчиков, встал для этого в очередь, но в Зеленом театре грянули литавры, и народ из палаток повалил в театр, закружив с собой Колю.

В театре на сцену выехал танк, рванули снаряды, вздыбилась земля и умер полк солдат, каждый из которых что-то прокричал навстречу вечности. Потом выехал комбайн, поехал было по ржаному полю, но ретроспективно превратился в танк, снова рванули снаряды; и комбайнер, который хотел было беззаветно отдаться мирным будням, прокричал с голоса суфлера: «Нельзя

отдаваться!» – и превратился в солдата, сел в танк и рванул вперед. Коля Степанчиков вскричал, потому что показалось ему, что цветочки у него в голове будут раздавлены танком или комбайном. Жалея цветочки, Коля вышел из театра.

Уборщица Толубеева, заметив это, бдительно выпрямилась от ведра и швабры. Она насторожилась. И дураку было ясно, что паренек готовился совершить деяние.

Она пересекла пустое фойе и пустилась за Колей в путь. Она точно знала, что хулиган по выходе из театра намерен вытащить из кармана мел и написать на стене что-нибудь вроде «МЯСО», или «КОНЮШНЯ», или «ЗДЕСЬ СТОЯЛ И ПЛЕВАЛ СЕРЕЖА».

И удивилась, когда этого не произошло в ту же секунду. Хулиган почему-то медлил. «Ага!» – соображала Толубеева.

Коля Степанчиков, кстати, сам взвинтил ситуацию. Он почему-то воровато обернулся, и это его выражение на лице «не идет ли кто?» определенно подкормило деятельность уб. Толубеевой. «Ага!» – наконец докумекалась она, вспомнив лекцию про панков, которую накануне прослушала на лавочках Зеленого театра вместе с еще одной, дремлющей старушкой. «Панк он! Панк и есть!». С тех пор больше всего уб. Толубеева боялась на свете панков. «Уж я-то знаю, какой ты план затеял, пацанишка этакий!» – подумала она и пригрозила пальцем.

Сторожевой поток мыслей, бывший достоянием Толубеевой, перетек в неразумную голову Коли, набылчился черной тучей над голубыми цветочками. Отчего цветочки зачирикали, защебетали:

– Ничего криминального я совершать не собираюсь, можете не волноваться, дорогая Домна Петровна...

И Коля, сама невинность, туристически любопытно задрал голову и немножко изменил маршрут. Он стал перемещаться к статуе «Девушка без весла». А уб. Толубеева, движимая застрявшим в голове обломком мысли, стала красться вслед за ним. Она выдвинулась за Колей из-за статуи «Тучи», представлявшей из себя некоего сурового бдителя мужского пола. Он всматривался из-под мохнатых бровей в вероломную даль. Голова бдителя



была обрамлена каменными тучами. Выражение лица уб. Толубеевой по закону ассимиляции приняло тот же вид, что и физиономия бдителя. А в приземистой ее фигуре даже появилась какая-то упругая стать. Вследствие этого всякое испуганное сознание могло предположить, что близится секунда расправы.

Шаг Коли становился все беспомощнее. Судивлением он заметил, что в руках уборщицы Толубеевой – белоснежное весло. Сердце его дрогнуло и торопливо заходило туда-сюда в узкой грудной клетке. «Господи!» – подумал он невольно набожно. Пятачок перед зданием театра был аморально пуст. Впрочем, более или менее отчетливо слышались из театра ободряющие звуки хора, а в небе пока еще светило солнце. Можно было сколотить метафорическую коалицию. Сознание Коли стало крепнуть, и он произнес:

– Вы что, Домна Петровна? Вы тревожно думаете, что я того... ээ... вы что – действительно профилактически волнуетесь?

Вероятно, это был лишний вопрос, в формальном пространстве он прозвучал безнадежно. Но уб. Толубеева, как это ни странно, откликнулась:

– Я – что? – молвила она. – Я-то ничего. А вот ты здесь чем надумал заняться, а? Ты думаешь здесь...

Она переложила весло из правой руки в левую:

– ...ты думаешь, здесь, во храме, в галерее искусств, в сокровищнице областной культуры, можно того... того самого... то мокрое дело, какое задумал ты, мальчишка поганый, кобелек несмышленный...

В душе ее от высоких чувств к искусствам, которые собирался оросить Коля Степанчиков, родилась песня. Нет, это была былина – нет, скорее сказ. Этот сказ соединился с хором в театре, а Толубеева стала солировать:

А уж вот я тебя! А уж вот-то я струечку  
твою серебристую  
серебристую ой да серебряную,  
в лучах солнца шаловливую,  
разную да кувыркалистую, –  
ой да как перебью,  
сзади по мягкому месту вдаривши!

Ой да по попочке твоей розовенькой,  
словно два младенческие пяточки, – вдаривши!  
Ну и вдарю-то я!  
Да как чебану!  
Шмякну!  
Так уж точно струйку свою серебристую  
прекратишь,  
ой да оборвешь, кобелек ты мой глупенький  
да несмышленный,  
дитя ты мое махонькое,  
мальчоночка ты мой тонюсенький  
тонюсенький, словно былиночка!

Несомненно, это была песня, потому как уб. Толубеева, синкретически растворившись в фольклоре веков, покачивалась в такт.

Не враждебно была бы я к тебе настроена,  
но на службе я нахожусь, милашечка.  
И необходимо мне, швабру схвативши наперевес,  
словно винтовку, –  
упреждая пальцев твоих бег озорной по гульфику,  
чтоб постыдство не прыснуло из него  
на виду у девушки и весла, –  
ринуться к месту, где глупенький ребенок,  
хиппичонок молоденький,  
панк-панкченок,  
у которого височек-выбриченок, –  
нанести хотел пощечину  
вкусу общественному!  
Ринуться да арестовать!  
Засвистеть соловьем, замахать колоколом,  
закричать совестью, –  
тотчас чтоб милиционеры явились бравые,  
бравые да нарядные, –  
да и акт составили,  
ой да протоколушко!

Коля выслушал все это, и ему показалось, что в театре гремит хор милиционеров:  
Штраф – оно такое дело...

Штраф – дурак, мы прямо скажем!  
Всякий может залететь!  
Без амбиций потому  
ты расплачивайся!

Коля Степанчиков испуганно крикнул:

– У меня денег нету, Домна Петровна! И всё вы напрасно придумали...

– Давай, иди своей дорогой, – сказала просто Толубеева. Она присовокупила мысленно: ишь, прыткий, словно петушок, через поколенья хочет перепрыгнуть...

Коля пошел своей дорогой. Он вышел к пруду, хотел было включиться в дружину спасения на водах, но передумал. Вместо этого он вышел на поляну. Здесь была беседка с надписью «Уголок греческой мудрости». За ширмой сидел студент Фомушкин и поглядывал сквозь дырочку, стекается ли народ. Он подрабатывал в парке Сократом. Народ скапливался.

– Как жадно наши люди тянутся к знаниям! – ободряя себя, патетически воскликнул студент. Рядом был водопроводчик. Хотя он был глухой, но от силы чувств Фомушкина вздрогнул и радостно замычал. Студент подложил под рубашку подушку, надел лысый парик и с кипой книг вышел под искусственный платан. В это же самое время глухой водопроводчик (он же дворник, а также слесарь и сторож) включил кран, и раздался вокруг шум ручья. Студент был бледный, работать было трудно, потому что люди хотели знать всё, а не частями: задавим ли Америку, если пойдут войной, сколько может съесть утка, как будет по-английски «любовь», посадили ли Темакова и сколько дали, и многое другое. Студент обычно не успевал и рта раскрыть – вопросы жарко обсуждались в очереди, и в совместном усилии все рождали истину: Рейгана задавим, хотя придется подтянуть пояса, утка ест много и правильно делает: для того и воевали...

Сегодня очередь возглавлял громадный экскаваторщик. В рыжем его чубу как бы шурилось солнце, а в глазах топорщилась глубокая рабочая и жизненная закваска. Он вытащил тетрадь в клетку и прочитал такие стихи:

Рабочие пошли на перекур.

Я с экскаватора спустился  
И в небо голубое посмотрел.  
Эх, и хороша жизнь, как Пушкин говорил!

Студент Фомушкин ядовито оживился, желчь заиграла на его одухотворенных щеках. В первый раз он решил на вопрос ответить единолично. Дело в том, что студент учился на филологическом факультете.

– Каково? – между тем спросил экскаваторщик и протянул руку для знакомства. – Федор.

– Не мешай! – одернул кто-то Федора. – Видишь, думает... Имеет право пять минут подумать...

– А чего думать? – напористо сказал Федор. – Это бьет в лоб и навсегда. Неотразимо. Потому что хочу с людьми говорить как с современниками...

Помолчали.

– Плохо, – сказал студент. – Бездарно...

Кто-то хихикнул:

– Ишь чего захотел, три минуты и писатель... Иди-ка лучше повкалывай...

– Кто? Я? Да я четыре нормы в смену даю!

– Ну и давай дальше. Без тебя обойдутся, тоже мне Пегас выискался, Пиндар... Так каждый дурак сможет...

– Кто сказал, что я дурак? – кулак Федора стал наливать свинцом.

Стали молчать и смотреть по сторонам: как бы тот, кто сказал, уже скрылся в кустах. Экскаваторщик стал неотвратимо надвигаться на какого-то пенсионера.

– А что? – сказал пенсионер. – Неплохие стихи... Про жизнь нашу трудовую... С огоньком, понимаешь, с задоринкой...

– А ведь точно! – поддержал кто-то. – За жизнь сказал... глубоко копнул... продрал...

– Продрал! – закричали вокруг.

– А он, лысый, наших стихов не признаёт! И чему учат! Еще древний грек называется... – Толпа стала надвигаться. – Книг набрал...

Студент Фомушкин молчал. Он задыхался, он открыл книгу и вдохнул в себя, будто в последний раз, живительную силу знания.

– Говори! – гаркнул Федор.

– Сыпь!

– Не держи народ!

Студент ударил экскаваторщика по голове «Большой Советской Энциклопедией» и упал в обморок. Его облили холодной водой и поставили на ноги. Рядом рыдал Федор:

– Простого гражданина во мне ты можешь убить, а поэта – не убьешь!

– И не стыдно? – корила студента толпа. – Еще и дерется, нет чтобы доброе слово сказать...

– Достоевский! – закричал студент. Его хватил белый кошмар, он запел «Интернационал» и вновь упал в обморок.

Немой и глухой, и водопроводчик, и сторож, и дворник, и слесарь, вздрогнул и, обезумев, помчался в деревьях, оглашая парк низкосдавленным мычанием. Оно рвалось к небу и не могло преодолеть плена немоты. Тогда он, телом превратившись в собственный вопль, сиганул в него по ступенькам деревьев и оторвал от земли одним рывком. Он первобытно, как Тарзан, сидел в кронах и хищно сверкал очами.

Студента вновь отлили водой, и тогда он забормotal:

– Движение авторской мысли совершается не в ограниченной камерной среде, чем грешат многие молодые авторы, Нет, автор эпически направляет пытливое сознание по вселенскому кругу извечных проклятых вопросов бытия. Эта маленькая картинка полна на самом деле символической глубины. Мы видим в ее перспективе индустрию заводов и фабрик, видим широкие, привольные поля, а на них тучную живность. Герой-экскаваторщик, злобой дня приобщаясь к трудовой жизни, приобщает и нас – вот какова сила искусства! Мы соперничаем герою, радуемся его обретениям, учимся размышлять о красоте родной земли и бесконечной доброте труженика-народа, перед которым мы все с вами в прекрасном лирическом долгу!..

– Это ты правильно, – одобрительно загудела толпа. – Хорошие стихи, куда уж там грекам!

– Продрал! – зарыдал кто-то громко. – Глубоко копнул, в сердцевинку, ядрена вошь!

Федор ахнул, бросил студенту 700 рублей и рывкнул в воздух:

– Ну, теперь я им покажу!

И он ломанулся сквозь кусты на дорогу судьбы. Он как бы был уже и Пегас и всадник собственного Пегаса одновременно – и потому он был как бы кентавр. В кустах затрещало, захохотало и жалобно взвыло. Экскаваторщик в крупном беге своротил беседку с дремлющей бабкой. Из-под левой его ноги взвилась пыль, а из-под правой ударил камень и пробился холодный ключ. «Ух, я и-и-и-им!» – пронеслось еще раз над парком и скрылось за горизонтом.

Студент упал и больше не поднимался. Его погрузили в фургон вместе с утопшими, и машина, жалобно ревя и сверкая синим оком, выехала из парка.

Между тем т. Петров радостно вышагивал под уставшим, вечереющим небом. Как вдруг он увидел Кромешного. Кромешный шел по аллее в направлении пятиэтажных коробок, которые он покинул утром, и пел суровую песню, которую ему подарил горизонт.

– Т. Кромешный! – окликнул его Петров.

– Беги ко мне через мою атмосферу, – ответил Кромешный. – Встретишь трудности – не останавливайся; упорством проявишь любовь ко мне, и это учту, когда окончательно стану в песняка уходить...

Петров затрусил. Стали возникать овраги и буреломы, огонь и дым, который вползал в легкие, пот и гарь лихоманных лет. Лихолетье, по мере того как Петров бежал, сгущалось, и вскоре не было отдельно ни оврагов, ни буреломов, ни скал, ни ям, а было что-то огромное, одна ревушая, раскоруженная стихия. Так что можно было сказать, что Петров бежал по оврагам, по скалам, равно как Петров бежал и по крутосклонам и крутоярам, а также по крутогорам и другим лихим путям – в дыму, в копоти, в пламени и огне, в молниях и гари. А кругом все ухало и радостно щеперилось, гикало и возносилось, а также падало и стонало, хрипело и скрежетало. А в самом центре, сбросив пиджак, засучив рукава, обгорелый и клочкастый, стоял т. Кромешный.

– Лихая година! – закричал Кромешный, – горячие денечки! Иди, Петров, встань оплечь мне! Ничего, выдюжим: где наша не пропадала!

– Есть! – гаркнул Петров, и вместе они в единоборческом усилии, мускулами спины, шеи и плеч, стали вваливаться в какой-то ржавый железный люк. Крышка вдруг поддалась, и они ухнули куда-то глубоко, но не навсегда, как испугался было Петров, хотя был не робкого десятка. Тут же вскочили, увидели хрипящего врага. Петров схватил то ли лом, то ли какую-то заложку или кувалду и хлестнул по спине кого-то, тот захрипел, из-под бока у него вырвалось новое пламя, новые клубы дыма, и где-то рвануло так, что затрещало в ушах, и Кромешный с Петровым исчезли вовсе, потом полезли сквозь груды щебня, потом поползли сквозь темное логово, в цепких объятьях душа в усмерть чьи-то шеи.

Тут, кряхтя, откуда-то взялась Толубеева и молодева-то гикнула:

– Геть, люблю я мужскую энергию т. Кромешного!

– Добре! – гаркнул Кромешный. – Подсобика, товарищ женщина! Видишь – лихоманка навалилась...

– Вижу, как же не вижу! – Толубеева выхватила швабру и принялась за привычное терпкое дело.

– Погонны метры уж я ух зашимундычиваю... – бормотала она при этом горячо и сердечно, по-особенному строго и весело.

Кромешный воскликнул, подмигнув Петрову:

– А чего ты, баба, моешь в гарь-то такую, а? Посмотри, во дворе какое столетие яростное...

Глянула Толубеева во двор – точно, лихое там столетие пузырится да ярится. Но была она не очень смекливая, зато гордая.

– Полы... – буркнула она.

– Так ведь нету полов! – подмигнул Кромешный Петрову.

– Как же нет! – озлилась Толубеева горячо; и в столетии от лишнего огня стало жарче – жарче ровно на одну уб. Толубееву. – И швабра в руках у меня есть, и загугуниваю я погонны метры, глаз не разгибая к солнцу, – а полов ить и нету? Врешь, товарищ Кромешный!

– А погляди-ка, баба, кругом гарь, копть, огонь да полымя: где же полы-то необъятные?

Глянула Толубеева зорче: точно, холмы кругом дымят, пролески коптят, проселками извензелеванные.

– А ить точно нету! – бормотнула она и с конфузом удалилась в Зеленый театр.

Между тем Кромешный перевязал голову бинтом, всхрипел, взъярился как бык и стал с новой силой вваливаться в дым.

– Даешь! – хрипел он и душил невидимого врага крепкой рукой.

Петров тоже навалился, треснул кого-то в мясистую челюсть, кого-то проколол привычным острым суком, который знакомо случился под рукой, зарычал, вырвал из земли огромный камень и ухнул его в какую-то яму, а сам побежал вкось и вниз, ничего не видя и не слыша, таща ковылявистую ногу. Уж где-то занималась заря или умирал закат, а тут была уже ночь или еще утро; не было ни снега, ни травы – так что Петров бежал по черной земле, под черным небом, глотая черный воздух, – и бежал он то ли зимой, то ли летом, а может быть, весной или даже осенью.

Страшной силы удар в челюсть свалил его с ног. Он успел увидеть только спину Кромешного и локоть его, нанесший этот самый удар. «Предатель!» – мелькнуло в голове Петрова, и все померкло перед ним.

Очнулся он через полчаса.

Кромешный схватил лошадь под уздцы, вскочил и только было хотел помчаться, как лошадь умерла от бесконечных ран и пыльных дорог.

– Эх, кудрит твою репку! – закричал Кромешный и схватил автомобиль, но в бензобаке так рвануло, что Кромешный тучно вывалился из дверцы и накрепко захрипел из кювета:

– Мотоциклу давай, Петров, чего стоишь... Седлай мото, ехай в Ферापонтовку, доложи обстановку, пусть людей подпольный обком даст!

– А ты как же! – вскричал Петров, простив Кромешному оказию в виде выбитых зубов.

– Ехай! – закричал Кромешный, а в бензобаке тем временем снова что-то рвануло. Из клуб дыма вывалилась Толубеева, схватилась за задки мотоцикла, запричитала:



– А ить и меня возьмите!

– Не можно! – Петров оседлал сиденье и резко дал газу, но мотоцикл, прикрепленный к тяжелой, заземленной Толубеевой, лишь взревел и встал на дыбы.

– Уйди, баба, счет секундам веду! – Петров изловчился и лягнул Толубееву в бесконечную грудь. Она стала оседать в черном тумане, свободной рукой ловя воздух, которого в атмосфере не было для ее груди. В это же мгновение ударил шторм вместе со зловещими молниями и на мгновенье все сокрыл под бурными волнами моря-окияна.

– Да ить одно дело делаем! – однако очнулась Толубеева и притянула к себе вздыбленный мото. Она ловко взъярилась на задки его.

– Эх, баба! – заплакал Петров от высокого, важного горя. – Да ведь не везет нас мото – тяжела ты, матушка моя закравленная!

– А газу поддай! – ревел Кромешный из огня, как восьмая стихия природы. Он вывалился из огня и крупно пошел на задки мото и на бугристую спину Толубеевой. И мотоцикл рванул.

– Передайте мой светлый и огненный привет Потапову! – хрипел Кромешный. – Пусть помнят меня и наше общее дело!

А уж огонь, вода и гарь несусветные объяли его тело, скрутили, пригнули к земле. Петров стал мчаться в наши дни, везя нам привет. На задках сидела Толубеева, суровыми чертами тревожно вглядываясь в кромешную близость спины Петрова.

Тут грянула долгожданная хорогромовая песня, и Кромешный поспешил в нее. Кромешный рисковал не успеть к ее концу. Торопясь, он сделал первый шаг. Левая его нога, рука, грудь тут же стали гранитными и бронзовыми, как, впрочем, и левый выдавленный глаз. Он грозно воспарил в суровом напряжении надмчающимся Петровым и уборщицей Толубеевой, отчего те вздрогнули, а Толубеева, кроме того, единолично зарыдала:

– Корми-и-и-и-лец!...

Но Петров зыкнул, и Толубеева смолкла.

А в левой руке у Кромешного уже был стальной самолет, потому что эта рука Кромешного уже была в

эпохе и ей не надлежало там висеть пустой, а надлежало быть предельно нагруженной смыслом.

– Что ж! – крикнул Петров прощально. – Уходишь, т. Кромешный?

– Ухожу! – громохнул каменными губами Кромешный. – Боюсь в песню не поспеть! Ну, давай, жми в Феррапонтовку! – загрохотал Кромешный в последний раз. В последний раз над ним сверкнул огонь, в последний раз над ним рвануло и чудовищно лязгнуло; и он ушел, поспев к самым последним, самым крылатым словам:

...люди беды и пожара!..

И грандиозно застыл. В правой его руке возник атом, заэллипсованный орбитами электронов, а в глазах заблестели космические лучи лазеров. В паху у т. Кромешного вырос белый цветок, чтобы экскурсовод мог ткнуть указкой в любую часть тела его и везде бы было или величаво, или просто прекрасно, как этот белый цветок.

Страницы нашей повести в связи с чудесной метаморфозой т. Кромешного на некоторое время тоже застынут в величии, в мечте.

Каменные ракеты и самолеты в хватистой руке Кромешного – по этой причине – дрогнули и полетели в космический век. В ракетах и самолетах сидел Петров, держа в руках барельеф с собственным изображением, чтобы доставить его в уголки мироздания, – и сидели в ракетах и самолетах люди, ведомые им. Они летели и поглядывали в окна, как вдруг Петров отдал приказ своему сердцу выйти в космос на радость человечества.

– Позовите мне слесаря! – велел Петров, кряжисто подпоясываясь бечевкой, чтобы не улететь случайно к звездам.

Пришел слесарь. Он вытуманился из слесарской, он выкатился сизым бессмысленным глазом к Петрову.

– Здравствуй! – коротко бросил Петров. – Получил приказ собственного сердца выйти в космос.

– Это дело! – одобрил слесарь и незаметно закусил луком. Он отправился отвинчивать люк. Но люк пошел вкось, заклинило борт. Слесарь качнулся с ключом в руках и очевидно оказался более чем пьян.

– Мать твоё ядрена пипетка! – ругнулся Петров, и вместе со слесарем они стали наваливаться на люка космического скособось.

– В будущем ведь живешь... – кряхтел Петров на слесаря. Потом поднатужился, захрипел бугристой шеей и нутром:

– Людей иди зови, человеческим фактором навалимся. Он нам сподручнее на все времена...

Слесарь стал уплывать под потолком: огромный его потоптанный башмак качался перед Петровым. Он плыл, упираемый в ягодицы приказом и контрольным зреньем Петрова, – он плыл, блекло освещая себе путь сизым, помятым глазом, в котором было мало смысла.

Петров с подбужавшими людьми навалился на косою люк, потом хватил кувалдой по болту, отчего в каменной ракете пошел гуд, и космос в округе дрогнул и шарахнулся от землян. Слесарь сизого глаза вновь крупно неотвратимо возник перед Петровым. В невесомость из его рта вывалился пузырь зеленого цвета. То был пузырь дремы и легкого храпа.

– Спишь! – рыкнул Петров. – Спишь, мать твою за ногу! Спишь среди бела дня, в разгаре дела, в самое его кипенье!

Слесарь проснулся и сказал:

– Так ведь ночь же, чего же в космосе ночью делать?

– Ишь ты, ночь! Да в космосе всю жизнь ночь – по географии не проходил ли, дурья башка!

Тут слесарь задумался и вместе с людьми стал наваливаться на Петрова, а Петров опять трудом плеча – на люк.

– Давай-давай! – хрипел он, и плечи людей стали теснее, головы тоже. – Снизу навалились, снизу кувалдой ахни!

Снизу трахнули кувалдой, обрзовалась дыра, и в ней лихо завыл, заверещал звездами космос.

– Затычку давай! – крикнул Петров, натянув скафандр. Он сунул затычку, проложив ее тряпкой.

– Эх, не быть мне в космосе сегодня! – кручинился он, почесывая затылок; он вновь взял в руки барельеф и сел.

– К завтраму, – сказал слесарь. – К завтраму выйдем. План сердца все равно дадим, не бойсь, Петров...

Через некоторое время они были в другом конце Галактики, на другой планете. Петров, сойдя с корабля,

обнялся с братьями по разуму. Они ничем не отличались от людей. У них тоже были города и веси, луга и пашни. В канавах стояли скособоченные трактора, под ними дрыхли трактористы, накрывшись кудрявыми, забубенными чубами. Вдалеке хромали низенькие хозяйства, уходили в хроменькую перспективу вкривь да вбок столбы, в небе жирно тучились неурожайные облака, плыли над косыми дорогами.

Слесарь земной вышел из-за спины Петрова и обнялся со слесарем иноразумным. И вместе они ушли починять жизнь, взглядевшись друг в друга и делясь опытом.

– Эх, хорошо! – закричал Петров, открывая митинг. – Мы людей вам на подмогу бросили, будем вместе починять уголки мироздания!

И земные люди обнялись с братьями по разуму. И, шуганув небеса песнями и звонкими мечтами, принялись вместе с Петровым засучивать рукава.

Вот как эпически размахнула нашу повесть рука т. Кромешного. Однако не упустили ли мы лирической волны?

В то время как Петров, ведомый каменной мыслью т. Кромешного, летел в космосе, земная женщина Полина Скурдыбашева в шесть часов вечера прохаживалась в коробке своей квартиры. Полина была женой областного писателя-неудачника Сергея Петровича. Она была рыхлой девицей – было ей больше восемнадцати лет, но не было еще сорока. Она стыдилась своего деревенского прошлого. У нее были яркие губы малиновым фантиком. По выходным дням она любила разгуливать по квартире, слегка томясь в пеньюаре цвета розового поросеночка с округлой попкой да шаловливым хвостиком-финтифлюшкой. Презирая сермяжную мать, которая в это самое время сидела в своей комнате на дубовой лавке и хлебала квас, она выходила на балкон и распушенно строила глазки всяким мужчинам, почитывая журналы «Америка» и «Англия». Однако настоящих мужчин почти что не было сегодня, и тогда она стала строить глазки какому-то подростку, который тайно стоял в деревьях. Взбудораженный первой любовью, прыщавый дитятя кусал в деревьях локти и потел, издавая естественную для такого возраста вонь нечищенных зу-

бов, невымытых ушей и сальных волос. Полине стало скучно, ей захотелось чего-то романтического, и она захохотала, громко взвизгнув от восторга. Полина представила, как бы вдруг она взяла сейчас и сиганула бы прямо в кроны деревьев, прямо в даль голубую, прямо к настоящему, идеальному мужчине, – прямо в пеньюаре цвета розового поросеночка, у которого и попка округлая, и хвост завитком, и желтая горчичка рядышком. Но в деревьях у нас уже сигал и глухой, и немой, и слесарь, и повихнувшийся, и дворник, и фамилию которого уже давным-давно никто не помнил.

Потому романтичная Полина осталась на балконе и, пригретая солнцем и мечтами, стала засыпать. Однако в квартире запищал ребенок, и она, спросонья подумав, что это и есть тот розовенький поросеночек, стала думать: а хорошо бы ему бестолковую голову смазать хреном. При этой мысли Полина нечаянно упала со стула и лежала некоторое время в беспамятстве. А в деревьях подростка бил любовный раж, и кислые миазмы вызревающего мужчины тучно парили в деревьях, отчего некоторая их часть мгновенно пожелтела и усохла до следующей весны.

Крик произошел оттого, что писатель Сергей Петрович стал громко ссориться с тещей.

Человек, как известно, звучит гордо. Но Сергей Петрович не всегда звучал гордо. Обычно он звучал обыденно. Иногда он звучал витиевато. Иногда, по случаю семейных торжеств, взлетал песней и кратким стихом. А в ночи, бывало, – храпяще и булькающе. В общем, когда как.

Так что ближе к итогу жизни, когда на голове Сергея Петровича стала образовываться умудрительная плешь, он пришел к выводу, что человек – это звучит сложно, в комплексе. Иногда вовсе даже не звучит, а просто поскрипывает, попискивает да вздыхает.

Сергей Петрович долго крепился внутри себя с этой мыслью, потому что пришел в противоречие с известным классиком. Но сегодня он сообщил об этом нюансе теще.

Теща с давних пор не обожала Сергея Петровича. О жизни она никогда не размышляла так трудно и красиво, как Сергей Петрович, и в школе она была застрельщицей собственной интересной и тревожной юности.

– Человек, знаете ли, Пелагея Карповна, звучит сложно... А порой неожиданно. – Так сказал Сергей Петрович, побледнев от собственной дерзости, упал в кресло и стал судорожно пить воду.

Теща вспомнила ужа, семилетку и сказала:

– Нет, Сергей Петрович, человек звучит гордо.

Она, лирически закрыв глаза, как бы вглядываясь поослабшим зрением вдаль, задумчиво продекламировала:

Над полями, над лугами  
Гордо реет буревестник...

– Ах, Пелагея Карповна! Как хороша полнота жизни! – невидимо-тонко вздохнул Скурдыбашев.

– Ах, мама! – сказала Полина. – Зачем ты споришь с Сергеем Петровичем. – И она стала стесняться своего деревенского прошлого. – Он писатель, а ты кто?

– А когда же он выйдет в роман-газете? – Теща съела таракана и парочку клопов, прихлебнув квасом. Потом открыла журнал «Наш современник» и захрапела над ним.

– Каков юмор! – зарыдала Полина и упала в кресло.

А Сергей Петрович мысленно кликнул героев своих длинных рукописей. Они, как ночлежку, пожизненно оккупировали его сердобольную душу. Это была жизнехромая, плешивая, затасканная рать мелких служащих и других неудачливых, скучных людей. Вместе с ними пришел желтый листик, осенний дождь, невнятная любовь к женщине. От мелких служащих тянуло стихами и рефлексией, как несвежими носками. Все они были холосты или разведены, носили в портфелях многолетние сорочки и запасные башмаки. За их спинами маячили пожизненные алименты, чадились кухоньки, занавешенные пеленками и подгузниками...

И Сергей Петрович вместе с ними предался сладкой щемящей грусти о том, о сем – из влажного его, хлипкого глаза выкатилась мутная слеза.

«Зачем я, собственно, в полемике с собственной тещей, от страдания внутренне не тощей, но предающейся хорошей жизни все толще и толще? – подумал он невольными стихами. – Надо, – решил он, – жить в вечности и

трудиться рядом с красивой свечой, а я унижаюсь до спора...»

И областной писатель Скурдыбашев ушел в кабинет, к книгам, чтобы успокоиться среди ценностей. Но гневные мысли зудились в нем. Он взял большой бумажный транспарант и нарисовал на нем красным фломастером мучительно-сокровенное про человека, про сложно и решил выйти в саму жизнь.

Уже занимались сумерки, жизнь областного значения подслеповато щурилась, таращилась на новоявленный плакат. И Сергей Петрович, испугавшись быть сегодня неслышанным и невиденным, решил идти туда, где огни, где светло и празднично от искусств и музыки, – в парк.

Придя в парк, он стал красться в жиденьких сумерках мимо заведения «Пиво–воды». Он крался напряженно в гуще действительности, она была как бы опасна, и Сергей Петрович казался себе отчасти знаменитым степным волком. Кроме того, ему казалось, что в кустах сидит Пелагея Карповна и сколачивает коалицию с пивнушечными мужиками или же со знакомой женщиной Коробковой, которая не возвращалась из кустов уже шестой час кряду! В кафе ели блинчики, на окраине города мчалась в Ферапонтовку уб. Толубеева, сурово вглядываясь в кромешную близость спины Петрова; ел дома творог Коля Степанчиков. Ничто в мире не жаждало сложных заявлений, все ползло или летело по своим маршрутам, не завязываясь в гордиев узел с человеком Скурдыбашевым. «Ах, какая одноклеточная жизнь!» – подумал мрачно Скурдыбашев и стал громко сопеть. Смысл плаката полыхал над его плечью хоть и одиноко, но яро и праведно.

Его обиженное сопение услышали и окликнули:

– Мужик, чего так тяжело несешь?

Это проснулись знакомые Коли Степанчикова.

Скурдыбашев отвечал:

– Тяжелу несу... Несу странный смысл...

– То есть несешь несомое, – поняли мужики и вздохнули почему-то, словно перешепнулись между собой горб человеческий и спиногрызовый крест на нем. – Все мы несем несомое, печалью весомое...

– А почитать не хотите?

– Не хотим! – кратко ответили мужики.

– Как же так! – обиделся писатель. – Для вас же писал!

– Для себя в первую очередь, – ответили мудро. – И это все – детали. А вот если желаешь фанфаньски послать все к чучесовым хуньлухам и обдрыжисто вытянуть ноги на обочине вечера, предварительно умастив смысл хуньхунябистой вызни пмачным слевком, – просим! Бросай свой транспарант, давай три рубля, и справим праздник вечно задумчивой русской души...

– А почему для себя в первую очередь?

– А потому что несомое, в вечности весомое, несут в этих днях тихо, никого не трогают, чтоб без вони было... Так что закрой очи своему ужасному транспаранту и давай к нам: мы тебя организуем как гонца в четыре вечерних конца и задринькаем и несомое, и весомое...

Такого гнусного поворота событий Скурдабашев никак не ожидал. Он стал красться мимо следующих кустов. И здесь поджидала его опасность более существенная.

Но откуда она взялась?

Примерно в то время, когда теща Скурдыбашева, прикрыв глаза, читала стихи про буревестника, некто Бураков тревожно ходил по квартире, озабоченный педагогическими упущениями по части подрастающего поколения. Он расхаживал по комнате и хмурился тяжелыми густыми бровями. По радио певец Иосиф Кобзон пел такую актуальную песню:

А все же жаль, что я давно

Гудка не слышал заводского...

– Да-да! – сказал Бураков. – Именно об этом хотел я подумать, да спасибо т. Кобзон: ты уж подумал...

Тлен разгневил поколение людей, идущих вслед за Бураковым. Они беспечно виляли молодежными задами, над ними светило инфантильное солнышко, травка, по которой они шли, была кудрявой, как барашка, везде на деревьях висели конфеточки да прянички...

Кобзон допел песню, но на вопросы Буракова не ответил. От досады Бураков пошел во двор и забил с мужиками козла, девяносто раз подряд. Потом он вернулся в квартиру и стал испытывать к Буракову-младшему чувство педагогического тумака.

Если Коля Степанчиков, при всем своем мелком домашнем хамстве, представлял из себя юношу робкого и мечтательного, с голубыми, протяжными глазами, то



Бураков-младший был как бы угрюмой копией Буракова-старшего и в свои шестнадцать лет мало чем отличался от него. По крепкой слаженной традиции Толям имел такие же тяжелые, чешущиеся кулаки, низкосдавленный лоб и короткие мысли в нем.

Бураков-старший выпил четыре бутылки пива, почитал книгу Дрюона, сел за стол и призвал к себе Толяма.

– Садись, – мрачно кивнул на стул подле. – Куришь?

– Бывает, – буркнул Толям и посмотрел на родителя, – а что, батянька?

– Пьешь?

Толям гоготнул во всю лопатистую широко крепких зубов:

– Бывает, старик, с устатку... А ты что – кто тебе сегодня хвост прищемил? – спросил Толям солидно.

– Как с отцом разговариваешь? Кто старик? – стукнул кулаком по столу родитель.

Помолчали.

Два насупленных молчания уперлись друг в друга как два барана. Бураков указал на книгу Дрюона и приказал:

– Читай! Громко, при мне – проверю твои познания... Хочу, чтобы ты в институт поступил...

Толя начал читать по складам:

– «Ко-ро-ле-ва при-крыла глаза. Франсуа приник жадными губами к ее груди и стал, ведя любовную игру, покусывать цилиндрические, упругие соски...»

Толям замолчал и гоготнул:

– Во дает! Секс! Импорт-супер!

Бураков хоть и был не робкого десятка, смутился:

– Ну-ка, переверни страниц десять, там где-то про цветочки было, помню... Ну, типа того: идет бабешка какая-то ихняя лугом, а вокруг природа всякая...

Толик перевернул страниц десять и стал читать:

– «Евгения сняла последнее, что скрывало ее красоту, и обратила к Жану зовущие глаза. Жан стал, жадно впиваясь, целовать ее голые ноги: принцесса стонала от счастья...»

– Ы-гы-гы, – гоготнул Толик. – Кайф! – Он потряс пальчиком. – Старик, а знаешь толк!

– Тьфу! – ругнулся Бураков. – Про цветочки же было! Сиди! – приказал он Толяму.

А сам пошел в кладовку, долго рылся в инструментах и шурупах и принес потертый учебник ботаники за пятый класс. – Чтоб весь прочитал от корки до корки, такой мой приказ... Будешь в институт поступать...

– Батянь, ты упал что ли? – присвистнул Толик.

Наступило долгое затяжное молчание. И тогда Бураков для острастки тяжело опустил кулак педагогизма на темя сына – вследствие этого голова Толика стала как бы еще приземистее, лоб ниже, а мысли, соответственно, крепче и звонче.

– Ты чего дерешься, батяшка? – удивился Толик. – Я ведь тоже могу...

Мысль его на этом кончилась, и он, прицелившись, двинул в челюсть Буракова с такой силой, что Бураков, даже не вскрикнув, камнем свалился под стол с вывороченным подбородком. Толям тупо посмотрел на пустое место, где только что присутствовал родитель, – мысли его кончились, он ничего не подумал, лишь хмыкнул. В дурном настроении он вышел из дома и пришел в парк, держа в кармане кулак, который агрессивно чесался. Он вошел как раз в те кусты, сквозь которые сейчас крался Скурдыбашев. Бураков стал всматриваться в плакат, стал вникать в смысл фразы «Человек – это звучит сложно». Потом он тяжело опустил кулак на голову писателя, а снизу сильно поддал в челюсть. Скурдыбашев упал на землю, а плакат рухнул ему на голову. С развороченной челюстью он стал лежать в кустах, он лежал параллельно горизонту. Горизонт долго печалился над его участью и вскоре пошел густой, кровавой краской. Это вплотную приблизился вечер. В небе хищно блистал месяц – кривой, как сабля инородца, коварный, как сережка восточной красавицы. Рядом со Скурдыбашевым в кустах храпели мужики, которые не хотели прочесть плакат. На пруду стихли трубы, в кафе уже не ели блинчики.

Повихнувшийся и глухой, и немой, и водопроводчик, и слесарь, и дворник, и сторож выхватил из хладных рук Скурдыбашва древко и тяжелым, сопатым бегом побежал под кровавой луной, навстречу своей неменяемой судьбе. В этом мире он не являлся больше ни сторожем, ни дворником, отпала также надобность и в его фамилии, которую и без этого давным-давно никто не помнил, а

пуще других – сам сторож. Первое безумное его око запечатлело мертвого студента Фомушкина, а в левом его глазу задралась наискосок к горизонту челюсть недвижимого Скурдыбашева. Он выбежал на пяточок, где кончались последние танцы. Женщины брызнулись врассыпную, а мужчины, засучивая рукава, вышли навстречу опасности.

Глухонемой пробежал мимо.

Вскоре он остановился около беседки «Стариковские посиделки» и стал маячить около нее, сверкая очами, чем чуть было не повихнул двух старушек-подружек.

И снова побежал сквозь глубокий вечер. Он бежал в ночь, тяжело ухая в кустах, ломая окаянной головой ветви, топча тяжелым шагом клумбы, которые еще сегодня утром сам же заботливо поливал, весело оглашая пространство парка громкими звуками: «Ы-ыэ.. ыы-ыэ». Толубеева часто вслушивалась в эти звуки и философски говорила:

– Ишь, поет... Немтырь, а песни тоже любит...

Между тем приспело время костров, дежурств и перекличек. Последние люди, отдохнувшие и подзагоревшие, набившие авоськи и сумки, валили из парка и ставились в длинную очередь, чтобы начать ночную жизнь, словно ночи и природе трудно было обойтись без людей.

Костры разложили на третьем, восьмом и одиннадцатом километре. Рядом с парком, на восьмом километре, у костра хозяйничала женщина Филимонова. Она вторую ночь ждала переклички, которая двигалась со вчерашнего дня, и шаг за шагом приближалась к парку. Сегодня в семь часов вечера Филимонова вышла за город, к горизонту, всмотрелась и радостно прошептала, утирая слезы:

– Идут...

Люди взбодрились, лица у всех стали бдительнее – стали бояться, что в сумерках кто-то лишний проникнет в очередь. Филимонова запалила большой костер и решила удостовериться в себе. Она достала паспорт, в котором было написано, что она, Филимонова Б.К., есть Филимонова Б.К., а не подставное лицо. «Как же, – неторопливо рассуждала она, в отблесках костра вглядываясь в собственную фотографию, – все без обмана. И в

жизни я Филимонова, и в паспорте сама... – На душе у нее потеплело. – А вот потеряй я паспорт, а?»

И она, во-первых, равноправно, а во-вторых, с каким-то особенным чувством стала заговаривать с милиционером Никитой Михайловичем:

– А хороша сирень в нашем парке, Никита Михайлович...

Но тут перед очередью возник глухонемой с транспарантом. В отблеске костра он возник как видение – он громко, угрожающе мычал. Филимонова прочитала плакат и буркнула, будто бы немой покусился на ее достоинство и честь:

– Смотрите, чего еще придумал... Смотрите-ка, Никита Михайлович, балуется Журавлев... – И закричала: – Уходи! – И стала показывать пальцами. – В ЖЭК пойду, ругать тебя будут: собрание, мучать, жена плакать, премии нет, конфеток нет, дети плакать... Вы бы, Никита Михайлович, пригрозили ему – чего же он в жизни нашей балуется?

Милиционер стал полосатой палочкой показывать движение направо и налево.

– Ух, как мне нравилась с детства стать и одушь военной формы, – потеплела Филимонова и стала ломать сирень и одиноко бродить под ближним деревом. А также она затянула песню: вот, мол, лютики, брожу в полях и лугах, и все-то одна их рву я, все-то одна...

Никита Михайлович крикнул и скромно сказал:

– Да, наша служба и опасна и трудна. И все женщины нам жены, сестры и матери...

И он стал палочкой указывать налево и направо и даже сощурился, вглядываясь в даль проспекта.

Между тем в толпе возник непорядок. Некто Фавнов, болезненный и сложный, сказал морщась:

– Кто поел чеснока? Вонь нестерпимая, разве не слышите?

Очередь молчала, а пуще всего молчал тот, кто поел чеснока, и только Филимонова, оскорбленная, сказала:

– Какой нашелся! Если неудобно – надо в такси ездить! Тут у Фавнова замутилось в душе:

– Нет, я спрашиваю – кто поел чеснока глядя на ночь? Филимонова отвечала за всех:

– Ну поели и поели, чего уж теперь сделаешь?

– Дышать невозможно!

Все стали доказывать:

– Ничего, дышим...

– Нет, я в глаза этому хаму хочу посмотреть! – И Фавнов беспомощно заплакал. А потом в ярости стал вгрызаться в толпу:

– Кто пожрал чесноку! Подзакрепился! Чесночишкой! С сольцей, а? Тут Филимонова покраснела:

– Ах, отчего он такой аллергический?..

И тогда Фавнов сказал в зловещей тишине:

– Внюхайтесь в нее, у меня носа до нее не хватает!

Голос его был такой убедительный, что Филимонова взвизгнула:

– Не ела я чеснока!

– Понюхайте ее! – закричал Фавнов.

– А вот проверим! – закричали люди.

– И проверять нечего! Идете на поводу у хама!

– Подзакрепилась! Чесночишкой!

– Да он же в очередь к нам пробраться хочет! – осенило Филимонову, и она, на правах блата и связи, сказала милиционеру по-домашнему лично:

– Никита, смотри-ка...

Люди насторожились. Филимонова спросила:

– А вы, собственно, в каком месте нашей очереди будете, Фавнов?

Люди плотно надвинулись на Фавнова, они стали как бы кошмарнее теперь. Лица людей стали влазить в глаза Фавнова, как селедка в бочку, и мучать их орбиты. Лица были носатые, подбородистые, ушастые, лобастые, глазастые, неоригинальные с точки зрения вечности, но каждое было подсвечено конституцией, и каждое имело право на существование, без поправок на то, что Фавнов в этот миг вздрогнул, ибо был привередливым эстетом. А востренький носик Филимоновой, словно пика возмездия, приготовился вонзиться в трепыхающего Фавнова. Фавнов, вздрагивая, кутался в лохмотные одежды невнятного смысла своей жизни, своих странных одиноких деяний на земле. Он влез на гипотетическую стремянку и высоко сказал:

– Соотечественники!

– А мы пьянь всякую да дрянь не слушаем! – Филимонова была высокомерна.

– А вот если... – пытался встрять в ее жизнь Фавнов, но люди дернули его за ноги, и он кубарем скатился вниз.

Фавнов лежал на обломках своей разбитой жизни. По левую сторону от него блистали горнии, в которых водились только гордые орлы и профиль Фавнова; по правую тоже – горнии, орлы и Фавнов. Фавнов лежал в долине жизни, грудь его была прострелена нездешней, высокоумной раной.

– Отвратите ему ладонь! – приказали люди.

Отвратили люди немощную ладонь Фавнова, Филимонова быстренько стрельнула глазом по цифре и вскрикнула:

– Тысяча триста семнадцатый!

Это прозвучало как клич. Люди надвинулись грудями, шляпами, пиджаками и стали отпихивать Фавнова назад. Кое-кто исподтишка, под общий шумок совал Фавнову тумаки.

– Тут трехзначные, а ты четырехзначный...

И тогда Фавнов разоблачительно крикнул:

– Эх, Филимонова, а любовь-то у тебя ненастоящая!

Филимонова схватилась за паспорт и вновь с волнением пережила себя и свое отражение в паспорте:

– Как же ненастоящая?

– А милиционер твой из сороковых годов!

Никита Михайлович поднял руку и стал показывать налево и направо. Фавнов снял с него фуражку и громко прочитал:

– Вот пожалуйста... «Выпущено в декабре 1940 года». Я давненько приметил...

– Это ни о чем еще не говорит! – закипятилась Филимонова; уж очень ей понравилось сирень ломать и песню про лютик петь, как бы в ожидании пиджака, который кто-то набросит ей на плечи. – Может, он просто аккуратно ее носит... Бережет...

– Но китель-то! Белый, до колен, словно юбка!

Филимонова ахнула:

– Никита Михайлович, что же он всякое несуразное про вас придумывает?

– Никак не могу ни в чем возразить вышеназванному гражданину в его законном притязании... – ответил Никита Михайлович.

Тут Филимонова взяла из рук милиционера газету и прочитала:

– Июль, 1940 год...

Филимонова заплакала, спрятала паспорт, равнодушно теперь относясь к вопросу соответствия себя в бумаге. Она говорила:

– Как же вы так, Никита Михайлович... А мы в вас верили, считались с вами, корректировались на вас, ласково поглядывали на фигуры вашей статьи и одурь...

– Я, Марья Федоровна, совершенно ответственно могу заверить вас в том, что я действительно являюсь членом тысяча девятьсот сорокового года... Время ушло вперед, а я нечаянно подзадержался... Приношу извинения...

Он сделал шаг в сторону и превратился в белоснежный памятник.

– Эх, и здесь порядка нету, – вздохнула Филимонова.

Между тем Сергей Петрович Скурдыбашев наконец очнулся от удара. Он вправил челюсть в овал физиономии и пошатываясь побрел сквозь деревья. Он пролежал в кустах часа два и теперь хотел есть – он очень хотел есть.

Он выбрал к стеклянному кафе, где в поздний час заметно ужинало семейство поварихи Керимановой Сизигды Саляховны. Это были: муж Ахмет, брат мужа и сестра с мужем, тетя, бабушка, а также дети – Ричард и Анжелика.

Ричард подавился было, но Кериманова стукнула его по спине:

– Не давься!

– Каша-то казенная, всякое попадается...

– Зато бесплатно... Ешь, Ахмет!

– Может, я дома?

– Ну вот еще: тараканов разводить!

– Уф, аллах, – сказал боязливый, в каком-то смысле честный Ахмет. – Накладывай...

Скурдыбашев, увидев, что накладывают, стал ломиться в запертые двери:

– Откройте, пожалуйста... Тарелку щей, единственную!

Кериманова вышла на порог:

– Уж ночь упал на город, звезды спят – ты что, пьяный? Счас милиций позову...

«Да кого ж ты позовешь, – вдалеке подумала филимонова. – Он в памятник превратился, любовь моя, Никита Михайлович...»

– Да едят же, хоть и ночь, – захныкал Скурдыбашев.

– Это муж мой ест! Это брат мой! Это дети мой! Это бабушка. Где видишь, что едят?

Ахмет грозно встал.

Кериманова подтвердила:

– Счас Ахмет выходит! Наподдает! А нет – милиционера вызываем!

– О Господи, Господи... – заплакал Скурдыбашев. –

Я сейчас лягу возле порога и умру.

И Скурдыбашев лег на пороге.

Ахмет боязливо сник:

– Уф, аллах... Может, налить ему тарелочку.. Умрет ведь человек от голода...

Кериманова засомневалась:

– Жди, умрет...

– Жалко все-таки...

– Ну с какой стати! Я сама сэкономила на свой страх и риск – а тут чужому наливай! – Она дала затрещину мужу, но это не принесло удовлетворения ее матерой душе. – Былыбылар кулукбулюк кырыгынды коротали Иисус Христос курсята пяташ тарамбурбук! Молчи, не мучай меня, во грех не вводи!

Ахмет стукнул кулаком по столу:

– Я муж ей! Сейчас наподдам! А нет – милиций вызываем!

Тут возник глухонемой с плакатом. Ахмет боязливо замахал рукой:

– Уф, аллах, убери плакат... Нехороший плакат, плохой плакат...

Мимо сторожа прошел Толям Бураков с мрачными и короткими мыслями, что хорошо бы и глухого замочить. «И немого тоже...» – подумал он минут через двадцать, потому что в первый раз у него не хватило короткой мысли, чтобы в один заход объять существо вопроса в целом.

Керимановы, поев, вышли полны сумки на улицу. В ночи задорно звучали их голоса:

– В сумку загляни, Ахмет. Хлеба взяли? Масла взяли?



Ричард докладывал:

– Торт взяли. Колбасы взяли.

– А дефицитный книжка Дюма-Буссинар?

– Дефицитный книжка Дюма-Буссинар забыли...

Кериманова метнулась:

– Они с ума меня сведут! Семья идиотов! И все я одна – все волоку на себе, как буйвол. Тьфу! – сплонула она в тетю. – Прости, тетя, душа горит...

Тетя смиренно утерлась:

– Ничего, ничего... В народе говорят: большому орлу – большой полет...

Кериманова вернулась с книжкой:

– Не зря говорят: ученье свет, а неученье тьма...

– А вот я сегодня купил дефицитный книжка! – сказала Анжелика, – закачаешься...

Она достала книгу и прочитала:

– Музиль. «Человек без свойств».

– Хороший, должно быть, книжка, – погладила страницы столетняя бабка. – Мудрый книжка...

– «Человек без свойств», – повторила Кериманова и призадумалась, как же такое могло случиться.

Смысл названия стал как бы входить в нее, она как бы превратилась в этого странного человека без свойств. Точно так же, вникнув в эту фразу, утеряли свойства и Ахмет, и Ричард, и Анжелика. А столетняя старуха не утратила их – она была так стара, что как бы не имела их давно. Ахмет, потеряв свойства мужа, подумал о собственной жене, как бы та была не Керимановой: «Ну и мыбра, уф аллах...» А подросток Ричард, потеряв свойства брата, игриво погладил Анжелику и в свойстве абстрактного любовника стал думать, что хорошо бы ее... того самого...

Все вместе Керимановы без привычных свойств Керимановых продолжали двигаться в окружающем мире вперед с сумками и в руках и наперевес, как бы не зная, откуда они в мире взялись и куда они идут. И непонятно, куда бы они ушли, но свойства тихонько возвратились к ним. Их головы вновь наполнились памятью. И потому Кериманова сказала назидательно, обращаясь ко всей семье:

– Не зря в народе говорят – только продукты питания вечны. А все остальное – тьфу! Пошли, друзья!

Между тем Скурдыбашев решил не умирать.

Он встал во весь свой рост и решил убежать из нашей повести, которую в данную минуту плотно населяли Керимановы, прочно подкрепленные в ее тылах и Бураковыми, и Филимоновой, и Толубеевой, и многими другими людьми.

– Я дитя солнца и разума! – отчаянно вскричал Скурдыбашев и рванулся вперед, распихивая Керимановых по сторонам. Он дышал тяжело, над ним в небе гуляла луна – она была прекрасна, она шептала, что жить скоро станет легко. Скурдыбашев бежал сквозь спину Керимановой, сквозь ее мечты, сквозь ее квартиру и смысл жизни; и хотя он бежал только через Кериманову лично, но получалось, что он бежал через народ и по стране.

– Я дитя солнца! – вопил он. – Мне котлетки ваши, Кериманова, не нужны!

– А вот посмотрим! – игриво усмехалась Кериманова, и спина ее, и квартира, в которую она направлялась, и караван других Керимановых вдруг расширились до бесконечности, и Скурдыбашев стал карабкаться в этой бесконечности, задыхаясь. Он остервенело шептал какие-то свои клятвы, глаза его агрессивно поблескивали в спинах, головах Керимановых, высвечивая время от времени их содержимое – оно варилось в собственном соку.

Только проломился он сквозь Керимановых и выбежал за угол жизни и встречный ветер только было надул его рубаху как парус – как возникла Толубеева и бесконечной грудью, в которую, некоторое время назад, безуспешно лягнул Петров, седлая мото, пошла на Скурдыбашева, расставив руки. Бесконечная эта грудь ее пела песню материнства, полезной нужды и хороших страданий. И мир груди Толубеевой был столь широк и бесконечен, что Скурдыбашев с нею оказался как бы вдвоем в этом мире.

– Не пущу! – завопила Толубеева и пошла на Скурдыбашева.

– А уйду! – хохотнул Скурдыбашев, и в ослабленных его челюстях мелькнуло поэтическое безумие. Он, как вольный цыган, схватил лошадь и поскакал.

Петров силой заскорузлой руки схватил лошадь под уздцы, опрокинул животное вместе со Скурдыбашевым.

– А уйду! – Скурдыбашев пустился кувырками по земле, словно перекаати-поле.

– А и нет! – Филимонова любовно обняла его в свои руки, словно он был милиционер Никита Михайлович и в нем была стать и одурь военной формы. Скурдыбашев с тоской и страхом стал бежать в кругу ее рук, всем своим существом устремляясь в небо, вследствие чего временно превратился в тростиночку, выскользнул наконец из объятий Филимоновой и, оставив ее окаянны руки полны пустоты, забился в какую-то щель и как бы сменил ракурс зрения на мир. Теперь он снизу наблюдал мир, как наблюдает берег снизу рыба со дна водоема. Мир, сейчас им оставленный, состоял по преимуществу из ног, женских трусов и куполов юбок, уходящих ввысь.

– А где же он? – сказала Толубеева, и междуножье ее, обрамленное фланелевыми трусами морковного цвета, остановилось прямо над мизерным лицом Скурдыбашева. «Ишь как высоко...» – почтительно думал Скурдыбашев, задирая голову от корней ног Толубеевой, вырастающих из стоптанных каблуков. Каблуки ее, кривоватые, скособооченные, дымились яркой пылью погони.

– Руки-то мои окаянны полны пустоты, – сказала с сожалением Филимонова, подошла к Толубеевой и высоко над лицом Скурдыбашева, заслоня Большую Медведицу, распласталась материя трусов Филимоновой – в рюшечку, в прекрасный малиновый цветочек.

– Кромешного ведите! – закричала Кериманова. – Приведите Кромешного!

Все бросились за Кромешным. Раздался отдаленный грохот, в небе засверкали молнии, заклубилась огненная гарь, ударил гром. Кромешный шагал высоко, уперев каменную голову в свинцовые тучи, и как бы даже слегка шкрябал их. Шаг его был печатен и металлически грохотал над деревьями.

Скурдыбашев похолодел.

Кромешный остановился метрах в десяти от щели, в которой сидел он. Кромешный метнул из левого глаза мирный огненный атом, а из правого – звонкую песню. Трава, в которую она упала, задымилась, и в мире немножко наступило лихолетье.

– Вставьте мне глаз! – громыхнул Кромешный в облаках.

– Вставьте ему глаз! – повторили на земле.

– А где глаз твой есть? – закричала Филимонова.

– У Петрова в кармане глаз мой есть!

Глянул Петров в карман – точно, в нем железный глаз Кромешного с надписью: «Бди и ночью, и днем!»

– Давай глаз! – И Филимонова, клубя пыль дороги из задницы, вдарила вверх по лестнице к голове Кромешного и вставила глаз; и подняла лязгающее веко. Тяжелое мутное око безошибочно уперлось в Скурдыбашева, и Кромешный закричал, ткнув каменным пальцем:

– Вот он! Держите его! Ха-ха-ха!

И все бросились на Скурдыбашева, поймали его в объятья, дали тычка и посадили за стол; и стали пить чай. И все вместе со Скурдыбашевым были теперь каждый на своем месте жизни.

– А душистый какой! – приговаривала Толубеева.

– С бараночкай на-ка, Толубеева, – приговаривала Филимонова.

Так они пили чай до утра, в тесном кругу, пока не грянул изо всех щелей жизни летний рассвет и толпы людей – с песнями, с задоринками и лукавинками, – обнимаясь и смеясь, вошли в парк.

В их ярых глазах сверкала свирепая, окаянная радость...

ГАРЕЕВ Зуфар Климович родился в 1955 году; башкир. В 1989 году закончил Литературный институт им. Горького по отделению очерка и публицистики. Живет в Москве.

## СТЕНЫ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

*Стены Нового Иерусалима  
На полях моей родной страны.  
Гумилев*

Стены Нового Иерусалима  
Не дворцы и скипетры царей,  
Не холопье золото ливрей,  
Не музейных теток разговоры,  
Не церковей замшелые подпоры,  
Не развалины монастырей,  
А лесов зеленые соборы,  
А за проволокою просторы  
Концентрационных лагерей,  
Никому не слышные укоры  
И ночные слезы матерей.

1986

## СКОРБЬ

Я не знаю, глядя издалече,  
Где веков туманна колея,  
Так же ли благословенны свечи  
В пятницу, как бабушка моя.

Так же ли дитя свое ласкала,  
Как меня моя ласкала мать,  
И очаг – не печку – разжигала,  
Чтоб в тепле молитву прочитать.

А кому Она тогда молилась?  
Не Ребенку, а Его Отцу,  
Ниспославшему такую милость  
Ей, пошедшей с плотником к венцу.

Так же ли, качая люльку, пела  
Колыбельную в вечерний час?  
Молодая – так же ли скорбела,  
Как теперь Она скорбит о нас?

1987

\* \* \*

Слышу, как везут песок с карьера,  
Просыпаюсь, у окна стою,  
И береза смотрит светло-серо  
На меня, на комнату мою.

Голубое небо так сверкает,  
Почему ж в нарушенной тиши  
Ужас пониманья проникает  
В темную вещественность души.

Разве только нам карьер копали,  
Разве только мы в него легли?  
Мать Утоли Мои Печали  
Не рыдала ль плачем всей земли?

1986

\* \* \*

Присягаю песенке пастушьей  
Около зеленого холма,  
Потому что говорит мне: «Слушай  
Отзвуки Давидова псалма».

Присягаю выпреченному слогу,  
Потому что по земле иду  
В том саду, где Бог молился Богу,  
И цветы сияют в том саду.

Присягаю ночи заполярной,  
Движущейся, может быть, ко мне,  
Потому что вижу свет нетварный  
В каждом зарождающемся дне.

1984

\* \* \*

В слишком кратких сообщениях ТАССа  
Слышу я возвышенную столь  
Музыку безумья Комитаса  
И камней базальтовую боль.

Если Бог обрек народ на муки,  
Значит, Он с народом говорит,  
И сливаются в беседе звуки  
Геноцид и Сумгаит.

1988

### *НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ*

Как прекрасен, о Господи,  
Твой Новый Иерусалим!  
Река стягивает его стан  
Блестающим кушаком,  
Конец которого под висячим мостом уходит  
Далеко, быть может, за Ливан.  
Более ровно его окружает  
Оборонительный пояс,  
И на могучей, родной, славянской заре  
Вавилонская мотопехота  
Кружится в своих металлических,  
Изящных, самодвижущихся повозках.

Как чиста подмосковная даль,  
Как прекрасна высокого плача  
Березовая стена.  
Ты собрал, о Господи, людей полевых,  
Ремесленных, посадских людей  
И, внушив им догадку построить  
Новый Иерусалим на Истре,  
Ты видел перед Собою  
Ты, Который видишь все, а Сам никому не виден,  
Старинный далекий город  
С пророками и царями,  
С храмом и виноградниками,  
Видел и Себя Самого,  
Въезжающего в этот город по узкой,  
Азиатской пыльной дороге  
На тихом, ласковом ослике,  
И, как там,  
Ты разбил жителей нового града  
На колена.  
Вот колено сосен – пастырей духовных,  
Колено елей-звездочетов,  
Колено дубов – воинов бронегрудых,  
Колено трав полевых бессильных,  
Колено трав полевых целебных,  
Колено цветов – знатных прихожан,  
Колено цветов – безвестных тружеников,  
Колено бабочек-щеголих,  
Колено волков – серых видений Каина,  
Колено ланей, чье изображение – на Твоей Книге,  
Колено волов, бездумно жующих своих  
соплеменников –  
Траву и цветов-смиренников,  
Колено птиц, которым Ты присвоил  
Крылья серафимов,  
И колено птиц,  
Которых Ты щедро наградил  
Серебряными шекелями  
Своей несравненной гортани.



А там, за антеннами  
Над кровлями с детства запуганных людей, –  
Там в самом деле коровник?  
Там в самом деле колхозный амбар?  
Там в самом деле здание сельсовета?  
Там в самом деле котельная  
Дома отдыха фарисеев?  
Разве там – вдали – под перистыми облаками  
Не высится недавно отстроенный  
Храм Нового Иерусалима,  
Храм, возведенный нашими окованными руками?

Как прекрасно, о Господи,  
Созданное Твоими работниками,  
Даже музей, в котором болтают  
И никто не молится Твоему образу,  
И, может быть, даже колено,  
Которого не знал старый Иерусалим,  
Пьяное, сплошь плоть, сплошь прах, –  
Тоже может стать прекрасным,  
Если Ты вдохнешь в него душу и простишь его...

Не кровосмесительным, наговорным,  
Злым зельем чернокнижников,  
А чистой, целомудренной кровью зари  
Напоены облака, и река, и вода родника,  
И широка, широка заря  
Над Новым Иерусалимом.

1987

## КАФЕ «НАЦИОНАЛЬ»

### Рассказ

Как всегда в последнее время, Рита устроилась спиной к окну и лицом ко всем прочим столикам, как-то невзначай она оправдала это обыкновение желанием наблюдать публику. Алексей же по привычке сел к публике спиной, наблюдать ему хотелось только Риту. Смотреть на нее, не отрывая глаз, радоваться зрелищу ее прелестного, милого, капризного лица, неподчетным его гримасам и осознанно выработанному выражению этакой роковой женской печали, неразгаданности или непонятности. Алексею Рита и впрямь стала казаться загадкой. А ведь года полтора назад никакой холодноватой, непосильной ему, обидной тайны в ней не ощущалось, неиссякаемой радостью, смятением, беззаконным счастьем лучились ее глаза; оттого что он уже тогда не в силах был оторвать от нее взгляда, она пребывала в состоянии беспрестанного блаженства. Рита и в кино его испытывала независимо от происходящего на экране, поскольку была уверена, что Алексей, пренебрегая любым сюжетом, смотрит в этот момент не на экран, а на нее. Иногда она притворно негодовала «перестань!» и принималась подевчоночьи щипать Алексея за плечо.

Вроде бы совсем недавно это было, в самую золотую пору их любви, а теперь Рита вовсе не притворно злилась: – Ну что ты на меня уставился! – и родное ее лицо, дороже которого у Алексея не было ничего в жизни, становилось высокомерным и чужим. Впрочем, ненадолго, для того, чтобы принять где-то высмотренное, у кого-то перенятое выражение губительной разочарованности, свойственной так называемым «женщинам с прошлым».

Прежде это самое «прошлое» Алексея ничуть не занимало, он о нем и думать-то не думал, полагал безотчетно, что для Риты, как и для него самого, только с минуты их встречи началась новая, настоящая жизнь, теперь, однако, туманные ритины намеки на некие былые обстоятельства ее женской судьбы надолго выбивали его из

колеи и оборачивались мучительными догадками о неизвестном ему ритинном настоящем. А Рита, словно нарочно, вдруг взяла привычку высказываться прямо и определенно, без обиняков, именуя предметы прошлых своих увлечений так, как они и должны были на самом деле именоваться, то есть «любовниками». Почему-то начитанного Алексея это столь обычное для классической литературы слово жестоко уязвляло. Как будто возможная словесная деликатность могла бы изменить что-либо в существе дела! Но то-то и оно, что могла! Ведь ограничься Рита призрачным намеком, прибегни к обычному уклончивому определению – «ухажёр», «поклонник», «приятель», «друг», в конце концов, и Алексею был бы оставлена надежда! Впрочем, в своих нынешних признаниях, которые Алексей у нее занудливо вымаливал, Рита соблюдала некоторую щадящую осторожность, отделяясь дразнящими иносказаниями. В промежутках между свиданиями, которые в последнее время как-то незаметно удлинились, он ломал голову над их толкованием, изводил себя прямо противоположными версиями, какую-то особую казуистичекую логику изобретал для того, чтобы урезонить свое воспаленное услужливое воображение...

Встречались они теперь только в кафе, зато в том самом, в котором пролетели счастливые минуты их первых томящих многообещающих свиданий. На ту же самую пряную, полубогемную обстановку Алексей уповал, ему казалось, что при благородном свете старых бронзовых ламп под оранжевыми абажурами ритины глаза заискрятся по-прежнему и вновь милым, незащитным, блаженно-радостным сделается ее лицо.

Он, однако, упускал из виду, что атмосфера старого, обветшавшего, хотя все еще элегантно кафе, которая так способствовала прежде их любви, ныне могла способствовать и охлаждению. В самом деле, с чего это Рита пристрастилась к обычаю наблюдать за публикой? Раньше ей хватало одного быстрого взгляда, чтобы мимоходом отметить присутствие в зале других красивых женщин и, вероятно, представительных мужчин, все остальное время она глядела в глаза Алексею, причем порой прямое соприкосновение их взглядов превосходило все

его представления об интимности и близости. Теперь же ритин взгляд постоянно был устремлен как бы через плечо Алексея, он уже не имел к нему почти никакого отношения и оживлялся по неведомым причинам, вызывавшим у Алексея пронзительную душевную боль.

Он едва сдерживался, чтобы не унизиться и не посмотреть, обернувшись, в ту сторону, куда были устремлены знакомо заблестевшие синие ритины глаза.

Хотя что оборачиваться? Он и без того догадывался, кто мог привлечь сейчас внимание Риты. Скорее всего Вадим Строков, главный здешний завсегдатай, еще до войны впервые присевший за этот столик, не то адвокат, не то юрисконсульт, немолодой красавец в стиле Голливуда тридцатых, с англазированной трубкой во рту и иностранной толстой газетой, небрежно демонстративно положенной рядом с чашкой кофе. Кто-нибудь из киношников, нередко сюда забегавших, тоже мог произвести впечатление, скорее всего ассистент или помощник режиссера, изображающий из себя знаменитого постановщика, в компании таких же вертящихся возле кино прихлебателей, рассуждающих о своих планах и о кознях начальства. Обиднее всего было бы, если бы «наблюдала» сейчас Рита за фарцовщиками, хотя, вероятнее всего, именно они ее и заинтриговали – красивые это были ребята, американистые, рослые, белозубые, к тому же одетые в безукоризненные твидовые пиджаки, в «штатские» настоящие рубашки с пуговками на воротничках, в пуловеры из высокосортной шерсти марки «шетланд».

Алексей знал цену всем завсегдатаям этого кафе, но встречался с Ритой именно в нем, потому что, несмотря ни на что, его самого тянуло в «Националь».

Почему? Бог знает, скорее всего потому, что в этом старом кафе, с довоенными столами и стульями и дореволюционными лампами и кофейниками из мельхиора, чувствовался свой стиль, знакомый Алексею лишь по литературе. В коммуналках и общагах, в которых прошла его жизнь, не было ничего подобного, никакого намека на возможность иного бытия и иных взаимоотношений – не то чтобы каких-то изысканных, снобистских, но во всяком случае не будничных, как бы приподнятых слегка, парящих над родимой коммунальной житухой.

Нечто европейское чудилось Алексею в этом зале еще в те времена, когда он и переступить не смел его порога и лишь, проходя мимо, сквозь зеркальные стекла окна искося, но со жгучим интересом взирал на антикварные здешние столики и на сидящих за ними мужчин и женщин. Парижанами представлялись они ему или лондонцами, а кто же из его поколения, на глазах которого слегка, самую малость, не то что бы разошелся, но лишь с места сдвинулся железный занавес, не мечтал тогда о Лондоне и Париже?

Впервые Алексей, потев от робости, вошел в «Националь» после окончания третьего курса, накануне отъезда на целину. На двоих с приятелем, который был старше Алексея и старался выглядеть бывалым ресторанным волком, они располагали наличностью в пятьдесят рублей старыми, вполне в те годы пристойной. Так или иначе, но хватило ее и на два бифштекса, и на два кофе с яблочным пирогом, и на вино в декадентском тонкогорлом графинчике, кажется, портвейн. Это первое впечатление врезалось в память, будто посещение театра, каким оно отчасти и явилось, если учесть, что спектаклем казалось все: и зеркала, и лампы, и метрдотель, похожий на профессора с кафедры античной филологии или зарубежного искусства, и официантки, торжественные и полные достоинства, словно билетерши в академическом театре. Но главными героями пьесы предстали мужчина и женщина за соседним столиком, еще молодые, лет на пять или шесть старше Алексея, но вкушившие совсем иной жизни – пластичные, безотносительные, свободные. И модные, само собою, но без натуги, без хамского перебора, без спекулятивного самодовольства. В самую меру, как у героев французских фильмов, которые он смотрел по пять-шесть раз.

От этой пары трудно было отвести взгляд, такую чистую радость доставляло зрелище их общения, улыбок, жестов, выбивания сигареты из пачки, мимолетного прикосновения длинных ее пальцев к его загорелому крупному запястью.

Алексей не раз потом в худшие свои дни, на той же целине, в сырой вони саманного сарая, сознательно прокручивал перед внутренним взором этот незабываемый

фильм о любви и согревал себя мечтой, что и в его жизни когда-нибудь случится нечто подобное и сам он окажется однажды за столиком «Националя» напротив чудесной женщины, которая время от времени будет касаться своими легкими пальцами его мужественной руки.

Что ж, мечта не обманула. С Ритой они иногда заходили в кафе по вечерам, но чаще встречались среди дня, поскольку оба имели возможность убежать с работы.

Днем в «Национале» было лучше, чище, благороднее, и публика больше походила на ту виденную когда-то пару, хотя ни его, ни ее Алексей здесь больше никогда не встречал. Других красавиц было сколько угодно, и светского, и полусветского толка, и видных мужчин всех возрастов вполне хватало, интересно было строить догадки о роде их деятельности, разглядывать их кожаные пиджаки и замшевые куртки, прикидывать так и эдак, в каких отношениях находятся они между собой, радости их зрелище не доставляло.

И даже Рита, превратившаяся в присяжную наблюдательницу здешних нравов, похоже, не находила поводов для воодушевления.

Это вроде бы должно было успокаивать Алексея, да вот не успокаивало. Потому что снова и снова мимо него был направлен ритин взгляд, в поле зрения которого попадали местные плейбои, мнимые и настоящие кинорежиссеры, светские физики, похожие на фарцовщиков, и фарцовщики, превосходящие по части костюмов и манер всех сразу – и физиков, и кинорежиссеров.

Особенно хорош был один из этих корректно-деловых ребят, заседавших в «Национале», словно в своем фирменном офисе, – ни статью, ни улыбкой не уступающий американскому киноактеру, олимпийскому чемпиону, кандидату в президенты.

Поддавшись паническому искушению, Алексей все же обернулся однажды и удостоверился, что наблюдает Рита не за публикой вообще, но конкретно за Гиеной, такое прозвище в определенных кругах было у этого красавца, который один во всем зале соответствовал, пожалуй, той давней, незабвенной картине, которую случилось наблюдать здесь накануне отъезда на целину.

Уязвленный ревностью, Алексей догадался, что через минуту, прикурив меланхолически сигарету от лелеемой, будто драгоценность, ронсоновской зажигалки, Рита спросит как бы невзначай с выражением особой элегической углубленности в свое непростое прошлое:

— А что это за человек вон там за столиком у зеркала?

Разумеется, ему захочется рассказать о Гиене всю правду, о подозрительной его судьбе подпольного дельца, продавца икон и валюты, который, не таясь, целыми днями просиживает в «Национале», имеет на содержании собственного таксиста и крутит романы с балеринами и актрисами. Но то-то и оно, что обличительный пафос, который несомненно даст о себе знать в этой сугубо деловой информации, не произведет на Риту должного впечатления, вернее, произведет впечатление обратное необходимому. И дело не в какой-то особой предрасположенности Риты к авантюризму или слабости к преступному миру, просто вспыхнувший женский интерес совершенно независим от соображений морали, он этой моралью пренебрегает как чем-то вполне несущественным.

Алексей уже знал об этом, мало того, уже не раз испытал на собственной, как говорится, шкуре, как немощны и наивны в разговорах такого рода, в выяснениях отношений морализаторские потуги, однако всякий раз помимо воли сбивался на аскетический тон праведника и чистоплюя. А Риту это неизменно бесило, большие ее глаза с крутыми алебастровыми белками мстительно сузились, именно в такие минуты она и прибегала с нарочитым хладнокровием к своей ошарашивающей откровенности.

Она и теперь от нее не откажется, со страхом в душе предчувствовал Алексей, и с пренебрежительной жесткостью признается в том, что уже давно близка с Гиеной или, по меньшей мере, получила от него записку с просьбой о встрече. В одну секунду Алексей почти уверовал в эту внезапную версию, словно в совершеннейшую реальность, все памятные ему случаи внезапного ритиноного исчезновения, о которых он понапрасну у нее допытывался, пришли ему тотчас на ум и выстроились в единую удивительно логическую систему. С трудом, даже голо-

вой помотав, он отделался от этого наваждения. Поразительно, чем больше уязвляла его Рита своей прямоотой, чем злее и циничнее звучали ее якобы вынужденные признания, тем больше Алексей ее любил и тем губельнее от нее зависел. И мысль о том, что однажды Рита перед ним за столиком не окажется, даже такой, как теперь, скучающей, с особым значением курящей, погруженной в свое непостижимое, недоступное ему прошлое, не окажется и всё, – одна эта мысль отозвалась в нем затяжным паническим мандражем.

Уже не заботясь о сохранении лица, Алексей вновь обернулся и зависимым, наверняка испуганным взглядом оглядел Гиену и его компанию – не было во всем Союзе людей более независимых и уверенных в себе, чем эти в любое время года загорелые, великолепно постриженные ребята. Казалось, все им принадлежало в этом кафе, да и в городе тоже, да и в целой стране со всеми ее морями и горами, с курортами, со спальными вагонами, с валютными магазинами и закрытыми распределителями. Впрочем, ничего необычного, выдающего какой-либо интерес Гиены к своему столику, Алексей не обнаружил. На мгновение Алексей устыдился своего мандража, позорной своей зависимости, черт возьми, с кем его, книгочя, туриста, изъездившего страну в попутных грузовиках и в общих вагонах, потянуло тягаться. Он посмотрел на Риту, безотчетно ожидая от нее подтверждения своим невысказанным мыслям, ободряющей улыбки, нежного взгляда, на которые она так щедра была каких-нибудь полгода назад. Рита по-прежнему была безучастна, тонко чадила в ее точеных пальцах сигарета, и выражение особой избранной разочарованности не сходило с ее лица. По этому выражению любой незнакомец должен был составить представление об интеллигентной современной женщине со сложной лирической биографией, а вовсе не об измайловской девочке, какую она на самом деле была.

Интересно, что Рита вовсе не любила вспоминать про свое детство и юность. Даже в самые задушевные времена их отношений, когда, вдохновленный своей любовью и ее нежным вниманием, Алексей целыми новеллами рассыпался из жизни своего двора и переулка, Рита



его вдохновением не заражалась и о своем дворовом происхождении предпочитала умалчивать. Так, изредка, мимоходом упоминала об оставившем их отце, который подался куда-то на север, к золотоискателям, да о красавице-сестре, за которой еще в школе ухаживали взрослые мужчины, геологи и хоккеисты. Отзвук извечной дворовой мифологии, девичьих грез, какие сильно украшают действительность, улавливал Алексей в этих, подобных намекам, кратких признаниях, однако уточнять ничего не решался, радовался и им.

Рита вновь внимательно, по-женски снисходительно и мудро посмотрела через плечо Алексея в сторону Гиены и затем, пожелтевшим от никотина пальцем раздавив в пепельнице сигарету, со скучающим видом вновь окинула взглядом зал. Похоже было, что важнее всего ей было не видеть перед собой Алексея. Он проглотил и эту обиду, и это женское привычное оскорбление решив снести, кто бы мог подумать, что веселая прелестная Рита способна на такие мимолетные необдуманные жестокости, – и вдруг заметил в ее глазах испуг. Да что там, самый настоящий девчачий страх, в одну секунду смывший с ее лица напускное дамское томление. Острая жалость вместе с тревогой окатила Алексея, он повернулся, ожидая увидеть нечто опасное: ссору, драку, приближение пьяного хама, – от сердца отлегло, чинно и спокойно было в кафе, только в проходе между столиками, приглядывая себе свободное место, двигался, слегка припадая на левую ногу, кудреватый человек, отчасти похожий на приятелей Гиены. Однако, если приглядеться, не дотягивающий до их уровня. Это в смысле костюма, держался он не менее уверенно, чем они, на официанток не обращал никакого внимания, явно не стремясь прибегнуть к их помощи при отыскании столика, и на публику поглядывал хозяйским взглядом завсегдатая. Алексею показалось, что на мгновение его придиричивый взгляд задержался в их направлении, то есть на Рите, так надо понимать, и подобие особой понимающей ухмылки скользнуло по его губам.

– Давай уйдем, – умоляющим тоном быстро заговорила Рита, – слышишь, я тебя прошу, давай уйдем сейчас же!

– Но ведь мы так и не поели, – нелепо возражал Алексей, – с минуты на минуту принесут.

– Алешенька, – умоляла Рита растерянным слабым голосом, при звуках которого Алексея обжигали воспоминания, – я не могу здесь находиться, давай уйдем.

Алексей положил на скатерть десятку, ассигнованную на сегодняшнее гулянье, и они быстро, словно спасаясь, вышли на осеннюю улицу.

Рита торопилась, будто опаздывала куда-то. Алексей, запахивая на ходу свою болонью, едва поспевал за ней.

– Куда ты? Куда? – глупо взывал он на ходу.

Вот так пробежали они целый квартал, и ревнивые догадки, одна другой ужасней, теснясь и перебивая друг друга, бросали Алексея то в жар, то в холод.

Наконец ему удалось как бы осадить Риту и увлечь ее во двор среди стареньких университетских зданий. В этом уютном и всегда пустынном замечательном московском дворе они, жестоко и беспощадно распаляя друг друга, целовались в прошлом сентябре, ветреной осенней ночью, а университетские липы, вскипая, шумели над их головами, и Алексей поражался тому, что руки его сами по себе, помимо его стыдливого сознания, обретали древнюю покоряющую дерзость.

– Подожди, подожди, – шептала Рита тем особым женским голосом, какой возникал у нее только в подобные минуты и сводил Алексея с ума. Они оказались на влажной от дождя скамейке, быть может, на той самой, на какой целовались год назад, и даже ветер в кронах пробежал тот же самый.

Судорожным, вовсе не картинным, не кинематографическим жестом Рита вытащила из пачки сигарету и, жадно прикурив от своего драгоценного «ронсона», совсем не эффектно принялась часто-часто и глубоко затягиваться.

– Что случилось? Ну объясни, ради Бога, что происходит? Кто этот человек? Чего ты так испугалась? –

спрашивал Алексей, умоляя ответить ему, едва на колени не становился и о ствол липы бился головой.

Рита молчала, затягиваясь все глубже, докуривала сигарету до фильтра, обжигала пальцы и тотчас запылила новую, и алексеев монолог, похоже, не доходил до ее сознания, только собственные мысли занимали ее теперь, только собственный голос доходил до слуха...

А может, и еще чей-то. Алексей сорвался, от просьбы перешел к крику, завопил, что не надо заводить любовников, от которых потом приходится спасаться бегством, требовал признаться, кто этот до смерти напугавший ее человек – валютчик, подпольный бизнесмен, игрок-кавала из шулерской «академии»?

– Отвали, а! – не поворачивая головы, брезгливо и презрительно произнесла Рита, и у Алексея сразу отсох язык.

До него как-то сразу дошло, в каком небывало унижительном положении он оказался: ни защиты его, ни даже участия не требовалось, и даже в обычные доверенные лица, каким мог оказаться сейчас любой подвернувшийся под руку забулдыга на троллейбусной остановке, он не годился. Ему вспомнились те пустые глаза, какими смотрела на него Рита в кафе, в те минуты, когда он отвлекал ее от созерцания публики, и ему сделалось противно.

Он встал с лавки и пошел по своему любимому, памяtnому, наизусть знакомому двору, но не в те ворота, в какие они сюда пришли, с Манежной площади, а совсем в другие, многими корпусами скрытые, медицинским факультетом и питомником для подопытных собак, выходящие в переулок.

В лужах хлюпала под ногами палая листва, и в невидимом в потемках виварии обреченно скулили собаки.

Потом Алексей мчался по узкому, подобному ущелью переулку и то ли про себя, то ли вслух продолжал свой смятенный, непристойно язвительный монолог. О том, что вертеть задницей на глазах всего народа, конечно, большой талант, исключительное дарование, возбуждающее ценителей, но хорошо бы и меру знать, не засчитывать себе в качестве упоительной победы каждого привязавшегося к ней в метро или на улице ловеласа.

Все равно засчитает, – сознавал он трезво и еще больше заходил в гнев, – прекрасно знает, что кадрятся на улице только циничные распутники, профессиональные соблазнитель, сексуальные маньяки, не ведающие ни удержу, ни стыда, и все же каждого такого «кадровика», липкого, приторного, наглого, расхоже болтливое, бескорыстно и счастливо записывает в число своих умозрительных трофеев, сулящих ей успех в жизненной борьбе.

Бедная девочка, – вдруг потрясла Алексея обнаженная мысль, – а чем еще она может гордиться, как не вниманием мужиков, чему еще радоваться, ведь не обшарпанной своей комнате на Ордынке, в жутком клоповнике, не отремонтированном, наверное, с тридцатого года, не заштатному своему НИИ, где она служит лаборантом, среди унылых, обремененных семьями и удрученных безденежьем научных сотрудников? От внезапной жалости к Рите Алексей остановился и, потоптавшись немного на углу улицы Горького, быстро-быстро пошел, почти побежал назад в университетский двор. И вновь невысказанные слова бились у него в горле, про себя он просил у Риты прощения, повторял то и дело, что страшно за нее волнуется, умолял объяснить ему, что произошло, что ее напугало.

Под жалостливый плачущий лай собак в виварии влетел он в погруженный во тьму двор и прямо по лужам побежал к тускло освещенному скверику. Риты на скамейке не было. Только окурки со следами помады на фильтре валялся на мокром песке.

Не отдавая себе отчета в поступках и намерениях, Алексей оказался на Манежной площади. Ноги несли его к «Националю», неумыслу подчиняясь и не надежде, одному лишь подозрению, которое срочно требовалось опровергнуть. Не добежав до входа, он без стеснения припал сначала к одному ярко освещенному окну кафе, огромному, как витрина, потом к другому и к третьему. Вся вечерняя жизнь «Националя» возникла перед ним кадр за кадром, как на экране, вся здешняя суэта, тусовка, свидания деловые и любовные, компании и парочки. Гиена по-прежнему пировал среди своих элегантных друзей, судя по всему, омывающих удачную сделку, разворот

или просто наколку, сквозь стекло еще больше напоминающая своих обожаемых «штатников».

И тот человек, что навлек ужас на Риту, был на месте в дальнем углу, возле зеркала, попивая нарзан из фужера, он внимательно слушал свою собеседницу, которую Алексей мог видеть лишь в затылок, и время от времени окидывал зал быстрым своим взглядом. Риты в кафе не было. Убедившись в этом, Алексей не обрадовался, а едва не взвыл от тоски.

Господи, конечно, она могла пойти куда угодно, к родным, к подруге, домой в конце концов (не в первый раз они ругались); мысль о том, что он оставил ее в момент испуга, мистического почти страха, неясной беды, буквально терзала Алексея.

Глазок свободного такси замаячил на перекрестке, и он вновь, не соображаям ума повинуюсь, а некоему опережающему его импульсу, обнаружил себя на мостовой прыгающим с раскинутыми руками. Потом за окном машины промелькнул Ломоносов в университетском сквере, колоннада библиотеки, огни Театра эстрады, толкучка возле «Ударника». Все эти приметы любимых, взад и вперед исхоженных московских мест отзывались в теле лихорадочной дрожью. Даже тишина погруженного во тьму Замоскворечья его не успокоила, показалась тревожной, предательской, таящей опасность.

Во двор, где жила Рита, Алексей входил все с тою же противной лихорадочной дрожью внутри. И возле знакомого крыльца с выщербленной ступенькой, на котором они целыми часами прощались и все никак не могли проститься, просто-напросто оторваться друг от друга, замялся в растерянности. Подняться на третий этаж к Рите он не мог. Не было ему туда хода. Только однажды оказался он в ее комнате, узкой, будто ящик конторского стола, погруженной в молоко тумана осталась она в его памяти, поскольку дело было на рассвете. Точнее, перед самым летним рассветом. Они стояли, не в силах разъединиться на этом самом крыльце, потом Рита с нежной решительностью высвободилась из его рук, отчего физическая пустота показалась ему нестерпимым мучением, и вошла в парадное. Он так и торчал на крыльце, страдая от этой неестественной, жестокой пустоты, как вдруг в

темноте подъезда разглядел зыбкое пятно ритинового лица. Она его манила. Он переступил порог и осторожно пошел вслед за ней по нечистой, выщербленной лестнице, ощущая, как в предчувствии невероятного, небывалого счастья оглушительно колотится его сердце. Заговорщицки и еще как-то незнакомо, откровенно улыбаясь, Рита отперла дверь и, сняв туфли, в одних подследниках переступила порог. Вновь лицо ее высоко светилось во мраке коридора, в неведомых недрах недоступной ему квартиры, улыбки Алексей не видел, но он ее чувствовал, ее откровенность и манящую привлекательность.

...Оторвавшись от воспоминаний, будто от Риты, Алексей понял, что позвонит ей сейчас из той самой будки, из которой всегда ей звонил, когда шатался под ее окнами. Будка находилась на пустынной замоскворецкой, когда-то раздольно-купеческой улице, вели в нее другие ворота этого столь же запутанного, как и университетский, проходного двора.

Алексей углубился в его дебри, проплував во тьме среди особняков, флигелей, бывших конюшен и каретных сараев, вышел к палисаднику, памятному теми же ночными ласками и признаниями, и вздрогнул. На скамейке, подняв воротник плаща, с неизменной сигаретой, на этот раз по-дворовому, по-уличному прикрываемой при затылке пальцами, сидела Рита.

У них накопился опыт молчаливого примирения: после скандальных размолвок с выяснением отношений, с обидными словами и язвительными намеками, с бросанием трубок и нежеланием видеться по неделям, вдруг появиться возле дома или возле работы, как ни в чем не бывало, своим присутствием, дыханием, прикосновением не то чтобы опровергая все былые подозрения и обиды, а просто-напросто отменяя их в сторону.

Алексей сел рядом с Ритой, ни в чем не оправдываясь и от нее не требуя оправданий, ему хотелось ее целовать вовсе не ритуально, хоть в знак покаяния, но Рита недовольно повела плечом, не принимая ласки, а потом повернула к Алексею свое уже не испуганное, уже вполне спокойное, поддающееся обдуманному контролю лицо и сказала, что на прошлой неделе была у курчавого из «Националя».

Алексей беззвучно ловил губами воздух, у него было такое чувство, будто ему дали под дых, жестоко, со знанием дела, вырубив его по меньшей мере на час, подавив всякое желание сопротивляться.

У Юрия Евгеньевича, уточнила Рита. Он выдает себя за фотохудожника, у него мастерская на улице Станкевича, во дворе, рядом с типографией «Гудок». Только это никакая не мастерская, это совсем другое. Это тайная квартира для таких вот встреч.

– Для каких? – по-прежнему одними губами спросил Алексей.

– Для таких, – упрямо повторила Рита, и в накате знакомой откровенности начала рассказывать, что на прошлой неделе у нее на работе раздался звонок. Мужчина, назвавшийся Юрием Евгеньевичем, стал ее просить непременно ему попозировать, он заметил ее в парикмахерской на Гоголевском, где она действительно делает голову, и уверял, что именно ее стрижка необходима ему для какого-то фотоальбома. Алексей подивился пошлости этой выдумки и в то же время безотказной ее действительности. Рита могла догадываться о подвохе, даже наверняка о нем догадывалась, и все же согласилась на свидание, поскольку была заинтригована звонком незнакомца. Алексей в этом не сомневался. С тоской он представлял себе, как была она возбуждена предстоящей встречей с неизвестным, убеждавшим ее, сколь ему необходимо запечатлеть ее красоту, каким мнимо равнодушным голосом отнекивалась, а потом, уступив, растерянно бормотала: – Но как я вас узнаю, я ведь вас никогда не видела. – Не беспокойтесь, – успокоил ее очарованный фотохудожник. – Я сам к вам подойду.

И действительно, сам подошел, не заставив себя ждать ни секунды. Едва огляделась она возле памятника Чайковскому у входа в Консерваторию, как Юрий Евгеньевич будто из-под земли возник, приятный, корректный, в финском стальном плаще, с кудрявыми волосами, уложенными аккуратными волнами в стиле пятидесятых, а то и сороковых.

Он представился, сказал, что мастерская совсем рядом, и, взяв ее интимно под руку, повел переулками и симпатичными незнакомыми дворами. Вход в мастер-

скую был прямо с улицы, пока Юрий Евгеньевич целым набором ключей отмыкал один за другим несколько замков, Рита воображала, что ждет ее за дверью: просторная комната, почти зал, уставленная софитами и дигами, увешанная снимками красавиц, демонстрирующих прически, туалеты, а то и просто красоты своего тела, небрежным богемным уютom отмеченная и налетом европеизма, который то в плакатах зарубежных фирм дает о себе знать, а то и просто в хороших сигаретах.

Сигаретами «Лорд» Юрий Евгеньевич и вправду ее угощал, однако ни в чем другом ожидания Риты не оправдались. Студия оказалась на деле маленькой мещанской квартирой, типа дворницкой, только и славы, что совершенно отдельной, без соседей, в комнате стоял комод, застеленный кружевами, домашней вязки салфетками, венские дешевые стулья, а на стене болтался копеечный гобелен с оленями, из тех, что солдаты привозят после службы в ГДР. Еще и семейные снимки красовались на стенке в допотопных резных рамочках, люди на них, простодушно и уважительно глядевшие в объектив, вроде бы не имели ничего общего с тщательно одетым, отутюженным, как-то чересчур приветливым и обходительным Юрием Евгеньевичем.

Разумеется, Рита тотчас утвердилась в том, о чем все время разговора по телефону смутно подозревала. Вся эта трепотня о прическах, о фотомоделях, все ссылки на парикмахерскую, на рекомендации знакомой мастерицы оказались чистойшей понтярой. Насколько убогая эта квартира не походила на студию фотохудожника, настолько же и сам Юрий Евгеньевич не обнаруживал в себе повадки профессионального служителя муз. Правда, он беспрерывно говорил Рите комплименты, подливая ей кофе, сваренного в тесной, кривоватой кухоньке без окна, и рюмочку коньяку настойчиво упрашивал пригубить, тем не менее, профессионализм в нем сказывался отнюдь не художнический, а какой-то иной, загадочный, непристойный, неуловимо обнаруживающий себя в намеках, в знании кое-каких обстоятельств и подробностей ее жизни, в случайных якобы проговорах, в лукавом свойском смешке, в назойливом желании преодолеть понятную отчужденность и заговорить, совсем уж без



обиняков и околичностей, с интимностью домашнего врача-гинеколога.

Рита что было сил сопротивлялась этому натиску, прибегая к испытанным приемам, какими женщины осаживают настырного и опасного ухажера, делая вид, что вовсе не понимают намеков, пропуская мимо ушей двусмысленности и комплименты и нарочито придерживаясь самого что ни на есть благовоспитанного тона, начисто отвергающего какую бы то ни было интимность, даже шутивную.

Вот уже с полчаса продолжался их поединок, эта гибельная игра на грани кокетства и насилия, Рита уже прикидывать начала лихорадочно, успеет ли она в случае чего добежать до двери, вспоминала, запер ли Юрий Евгеньевич ее на ключ или нет, на окно поглядывала, а что, если закричать, и вдруг с неожиданной женской прозорливостью поняла, что опасаться за себя чисто физически ей нет нужды. Как бы ни рассыпался перед ней Юрий Евгеньевич, к каким бы скользким остроумиям ни прибегал для налаживания интимной атмосферы, приставать он к ней не будет, это она четко почувствовала, во всяком случае помимо ее воли. Не этого ему нужно было от нее, то есть этого тоже, быть может, женщина всегда это ощущает, но так, разве что между делом, а дело-то было совсем в ином.

Осознав это, она даже как-то обиделась. А Юрий Евгеньевич, решив, очевидно, что искомая короткость наконец достигнута, приступил, без обиняков и аллегорий, к сути этого свидания. Он сказал, что хотел бы познакомить Риту с иностранцем. Она опешила, точно так же, как Алексей в момент ее рассказа.

– С каким? – только и вымолвила она. – Зачем?

– Да есть у меня на примете, – многообещающе улыбнулся Юрий Евгеньевич, сознательно игнорируя второй вопрос. – Англичанин. Между прочим, очень богатый человек. Вы ему определенно должны понравиться...

Рита молчала, ошеломленная конкретностью предложения, и в голову ей лезла подловатая и глупая мысль

о том, что ее, видимо, спутали с сестрой. Двоюродная ее сестра, Марина, стучавшая на машинке в каком-то главке на Кировской, та действительно крутила романы с иностранцами, в прошлом году совсем было уж собралась замуж за египтянина, а недавно хвасталась, что подцепила какого-то финна. Родственники хватались за головы, кричали, что все это плохо кончится, как пить дать, высылкой на сто первый километр, – она смеялась им в лицо.

Юрий Евгеньевич, желая тем временем рассеять ритины сомнения, намекнул ей, что, кроме англичанина, у него есть еще кое-кто на примете. Как говорится, специально для вас. Американец. Роскошный мужик. Вполне возможно, что миллионер. Насколько Юрий Евгеньевич понимает в медицине, Рита должна быть в его вкусе.

Риту прямо-таки трясло от этого неприкрытого, простодушного цинизма, она сдерживалась из последних сил, пыталась повернуть разговор на забытую уже стезю парикмахерских фотографий, признавалась, что никогда в жизни не стремилась к знакомству с иностранцами, да еще с миллионерами.

– Ну и напрасно, – играл глазами Юрий Евгеньевич, укорял ее за отсутствие мечты и скромность запросов и при этом щедро, с ловкостью фокусника вскрывал для нее очередную пачку «Лорда», отдирая ногтями целлофановую ленточку, вытягивал золотую фольгу, ударами проворных пальцев выщелкивал пахучие сигареты.

Лукавая мимолетная улыбка только оттеняла сугубую серьезность тона, с какою он излагал свое деловое предложение, подчеркивая, так сказать, свои гарантии и обязательства.

Замечательная жизнь ждет ее. Такой даже во сне не смогут предложить ей некоторые приятели, тут Юрий Евгеньевич вновь дал понять, что пребывает в курсе определенных обстоятельств ритиной личной жизни. К тому же порывать с «этими приятелями» нет никакой надобности. Как говорится, на душу фирма не претендует. Она предлагает: лучшие рестораны, причем такие, что закрываются отнюдь не в одиннадцать часов. Премьеры. Кинофестивали. Завидные знакомства. В это мгновение Юрий Евгеньевич выглядел начальником отдела кадров,

который привычно перечисляет льготы и преимущества своего ведомства.

Пугаясь щедрости предложений, Рита начала было уверять, что к ресторанам и вообще развлечениям такого рода равнодушна, однако Юрий Евгеньевич не дал ей договорить, хитровато погрозив пальцем: знаем, мол, мы ваши вкусы и привычки. И Рита в который уже раз почувствовала себя уличенной Бог знает в каком неведомом грехе.

Тогда она, окончательно подавленная, прибегла к последнему, откровенно демагогическому доводу, совсем уж дурочкой прикинувшись, не ведающей, с кем имеет дело. Сказала, что не хотела бы вообще впутываться в истории с иностранцами, знаете, как могут посмотреть...

Юрий Евгеньевич от души расхохотался, то ли и вправду ее наивности, то ли наивному аргументу.

— А вы не бойтесь. Если кто косо посмотрит, вы тут же мне сообщайте, прямо звоните, не стесняйтесь. И вообще позванивайте почаще. Ну, скажем, раза два в неделю.

Он протянул Рите свою визитную карточку, на которой, как и следовало ожидать, именовался фотохудожником, и вновь принялся с протокольной точностью перечислять очарования ее ближайшего будущего. Курорты, само собою. Тряпочки всякие, да не из «Березки», а по каталогу прямо из-за бугра, от лучших домов. Ну и машина, чем черт не шутит, если, конечно, она сумеет себя правильно поставить.

Рита осмелилась вякнуть еще что-то о своей занятости по работе, но Юрий Евгеньевич посмотрел на нее снисходительно и умиротворяюще, будто на блаженную. Как говорится, пусть вас не волнует этих глупостей. Он вообще полагал, что сумел ее убедить, не сомневался в том, что она еще не раз поблагодарит его за счастливый поворот в ее судьбе, и, прощаясь, был уверен в скором ее звонке.

То есть он еще предлагал подбросить ее на машине домой или куда ей там надо, Рита с трудом отбоярилась, сказала, что на метро ей гораздо проще.

Хуже всего было то, что Алексей не знал, что ему говорить. Он соображал, что от него требуются слова сочувствия и понимания, которые рассеяли бы ее страхи и в нелепом, дурацком свете представили бы ее соблазителя со всеми его заманчивыми предложениями, с американскими миллионерами и карденовскими тряпками. Слова эти, как назло, не шли на ум. Шли всё какие-то беспощадные, злые соображения, которые растрavляли и без того измотанную, измочаленную душу. Он догадался, например, где курчавый Юрий Евгеньевич впервые высмотрел Риту и, как говорится, положил на нее глаз. Да все в том же «Национале», конечно, куда Алексей постоянно ее зазывал, разыгрывая безотчетно сцены из ремарковских романов, воображая себя Бог знает кем, хемингуэевским героем, персонажем знаменитого фильма о мужчине и женщине.

Совсем иную роль ей предложили, вот ведь как вышло. Он знал, какую, потому что, пока Рита, соответствуя ему, изображала из себя героиню грустного и мудрого романа, кое-кто из ее ровесниц за соседним столиком позволяли себе быть самими собой, отдыхая от профессиональных обязанностей. Чадили сладковатым сигаретным дымом, дули коньяк, красились диоровской помадой и прыскались духами из флакончиков с пульверизаторами, разговаривали на щебечущей смеси очень буквального мата и английских искаженных слов, обсуждали, например, какая «шузня» появилась недавно в «шопе».

Посетители из числа благородных завсегдатаев косились на них раздраженно, требовали шипящим шепотом у официанток призвать их к порядку, те же только разводили руками и многозначительно устремляли глаза вверх и в сторону. Алексей поймал себя на том, что не глядит на Риту, опасаясь бессознательно обнаружить в ней черты, хоть потаенно, хоть мимолетно свойственные тем девушкам. Ведь не случайно же именно на нее обратил внимание их тайный покровитель.

Чудовищный стыд охватил его от этой мысли, осознанным усилием постарался он утопить его в потоке нежности, находя отраду в бессвязных словах утешения и

успокоения, в залихватских выкриках: «Да пошли они все!» – в ухищрениях мнимой рассудительности, подлее всего было осознавать, что до конца стыд не исчезает, не тонет, на нет не сходит, поскольку не сходят на нет и те догадки, что его вызвали.

Должно быть, Рита что-то почувствовала, уловила какую-то неестественную чрезмерность в бурных его увещеваниях, потому что ни спорить, ни соглашаться с ним не стала, а просто попрощалась безразлично вежливо, как с сослуживцем, и пошла домой.

Почему-то он не пошел за ней следом проводить до парадного, а только наблюдал со странным спокойствием, как исчезает среди черных деревьев, среди флигелей и сараев бывшей купеческой усадьбы ее светлый плащ.

1988, сентябрь

**МАКАРОВ** Анатолий родился в 1940 году в Москве. Работал журналистом в центральной печати. Автор прозаических книг «Человек с аккордеоном», «Мы и наши возлюбленные» и «Последний день лета». Живет в Москве.

Нина Бялосинская

МОЛИТВА

*Только усталый достоин молиться богам.  
Николай Гумилев*

В повторимом, как в цепях.  
Вместо звука звон кандалный.  
Всенародной наковальной  
день стоит.  
За взмахом взмах,  
за звеном звено в звено –  
повторенья,  
повторенья.  
Господи!  
Твое творенье  
в повтореньях,  
как впотьмах.  
Как в кино,  
как в домино –  
к бланшу бланш  
мелькают кадры,  
к масти в масть  
ложатся карты,  
карточки в отделе кадров –  
в графы все разнесено.  
Где же, Господи, просвет? –  
вспышка, вздох?  
Уже одышка.  
Перетоптана дорожка.  
Обкаталась.  
Где же след?  
Пусть не целая ступня –  
хоть бы три полоски птичьи –  
ординарное обличье,  
искра истинного дня.  
Господи!  
Моя беда,  
что была неумоима,  
повторимостью гонима,  
повторялась без стыда.



## В КОМАРОВО

Прости меня, город Петра, не обидь,  
За то, что тебя не умею любить,  
Что снова я твой неприветливый гость...  
Везет электричка меня на погост.  
Где осень пуржит почервленнным листом,  
Где Анна лежит под чугунным крестом.  
Просторно лежит, за кирпичной стеной,  
Воздетой меж ней и живою сосной.  
И где молчаливая птица  
В прохожие лица глядится,  
На бережной ветке колышась...  
Где я не утешусь – утишусь.

БЯЛОСИНСКАЯ Нина родилась в 1923 году в Москве. Автор стихотворных книг «Дорогой мой человек» и «Поздний свет». Живет в Москве.



## ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

*Рассказ*

Телефонный диск вращается медленно, как Земля, и нервы у Полосухина не выдерживают – ускоряя возвратный ход пружины, с яростью дожимает диск пальцем. В трубке слышится треск, и тотчас – обвальная тишина. Еще один аппарат выведен им из строя... На этой сумрачной пыльной площади, куда он попал после стольких блужданий, нет ничего, кроме бессмысленного нагромождения телефонных будок. Те, в которых он уже побывал, стоят с отпахнутыми дверцами, и на каждой дверце отдельно от его физического естества дрожит и плавает его отражение: некто оборванный, грязный, со струпьями застарелых ссадин.

01..? Не срабатывает. 02? – то же самое... 03 – не отвечает! 04 – Мосгаз – не отвечает!!! Полосухин раздражается потоком брани (что за бред, не сошел же он с ума?!) и задом вываливается из кабины.

Для плотного соединения у него осталась только одна монетка. Значит, нельзя набрать произвольный номер, чтобы позвать на помощь. Всего одна, и рисковать ею он не имеет права!.. В НИИ, где Полосухин работает инженером и куда он позвонил первым делом, его подняли на смех (мужик, сказали ему, prospись и правильно набирай номер), и всякий раз потом, услышав его голос, с гоготом клали 'трубки. На предпоследней двушке к телефону подошла женщина, пригрозила: «Гражданин, вы прекратите это хулиганство, иначе я обращусь в милицию!» – «Но послушайте, я звоню к себе в институт!» – «Ошибаетесь, это кооператив "Радуга"!»

Дома телефона у него нет. Соседский, как ни тужился, как ни напрягал память, не смог вспомнить. Боже мой, ну хоть кто-нибудь!!!

Оскалившись на свое опять отделившееся отражение, он бережно открывает дверцу очередной кабины. Он будет осторожен и терпелив, он больше не станет докручивать диск пальцем, это ведет к поломке. Запра-

вив монету в прорезь, Полосухин набирает номер психоневрологического диспансера. Когда-то, еще студентом, он обращался туда по поводу участвовавших случаев болезненно-повышенного возбуждения.

Последняя монетка. Спасательный круг, сократившийся до размеров крошечного металлического кружочка.

Сухой щелчок. Дамский безличный голос:

– Телефон доверия.

– Ка-ак? – вскрикивает Полосухин. – Как вы сказали?!

– А куда, собственно, вы звоните? – Голос обретает слабые признаки индивидуальности – за счет подавляемого раздражения.

– Я набрал двести – два ноля – ноль один! – Вы набрали номер службы доверия. – А что это?.. – Медико-психологическая помощь без вызова врача на дом. – О Боже... – шепчет он потрясенно. – Алло?

– Говорите. Мы готовы вас выслушать и оказать помощь. Расскажите о ваших проблемах. Не спешите, соберитесь с мыслями. Начните с самого начала. Итак, что вас вынудило позвонить?

– А вы не бросите трубку?

– Нет-нет. Успокойтесь. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Задержите дыхание. Дышите ровно, спокойно...

– Я сейчас... большое спасибо вам!

– Если вы не уверены, что попали именно к нам, положите трубку и наберите номер снова.

– Ни в коем случае, эта двушка у меня последняя!!!

– Ну, хорошо-хорошо. Как вы себя чувствуете? Готовы?

– Г-готов!

– Тогда для начала несколько формальных вопросов. Ваше имя? Возраст? Образование? Где и в качестве кого работаете?

– Я... Полосухин Борис Иванович, тридцать семь лет, закончил Горно-металлургический институт, работаю в НИИ угольной промышленности...

– Ваше душевное состояние, оно не связано каким-либо образом с недавними шахтерскими забастовками?

- Что? Вы сказали: шахтерскими забастовками?!  
- У него перехватывает дыхание. - О чем вы?!

- Не волнуйтесь. Я ничего особенного не сказала. Просто недавно имели место некоторые волнения среди шахтеров.

- У нас? В Советском Союзе? Простите, а ваша служба - это реальность?

- Реальность, Борис Иванович. Мы существуем уже пять лет. Периодически публикуем информацию в медицинской печати. Но специфика нашей деятельности такова, что... Ну, вы понимаете, что в широкой рекламе мы не заинтересованы. Как правило, тот, кто нуждается в нас, находит нас по телефону 03.

- 03 не отвечает! - ...или по справочнику. Если вы откроете страницу пятую...

- Но у меня нет справочника!

- В таком случае, как вы узнали наш номер?

- Я не знал, что он ваш. Когда-то это был номер психдиспансера. Я его... вспомнил.

- Все правильно, теперь этот номер принадлежит нам. А как давно вы обращались в диспансер?

- Давно, еще студентом. Простите, а как вас зовут?

- Это совсем неважно. Можете называть меня Верой.

- Или Надеждой? - спрашивает он упавшим голосом. - Или Любовью? - (Конечно же, его дурачат.)

- Мое полное имя - Вероника Сергеевна, - мягко отвечает его собеседница. - Ну-ну, вы же мужчина. Не нужно плакать, Борис Иванович, все будет хорошо.

- Простите, сейчас пройдет... - говорит, проглотив слезы. - Все началось утром, началось странно, неожиданно... Я, наверно, схожу с ума, но, честное слово, у кого угодно чердак поедет, окажись он на моем месте!..

- Продолжайте, Борис Иванович.

- Послушайте, а вы не могли бы называть меня - Боба? - робко вставляет он. - Если, конечно, это не противоречит правилам.

- Хорошо... Боба.

- Или лучше - Бобчик. Бобчинский. Так меня называла мама.

В голосе абонентки звучит скрытый смешок:

– Хорошо. Но не будем злоупотреблять этим милым обращением. Договорились?

– Да, Вероника! Огромное спасибо вам, Вероника!

– Я слушаю.

– Все было, как всегда, Вероника, как вчера, как третьего дня. Я встал в семь часов, включил радио – передавали новости, что-то о каком-то очередном историческом пленуме партии, у нас ведь что ни пленум, то обязательно исторический.

– Вы не помните, о чем конкретно шла речь? Это существенно.

– Ах да, вспомнил, об избрании нового генерального секретаря. Какого-то Горбачева Сергея Михайловича!

– Михаила Сергеевича.

– Может, и так, хотя не уверен. Я вообще далек от политики, радио слушаю из-за погоды. Москва – так разрослась, что поехать из одного района в другой – все равно что в другой город; тем более, что выходишь утром, а возвращаешься поздно вечером, переменить одежду в течение дня возможности нет, в чем вышел, в том и живешь весь день. Впрочем, зачем я вам это рассказываю, вы знаете об этом, небось, по собственному опыту, Вероника... Ну так вот, я поставил чайник, потом побрился, умылся, чайник как раз засвистел, я снял его с плиты, заварил чай и, пока он настаивался, пошел (как всегда, как обычно!) вниз за газетами. Я выписываю «Вечерку» и «Шахматы»; «Вечерку» из-за объявлений, «Шахматы» для души, там иногда печатают умопомрачительные этюды. Ну, это к делу не относится, Вероника... Так о чем я? Да, я стал спускаться по лестнице, на первый этаж, в вестибюль, где у нас висят почтовые ящики. Задумался, видать, о чем-то; спускаюсь; а я живу на пятом, значит, надо пройти десять маршей и окажешься в вестибюле, всего-то... Но вот я сказал – задумался. Верно, о чем уж не помню, какие особенные мысли у человека утром? Во что одеться да чем позавтракать. Вдруг чувствую какое-то беспокойство, понимаете? Что-то больно долго спускаюсь! Будто не с пятого, а с пятнадцатого... И что характерно, лестница какая-то не такая! То есть – железный поручень, ступеньки из шлифованного бетона, все вроде так, но то ли сам лестничный колодец

сделался уже, то ли стены не того колера?.. И самое неприятное, настораживающее: стены сплошь исписаны латинскими буквами! Раньше писали всякую похабель кириллицей, а тут одни импортные надписи – не то лейблы, не то эмблемы, в общем, чушь, бред, пещерная клинопись. Готическими, однако, буквами. Беспокойство мое (нехорошее беспокойство, понимаете) усилилось, когда дверь, ведущая слестницы в вестибюль, представьте себе, и с ч е з л а , вот так прямо, непостижимо уму исчезла, и вместо нее – все та же стена, исчерканная аэрозольной краской! А дверь я обнаружил не внизу лестницы, где ей полагалось быть, а сбоку, посередине марша.. И что еще запомнилось – ручка, болтающаяся на одном шурупе. Я толкнул дверь, она поддалась, заскрипела, и я буквально выпал на улицу, яркую, шумную, оживленную, словно был уже полдень, а не начало дня, и не март месяц, а середина мая, когда люди одеты по-летнему и многие уже успели поймать загар, и я в своих домашних босоножках, в домашних брюках и в футболке ничем не отличался от других людей, спешивших по делу или праздно шатающихся; но это я отметил задним числом, а в ту минуту думал о том только, как бы поскорей попасть в свой подъезд, взять почту и подняться к себе домой – рабочий день у нас начинается в 9.15, опаздывать не рекомендуется, таково правило, введенное при Андропове и удержавшееся при Черненко: потом, во время работы, шляйся где хочешь и сколько хочешь, но в 9.15 все должны быть на своих местах. Я пустился в обход дома, чтобы попасть во двор и пройти к своему подъезду, но, странное дело, дом оказался вовсе не моим (!), я не узнавал его, как ни тер глаза, как ни моргал, ни смигивал мороксглаз; я живу в панельной девятиэтажке – этот был кирпичный, с лоджиями и эркерами по фасаду, и чем сильнее я торопился, тем дальше относил меня куда-то (понимаете, я коренной москвич, знаю город не по станциям метро, как многие москвичи нынешней генерации), так вот, обнаруживаю, что я не в родном 95-м квартале Кунцева, а на Арбате (!), на Старом Арбате, но уже с позднейшими нововведениями; ну, вы, вероятно, знаете, Арбат решено было сделать пешеходным, и уже несколько лет его калечат – мостят, перелицовывают и т.д., и я

попал на Арбат, каким-то чудом уже перепрофилированный, должно быть, строители взяли, что ли, встречные обязательства и выполнили их досрочно, но меня поразила обстановка там, судите сами, Вероника, белым днем, посреди улицы заседают неведомые живописцы и малюют портреты всем желающим, причем за живые деньги, без всяких налогов и пошлин; какая-то девушка, отпозировав, встала с раскладного стульчика и отсчитала портретисту пятьдесят рублей! Я стал присматриваться: да ведь они не только малюют, но и экспортируют свою продукцию – тут же, на цоколях зданий, на асфальте, развешены и расставлены портреты, жанровые картинки, пейзажи, гобелены, скульптурки, в одном, например, месте меня ужаснуло некое запечатленное членовредительство, это было человеческое существо с ногами, растущими из головы (?!), и вместо лица – промежность (?!), бог мой, чего только я там не увидел, в этом досрочно спешившемся Арбате, представляете, сидит здоровый дядька в нательной рубашке, с шапкой у ног, и наяривает под гармошку песни времен культа личности: «Сталин и Мао слушают нас!», и сбоку от него, в десяти шагах, некто лысый, наскипидаренный, захлебывается стихами против Сталина и против Мао, а за компанию против Хрущева, Брежнева, Андропова и Черненко, дескать, такие и рассказы, довели до ручки; да это просто разгул какой-то, а милиция прогуливается туда-сюда как ни в чем не бывало, и вот этот дядя с гармошкой-тулкой и лысый поэт, находясь в десятке шагов друг от друга, совершенно не слышат друг друга, и милиция на них ноль внимания, тоже ведь как не слышит! Вот тут у меня закрались первые подозрения: что-то неладное происходит, даже и не подозрения, а предчувствия подозрений, предощущение катастрофы... Словом, иду дальше. Скверик. Шашлычная. Личность смуглой нетрудовой внешности жарит под открытым небом баранину. Вот тут я почувствовал, что страшно голоден, с самого утра ведь крошки во рту не было. В кармане штанов, в потайном пистончике всегда у меня записка на черный день, десять рублей. «Дорогой, – говорю, – сделай мне парочку шампуров!» Он смотрит мимо, как не слышит. Показываю на пальцах: два шампура! Кивает проборм,

понял, мол. Ну, стою, жду. Рядом двое уже едят, и губы жирные хлебом вытирают и затем этот хлеб – в урну – бросят и новый кусок берут с бумажной тарелки; я говорю, что ж, вы, ребята, делаете, ведь это же хлеб; глядят на меня оловянными глазами, не понимают; «Как вы можете, свиньи, – кричу, – кто ж так делает?!» – никакой реакции: слопали свои порции, хлебом утерлись, кинули в урну и подались; тут этот деловой за рукав меня дергает, готово-де, я выковыриваю ему укромный червончик, подаю, он мне сдачи трояк протягивает, я засмеялся, что ж ты сдаешь, мужик, и показываю на пальцах: е щ е , а он опять смотрит куда-то сквозь меня без всякого выражения, тогда я его за белую куртку, встряхнул, гони сдачу, сволочь, на что он заморгал, замигал бараными глазенапами, усек что-то и ценником мне в нос тычет, а там, на ценнике этом, цена (вы сейчас упадете, Вероника): сто граммов – три рубля пятьдесят копеек, то есть получается, он мне, своему соотечественнику, продает наше государственное мясо по тридцать пять рублей за один кг (!), можете вы себе это представить (!), я не могу... Короче, съел я этот шашлык с таким чувством, будто заодно меня заставили съесть и бумажную тарелочку, с чувством, извините, использованного презерватива, и пошел восвояси, собственно, не сам пошел, понесла толпа, и неизвестно, куда бы вынесла, если бы не втокнула в подвальную лестницу, и я скатился вниз по ступенькам, уткнулся в двери – стеклянные, запертые; за стеклом, в интимном полумраке вижу каких-то людей за столиками, стойку с толстомордым барменом, а над ним – большой светящийся телеэкран с танцующими красотками (вы когда-нибудь бывали в таких заведениях? я не бывал и о существовании их не слышал), что за чертовщина, думаю, может, я з а б у г о р попал, но нет, на стекле надпись русскими буквами «Видеобар»; ладно, раз уж я тут оказался, поглядим, что это за штука такая, стучу: откройте, пожалуйста, результат – ноль на выходе, я сильнее, ногой попинал, глухо, тут вспыхивает свет, из-за столиков с ленточкой встают клиенты, сплошь супермены холеные, жвачку жующие, с почти такими же красотками, что скакали на экране в купальниках типа уздечки, двери, как в вагоне метро, раздвигаются... и вся

эта публика валит на свет Божий мимо меня, естественно; я, в нишу затолканный, пропускаю всех, пережидая, делаю попытку заговорить с одним: что, мол, за кинотеатрик такой, давно ль открылся, что показывают – он на миг жевать перестал, посмотрел на меня (знаете, так рыба из аквариума на человека смотрит: подплывает к стенке и смотрит на тебя немигающим взглядом), ничего не сказал – и рикошетом от меня на улицу. Пока я на него отвлекался, двери опять сомкнулись, снова я за ними очутился, как этот... гость нежеланный, стучу, маячу бармену, пусти же (!), заметил, змей, подошел к дверям, пальцем на надпись помельче указывает, я читаю и глазам не верю: «Вход 2 доллара 50 центов. Рубли не предлагать», и пошел я со своей трешкой как оплеванный, как пес побитый... Сон это был! сон отвратный! и нечему удивляться было, тем более, что вышел я уже не на Арбате, а на... Абельмановке, я ничего не путаю, Вероника, я понимаю, что такого не может быть, никакими материальными способами я не мог перенестись сюда в считанные секунды, но, поверьте на слово, именно это и произошло; здесь, на углу Андроньевской и Таганской улиц, стоял некогда монастырь, женский чтоли (точнее, то что от него осталось), и в этом монастырском комплексе размещалось Суворовское училище, в котором я учился в детстве, но это к делу не относится, военного из меня не вышло, комиссовали в свое время... так вот, представляете, никакого училища нет и в помине, а стоит массивный кирпичный дом с пилонами белыми и терракотом, на противоположном углу – другой, такой же этажности, и в нем – громадный комиссионный магазин, *комок*, и со всех столбов и афишных досок – опять это слово: видео, видео... *видеозал приглашает зрителей на сеансы*... столбиком проставлены часы сеансов и названия, одно хлеще другого: «Съеденный заживо», «Манхэттенские крысы», «Сексуальный маньяк», «Вампир с Каштановой улицы», вторым столбиком – расшифровка: боевик, ужасы, эротика и тому подобное, стрелка указывает, как пройти; иду по стрелке, минуя «Кулинарию» и «Диетическую столовую» и подхожу к «Зениту» (а неплохой был когда-то кинотеатр, бегали в него в самоволку, уютный, два-три фильма демонстрировались одновре-



менно), подошел вплотную, опять реклама видео, но фильмы уже другие, хотя и в том же духе: «Смерть на кончике иглы», «Совратительница малолетних», «Греческая смоковница»... наконец соображаю, что видеозалов в округе несколько, и точно, только в «Зените» их целых два, один официальный, вход из холла кинотеатра, другой, надо полагать, подпольный, вход с задворок, от парка, и парк почему-то не Ждановский, а Таганский, и я стою у парка, возле этого, нелегального, ну, значит, пойду в него, как раз часы показывают двенадцать тридцать, начало сеанса «Метагазы любви». Порядки тут оказались проще, демократичней, чем на Арбате, – на крыльце стоял малый лет двадцати пяти с непроницаемой миной, ему подавали рубль, он совал его в карман, взамен выдавал бумажный прямоугольник, на котором от руки было написано БИЛЕТ, и пропускал в предбанник, где его подручный отбирал БИЛЕТ и выпускал в обшарпанную комнатенку, уставленную разнокалиберными стульями и табуретками; я вошел тоже и выбрал место в центре, лицом к телевизору, подвешенному к потолку, и тотчас набежали юные зрители, подростки обоего пола, и на всех лицах было написано такое выражение, какое бывает у посвященных в нечто, не доступное всяким прочим, видно было также, что посвящение стоило им недешево (рубль для подростка сумма немалая), наверное, поэтому выражение посвященности подсвечивалось еще и восторженным априори от всего того, что им будут показывать. Я сбивчиво говорю, простите, мне хочется, чтобы вы поняли, что я хочу сказать: меня вдруг пронизала острая жалость к этим ребятам, по-детски предвкушающим волшебство; должно быть, эта паршивая комнатенка, этот дико орущий ящик с дергающимся изображением в их представлении были составной частью образа жизни, который они намечтали себе по зарубежным фильмам; между тем на экране уже дрались, стреляли, метали ножи, совокуплялись, не выпуская из зубов сигары или жевательной резинки, лилась кровь, лилось виски, стекала по ляжкам сперма, и все это сопровождалось гунявым, сифилитическим голосом синхронного переводчика, а мои соседи слева и справа заворуженно тарасились на экран, шевелили губами, и на их полудет-

ских еще, чистых лицах блуждали ужас, ликование, вожделение... Что за дела! Еще вчера я читал в «Вечерке» о суде над владельцами видеотехники, что показывали своим знакомым контрабандные фильмы типа «Брюс Ли», «Крестный отец», «Гнездо кукушки». Всем им грозило лишение свободы с конфискацией имущества, и я до глубины души возмущался ханжеством киноэкспертов, приписавших этим фильмам пропаганду насилия и порнографию. Это притом, что музыка из «Крестного отца» постоянно звучит в качестве заставки в передачах Центрального телевидения! А здесь мне стало нехорошо, я встал и выскочил вон, еще немного, и я запустил бы в телевизор стулом, на котором корчился битый час. Должно быть, я ничего не видел от бешенства, потому что не помню, как очутился на улице, и это была... Кировская! Я очутился возле Почтамта в толпе возбужденных мужчин и женщин; они давились, толкались и протискивались к стене здания, и те, что стояли у самой стены, вопили, чтобы задние не напирали. У меня рост метр восемьдесят четыре, и я разглядел л и с т о в к у, приклеенную к стене, и на ней чертежным шрифтом... нет, я не могу их произнести, эти слова, язык не поворачивается, Вероника!

– А вы не бойтесь, Борис Иванович, мой телефон не прослушивается, говорите...

– Как бы не так, наверняка прослушивается! Вся моя молодость прошла под знаком прослушивания. Этот страх – болезнь моего поколения, да и предыдущих поколений тоже!.. Всю жизнь мы приучали себя говорить уклончиво, обиняками и, если собирались больше трех человек, никогда не заговаривали о политике, потому что один из троих мог оказаться осведомителем, стукачом, наушником. И если двое встречались с глазу на глаз, то старались разговаривать подальше от телефонного аппарата, от электросчетчика и от радиорепродуктора. Всего лучше и откровенней мы разговаривали в ванной, под шум льющейся воды (опыт почерпнут из детективов), или когда врубали магнитофон с записью Пугачевой или Высоцкого. Вам никогда не приходило в голову, в чем секрет их бешеной популярности? Вот именно, в мощи их глоток. И когда из каждого дома, из каждой

форточкислетели «Кони привередливые» или неподражаемый «Арлекино», будьте уверены, в эти минуты владельцы магнитофонов вели весьма опасные разговоры...

– Но что же вы все-таки прочли на стене Почтамта?

– Там было написано... нет, не могу... Там было...

П о л и т б у р о к о т в е т у .

– И вас это напугало?

– Вы смеетесь, я слышу по голосу, а ведь за такие слова можно угодить в дурдом или на Лубянку!

– Так было в прошлом, Борис Иванович, так было в прошлом. Я пока не могу точно сказать, что с вами случилось, но несомненно одно: что-то произошло с вашей памятью. Такое впечатление, что из вашего сознания выпал порядочный кусок времени. Пожалуй, это можно квалифицировать как хроносоциальную амнезию.

– Я не понимаю, о чем вы. Я вообще ничего не понимаю! Где я, что делается вокруг меня, что это за площадь? И почему на ней нет ничего, кроме нагромождения телефонных будок?!

– А вы могли бы указать какие-нибудь ориентиры? Вы находитесь на площади, хорошо, но у всякой площади есть границы. Осмотритесь хорошенько, что вы видите справа от себя?

– Будки.

– А слева?

– Будки.

– А что позади вас?

– Будки, будки, будки!..

– Вероятно, это территория какого-то предприятия?

– Это территория для складирования телефонных будок! Простите, минуту, над аппаратом какая-то табличка, на ней... сейчас... сейчас я прочту, кажется, это адрес размещения таксофона...

– Вот видите! Все складывается как нельзя лучше. Сейчас вы прочтете адрес, и я объясню вам, где вы находитесь и как оттуда выбраться!

– *Запретная зона, строение номер... блок... Что это, Вероника?*

...Боже, как ходят, как трясутся руки!.. Стоит нечаянно задеть рычаг, и связь оборвется, запищит сигнал

разъединения, и я останусь один на один с моим умопомешательством... Б-бореньск, Б-боба, Б-бобчинский, хрипло лепечет трубка, и Полосухин вздрагивает: чей это голос? кто зовет его? отчего так знакомо это легкое заикание?.. Б-бобка, какое счастье, что я дозвонилась, твоя жена сто раз отвечала мне, что ты давно съехал, выписан из квартиры, из нашей комнаты с видом на Сетунские пруды, и вообще тебя нет в живых... М а м а ? Т ы ? Но это же невозможно! Ведь ты умерла?! – Полосухин сползает на пол, на корточки, насколько позволяют ему колени. Спина упирается в стенку из белого профильного металла. Футболка задралась, и обнажившейся поясницей он ощущает жесткую холодную поверхность будки. Ощущение неприятное, но оно возвращает его в реальность. Полосухин поднимается на ноги, ищет поразившую его табличку и не находит.

– Борис Иванович, куда вы пропали? Алло!

– Я здесь... простите.

– Кто-то сейчас подходил к вам? Мне показалось, что вы с кем-то переговаривались.

– Вам показалось. Как, впрочем, и мне. Вы не сочтите меня сумасшедшим, если я скажу, что таблички на таксофоне нет?

– Ну что вы, Борис Иванович. Нет так нет. Должно быть, когда-то, где-то она попадалась вам на глаза, и память зафиксировала ее. Расценивайте это как еще один сбой вашей памяти.

– Эта боль в висках, Вероника... Я не могу сосредоточиться, я не знаю, хватит ли у меня сил рассказывать, что было дальше!..

– Соберитесь смужеством, Борис Иванович. Вы должны помочь себе. Не спешите.

– ...Каким-то образом я заблудился. Я переходил улицу по подземному переходу... И вдруг понял: это не переход! Стены не облицованы, пол в цементной пыли, вдоль стен тянутся трубы, коленчато выгнутые над изредка попадающимися дверями (защитного цвета, без ручек, наглухо заперты), под сводчатым потолком тлели лампочки в проволочных корзинках... я шел, и эхо моих шагов шаркало мне по нервам, в одном месте туннель раздваивался – я шагнул назад вправо, а может,

влево, теперь не помню, да это и неважно, я вышел в подсобные помещения, забитые картонными ящиками, это были телевизоры в упаковке, затем возникла лестница и грузовой лифт, но я не рискнул войти в разверстную нишу лифта, да и при всем желании не поместился бы там, лифт был затарен все теми же телевизорами, я предпочел лестницу и тотчас (!) попал в объятия иностранцев, я догадался об этом по обилию шипящих звуков, а они стали совать мне деньги, советские и чужие, кажется, там были марки и доллары, и отчаянно жестикулировали, пытаюсь что-то внушить мне, пся крев, они приняли меня за рабочего магазина, и, уже вырвавшись от них и выпав на товарный двор, я увидел, как они грузят коробки с телевизорами в рефрижератор, а рослый милиционер стоит поодаль как изваяние, как монумент во славу незыблемости закона, и поляки, а может, вьетнамцы, да, те, что муравьились на товарном дворе, были скорее всего вьетнамцы, они подбегали к милиционеру и просовывали деньги в складчатое отделение его планшета, так избиратели суют бюллетени в урну, – совершалась чудовищная спекуляция на глазах и при участии представителя власти, планшет которого разбух от денег, и он стал подставлять оттопыренное голенище, и этим типам приходилось нагибаться к его сапогу, что выглядело со стороны благодарственными поклонами; но образ этот мелькнул в моей голове и пропал, потому что в следующую секунду я выбежал со двора и был вмят в металлическую изгородь напружившимися человеческими телами – это была очередь, плотная, глухо ропщущая, очередь за телевизорами; я не слышал себя, не слышал того, что кричал им, нет, не о том, чтобы меня выпустили, а о том, что с заднего двора их телевизоры вывозят иностранные спекулянты, что это делается с ведома милиции и администрации магазина, что они должны вмешаться, воспрепятствовать этому грабежу, и... меня не услышали, Вероника! Я хватал их за руки, тащил за изгородь – они лишь молча, озлобленно вырывались, и кто-то ударил меня в лицо, кто-то ткнул кулаком в живот, под вдох, так что я сложился как складной ножик, впервые я испытал на себе, что значит выражение *град ударов*; потом сознание милосердно выключилось... не

знаю уж, сколько времени длилось мое беспмятство, но, когда я пришел в себя, никого вокруг не было, и сам я валялся почему-то в газоне, и шел дождь, грязная злая пена вскипала вокруг меня, я промок до нитки, но это и помогло мне... нестерпимо болел затылок, рука, на локоть которой я оперся, не слушалась, и все же, преодолевая боль, я поднялся на ноги, ухватился за ствол какого-то деревца и сломал его, завалившись снова. Силы возвращались медленно, всего меня колотила дрожь, бронхи разрывались кашлем. Наконец мне удалось встать; низкая литая решетка отгораживала газон от оживленного проспекта или шоссе, и по нему буквально в метре от меня проносились автомобили – и никому из сидящих за рулем людей не было до меня решительно никакого дела! Я побрел куда-то через кусты. То, что тут открылось моим глазам, заставило позабыть о физической слабости. За серой пеленой дождя трое пьяных насильничали девчонку. На вид ей было не больше семнадцати. Во рту ее торчала тряпка, и она молча, отчаянно вертела головой – двое пытались распять ее на мокрой земле, третий на четвереньках срывал одежду; на девчонке были джинсы в обтяжку (того фасона, которые надевают лежа, намалив икры), к тому же она брыкалась, и насильнику приходилось уворачиваться от ее пинков, впрочем, пуговицу он успел уже расстегнуть или сломать и теперь рвал молнию. Я ударил его ногой в пах – изо всех сил, откуда только они взяли; утробно екнув, он кувыркнулся на тех двоих, выпустивших от неожиданности руки жертвы. Тотчас девчонка ужом выскользнула из свалки, вскочила и бросилась наутек – легко и грациозно, как олененок. Я побежал следом. Насильники молча гнались за нами... И все это среди бела дня! И вот мы бежим, и я кричу, задыхаясь от бега: «Люди! Помогите!!!», но встречные и поперечные закрываются от нас зонтами; вдруг девчонка резко остановилась, так что я чуть не сбил ее с ног, схватила за руку и втащила во двор, на наше счастье оказавшийся проходным, и мы выбежали на другую улицу, влились в людской поток и растворились в нем. Вскоре нас разделили – я тянул шею, привставал на носки, но не находил ее среди моря голов, зато обнаружил другое: это шли отнюдь не праздные люди, по воле случая на-

правлявшиеся в одну сторону, это была колонна, колонна демонстрантов, и некоторые из них несли на палках портреты и флаги с черной каймой... Я стал всматриваться, что демонстранты несут иконы – Богоматери и Христа. Иные из идущих крестились на купола храмов. Кто они? И куда направлялись? Их нерусские лица были знакомо, по-русски скорбными. Безуспешно я пробовал заговорить с ними – эти люди меня не слышали. Я успел рассмотреть еще транспаранты. Надписи были сделаны на двух языках: на русском (с ошибками, с пропусками букв) и на каком-то еще крючковатом, то ли грузинском, то ли армянском. Русские надписи взывали к христианскому милосердию, умоляли защитить от геноцида(!); и тут девочка снова нашла меня и выдернула из толпы к искреннему моему сожалению, потому что мне хотелось разобраться: что это за манифестация? Мы перешли на параллельную улицу и тотчас натолкнулись на другое, подобное же шествие. Здесь не было ни икон, ни хоругвей, но были черные флаги с полумесяцем и звездой, была арабская вязь на белых полотнищах и по-русски тоже с ошибками; призывы обуздать армянский национализм; я перестал понимать что-либо... Девчонка моя была уже в полном порядке, опять тащила меня куда-то, вертелась и забежала вперед, как веселая собачонка, и я послушно влачился за ней по неведомым переулкам, а она, оказываясь, вела меня на свою тусовку, в подвал, в молодежный клуб... Я никогда прежде не бывал на дискотеке и плохо представлял себе, что это такое; разумеется, я знал, что это место, где сходятся меломаны, где диск-жокей рассказывает о том или ином музыкальном произведении, но мне и в голову не приходило, что это за вертеп; хиппи, панки, рокеры, металлисты, кого только там не было; обкуренные, отравленные дешевым вином, полуодетые и одетые черт-те как, парни и девушки бесновались под оглушительную цветомузыку, хотя музыкой назвать этот чудовищный грохот можно только условно, в первом приближении, – ударник лупил во все свои колотушки, какой-то бритоголовый скакал с клавишной доской, похожей на черно-белый гребень, другой бритоголовый, у микрофона, драл глотку так, что я подумал, как бы его

не вырвало, двое длинноволосых хлестали сбитыми в кровь костяшками по струнам электрогитар какой-то очень уж вычурной формы, а нормальным инструментом была тут виолончель, правда, тоже опутанная проводами, но тот, который гнулся и выламывался над нею, упорно старался перепилить ей грифи, сдается, был близок к успеху. Нас тотчас окружили. По мимике и жестам окружившихся догадался, что приятели моей спутницы не в восторге от моей персоны, еще меньше восторга они проявили, когда потребовали у меня денег (известным потиранием большого и указательного пальцев); а я, вывернув карманы, извлек на свет последние два рубля, все же за стойкой мне пододвинули чей-то недопитый стакан, как-никак это я вызволил их девочку от насильников. Не могу сказать, что я совсем не делал попытки объясниться *при помощи слов*, я пытался, но, к кому бы ни обращался, все непонимающе мотали головами и уносились прочь в середину круга, в давку и толчею. Со стороны танцы их выглядели примерно так: дикие конвульсии, непристойные телодвижения, хлопки над головой и душераздирающий ор. Потом началась драка, и я стал протискиваться на выход, надо было сматываться, пока цел, и попал в загаженный, с забитыми стоками туалет (из раковин выливалась вода), спугнул парочку, стоя занимавшуюся любовью, перешагнул через ноги сидевших на полу хиппи, снулых, отрешенных от всего на свете, наглотававшихся или нанюхавшихся отравы... Я толкнулся в какую-то дверь и еще раз, с порога, оглянулся на них: по лицу одного замурзанного подростка ползла белая древесная гусеница, должно быть, он был уже мертв... Я взлетел по лестнице, ведущей наружу, и здесь что-то снова стряслось со мной, в общем, я очутился на берегу, на песчаной отмели, побитой дождем, как оспой; когда я наконец нашел в себе силы поднять глаза, то прямо перед собой увидел Москву-реку, за нею – панельный жилой массив, а позади простиралась свалка или, как принято в коммунах, полигон, то есть горы промышленных (6 млн. тонн в год) и бытовых (2,5 млн.) отходов, миллионы отслуживших свое вещей и предметов... Все это показалось мне, Вероника, ничем иным, как внезапно материализовавшимся звуковым мусором, из гущи которого я толь-



ко что вырвался. Да так оно и есть, вероятно... Потом кто-то меня окликнул. По имени. В первое мгновение я испугался, выглянул из-за плеча и, вы не поверите, увидел самого себя! Кроме плавок, на мне ничего не было. «Ты что, оглох?» – спросил я (в плавках) себя (одетого), в несколько прыжков спускаясь с террикона мусора. «Здравствуйте», – пробормотал я. – «Здорово, Полосухин, – кивнул и он. – Как ты мне надоел. У тебя случайно нет при себе бритвы?» – «Какой бритвы?! Зачем?» – «Видишь ли, – сказал он (я), – сегодня мне предстоит одно интересное дельце. Поэтому надо привести себя в надлежащий вид. А я небритый. Электрическая-то у нас есть, но здесь не к чему подключаться. Вот я и спросил, не обзавелся ли ты случайно станочком или опасной». – «Нету у меня никакой бритвы, – сказал я, – у меня вообще ничего нет». – «Жалко, опять придется тащиться на Три Вокзала». – «А почему бы вам не побриться в парикмахерской?» – «Ну, во-первых, – сказал он, – давай на "ты". Как-то странно, когда себе говорят: "вы". А во-вторых.. ты что, с Луны свалился? Уже второй год, как в парикмахерских перестали брить. Указ Минздрава. Случайный порез, и можно подцепить СПИД». – «Не может быть!» – воскликнул я. О СПИДе я кое-что слышал. В нашей институтской многотиражке была однажды заметка – перевод из штатовского журнала. Автор указывал на совпадение названия этой болезни с адом (по английской аббревиатуре АИДС) и называл ее карой Господней за прегрешения человечества. Заметку поместили как курьез в разделе сатиры и юмора. Я рассказал ему об этой заметке. Он сказал, что тоже читал ее в свое время, поскольку он – это я сам и есть, но с той поры столько утекло воды, что я безнадежно отстал от жизни. «Ты хоть знаешь, что в стране перестройка?» – спросил он. «Так, немного наслышан», – ответил я, на что он усмехнулся и махнул рукой, мол, *такого невежества он от себя не ожидал.* «В стране перестройка, – продолжал он менторским тоном, – весь уклад жизни перевернулся вверх тормашками, мы живем в мире абсурда, впрочем, мы и раньше жили в мире абсурда, но не понимали этого, а теперь мы живем в мире осознанного абсурда. Понимаешь ли, семьдесят лет мы находились в сомнамбуличе-

ском состоянии, под гипотетической установкой, и вдруг очнулись, отверзли глаза и увидели, что стоим на краю пропасти! Мы, конечно же, заорали от ужаса и таким образом обрели речь. Это новое упоительное ощущение мы назвали гласностью. И вот, значит, мы заговорили, причем все разом, перекрикивая, перебивая друг друга, и оказалось, что каждому есть что сказать! И теперь мы только то и делаем, что говорим, говорим, говорим, постепенно позабывая о других функциях нашего организма. *На сегодняшний день* мы представляем собою один большой орган воспроизведения звуков речи. Все остальное, кажется, атрофировалось...» – «А... как ты, то есть я, оказался на этой свалке?» – спросил я в полной сумятице от услышанного. «Отвечу, – кивнул он с готовностью, – но сперва пройдем ко мне, мы тут неплохо устроились!» И я не без опаски проследовал за ним в лабиринт свалки. «Я, или, если хочешь, ты, – сказал он, – бомж, человек без определенного места жительства. Применительно к нам с тобой термин не очень точен, свалка – место все-таки довольно определенное, имеет конкретный адрес». – «Но я жил на Вяземской, в 95-м квартале!» – «Увы, – сказал он, – нас оттуда вытряхнули, Бобочка, ко всем чертям». И тут, Вероника, он рассказал историю, от которой мне стало не по себе. В НИИ угольной промышленности я был на хорошем счету – как специалист и коммуникабельный человек, так что на очередном отчетно-выборном собрании меня избрали заместителем предместкома, а поскольку я человек еще и добросовестный, то взялся за общественную работу с энтузиазмом. Чем я там только не занимался! Всякого рода публичные мероприятия, собрания, субботники или воскресники, выезды за город и культпоходы – все это было так себе, тьфу, семечки. Но когда дело коснулось путевок, распределения материальной помощи и поощрений, а тут еще ввели аттестации на профпригодность, я, по его словам, ужаснулся: взаимоотношения сотрудников представляли собой один бешено закрученный клубок интриг! В моем родимом отделе, состоявшем из восемнадцати человек, насчитывалось двадцать шесть группировок! А группировки межцеховые, союзы тайные и явные, объединения по всевозмож-

ным признакам вплоть до хобби! Кошмар, не хочу вдаваться в подробности, потому что, уверен, и в вашем ведомстве дело обстоит точно так же; словом, десятки, сотни фактов вопиющего произвола, келейных сговоров и неутоленных амбиций, и все это свалилось на меня одного – председатель месткома, дама, супруга секретаря райкома, находилась в перманентном лечебном отпуске. А у меня по статусу инженера за спиной не было ничего, никакой мало-мальской административной власти. Единственной моей опорой был здравый смысл. Короче, я мгновенно нажил врагов, всем угодить еще никому не удавалось, не удалось и мне... И все это роковым образом совпало с бедой в моем собственном доме: моя жена завела любовника. Вы спросите, откуда он взялся? Отвечу: да ниоткуда! Ее сослуживец и даже школьный товарищ, у нас ведь с ней двенадцать лет разницы, довольно-таки обходительный молодой человек, друг, так сказать, семьи. Досуг чаще всего они проводили вместе, и поначалу я ничего не замечал и был даже, знаете, благодарен ему за то, что любезно скрашивает ее одиночество и оказывает разные мелкие услуги по дому; я-то приходил поздно, разбитый физически и морально. Да, чуть было не упустил: как раз в это время институт авральным порядком заканчивал работу над УЖом, жидкостным углем (шла доводка главного термокомпонента, лаборатория чадила день и ночь, как дюжина тепловых электростанций, все валились с ног, чтобы закрыть тему истекшим годом). Не скрою, мои коммунальные соседи делали какие-то знаки, заводили деликатные разговоры, но я как-то не придавал им значения, да и устал я, знаете, от всяких этих нашептываний, намеков и недомолвок. Вскоре в нашей комнате стали появляться вещи, которых я не покупал и которые жена не могла купить, потому что жили на мои сто восемьдесят и ее сто десять, а у нее была престарелая мать в Ногинске (с мизерной пенсией, больная), и практически ее зарплата уходила в Ногинск. В общем, мы едва сводили концы с концами. А тут богатый и щедрый друг (его отец, кстати, член коллегии нашего министерства, известный академик), и у друга куча свободного времени, и молодость, и общность возрастных и прочих интересов... Общество его стало мне неприятно,

особенно в редкие выходные дни, и однажды я недвусмысленно сказал ему об этом. Скандал после его ухода был первым в череде скандалов, быстро ставших в нашей семье привычными... Это длинный рассказ, Вероника, я не хочу отягощать вас подробностями, их легко дообообразить... В наши дни, в отличие от толстовских, все несчастливые семьи несчастны одинаково: нищета, теснота, бескультурие. Спустя какое-то время я застал их в постели; не помню, почему в тот день я вернулся раньше обычного, наверное, не состоялось какое-нибудь заседание. Представьте мое положение! По классической схеме я должен был бы стреляться с ним, а ее послать в монастырь. Но что мог я, среднестатистический гражданин, воспитанный на страхе перед законом и не лишенный, в общем-то, интеллигентности? Убить ее? его? себя?.. Правильно, я хлопнул дверью, затем пришел к приятелю и выдул у него на кухне целую бутылку водки: пил как воду. Ушел от него на рассвете и целое утро бродил по пустынным улицам, раздавленный, униженный и оскорбленный. На службу пришел задолго до рабочего дня, постирал в туалете носки, высушил под сушилкой для рук, вымыл голову... Так я жил в подвешенном состоянии несколько дней, ночуя то у друзей, то, если не засекут вахтеры, в кабинете главного инженера. Наконец моя жена позвонила мне и предложила встретиться. Встретились на Страстном бульваре, в романтической беседке, в которой незадолго до нас нагадила чья-то собака (возможно, и человек), и я весьма символично вляпался в эту кучу. Жена заявила, что виноватой ни в какой измене себя не ничуть не считает, что виноват в случившемся, разумеется, я, она же всего лишь жертва нашей беспросветной нужды и ее молодого сексуального голода. Счастливый соперник пасся неподалеку в кустах. Я спросил у нее, что дальше. Она помахала ручкой, и наш любовник приблизился с потупленной головой. Я прошу ее руки, произнес он без тени юмора. («Как?! – воскликнул я в этом месте рассказа. – Как можно просить у мужа руки его жены?!» – «Я же тебе сказал: мы живем в мире абсурда!» – усмехнулось мое второе «я»). Затем я был поставлен в известность, что они ждут ребенка. Я тотчас спросил, кого они считают счастливым отцом.

Они познакомили меня с графиком интимной жизни последнего времени: отведенная мне графа, как ни при-  
скорбно, в момент вероятного зачатия была пуста... (что и по моей прикидке соответствовало действительности). Тогда я спросил, как смотрит на все это член кол-  
легии нашего министерства. Известный академик смотре-  
л крайне неодобрительно и даже выставил недоросля за порог. Я заметил, что академик – порядочный чело-  
век. Они, однако, были настроены оптимистично: нику-  
да папаша не денется и, конечно же, переменит свое отношение, как только ему дадут поддержать младенца, –  
таковы все прародители, без исключения. Значит, ска-  
зал я, вам надо где-то перекантоваться до появления ака-  
демического внучонка? Правильно, сказали они, и кантоваться они намерены в моей комнате. Но  
позвольте, опешил я, а почему бы вам не снять квартиру? Они объяснили мне, как несмышленишу, что, выставив сына вон, академик лишил его прежнего содержания, и теперь даже угол снять им не по карману. Извините, возразил я, моя комната принадлежит мне на законных основаниях, я ответственный квартиросъемщик! Неужели вы такой бесчувственный, сказал он, что выгоните на улицу беременную женщину? Но ведь я ее не гоню?! Допустим, сказала она, но я сама не могу находиться под одной крышей с чужим мужчиной! Что скажут соседи? С каким чужим, если мы не разведены?! А вы поторопитесь с разводом, сказал он, если не хотите всю жизнь платить алименты на моего ребенка! Послушайте, взмолился я, вы что уж, совсем меня за дурачка держите?! А ты и есть дурачок, сказала она, ох, говорила мне мама: доча, что ты нашла в этом Бобике, ведь он юродивый, полудурок; в общем, так, Полосухин, немедленно выметайся, совместное проживание кончится для тебя вполне предска-  
зуемыми последствиями. Первое, что предскажу, – привод в милицию, второе – телега в НИИ, искусственный уголь там (она имела в виду «ужа») будут доводить без твоего участия, это я тебе обещаю... И знаете, Вероника, я ей поверил!.. Буквально на днях в местком разбирали аналогичную ситуацию: жена провоцировала мужа на дебош до тех пор, пока он не сорвался, сейчас же

вмешалась милиция, и в результате бедолага оказался далеко от Москвы. Мужчина в нашей стране бесправен, так называемое общественное мнение всегда на стороне женщины, какой бы дрянью ни оказалась. Старший техник Мурашко, у которого жена была хронической алкоголичкой, получил три инфаркта, прежде чем смог отсудить у нее малолетнюю дочь. Теперь он на инвалидности по первой группе, а дочь, естественно, возвращена матери... В общем, вечером я встретился с одним приятелем. Выслушав мою историю, он посоветовал плюнуть на самолюбие, на жалкую мою историю и уносить ноги пододру-поздорову. Приятель уезжал в загранкомандировку на целый год и оставил меня сторожить квартиру. Квартплату он внес вперед, от меня требовалось только платить по счетчику за электричество. Пожалуй, это были лучшие месяцы в моей жизни. Никогда прежде не жил я в отдельной квартире, никогда не имел своей ванны и персонального туалета. Кроме того, квартира была обставлена как положено, и я чувствовал себя в высшей степени комфортабельно. Через месяц состоялся развод, я стал свободен, как птица, и с головой ушел в общественную и, разумеется, личную жизнь. По непосредственной моей работе я получил повышение, за успехи над нашим «ужом», стал получать двести двадцать. И чего греха таить, до женитьбы не было у меня столько счастливых романов, как в тот благословенный год... И вдруг получаю повестку в Кунцевский народный суд. Моя жена, носившая теперь академическую фамилию, подала иск на лишение жилой площади. Действительно, в гражданском кодексе существует статья, кажется, 36, по которой лицо, не проживающее на данной площади в течение полугода, а также не вносящее за нее квартплату, лишается на нее всяких прав и подлежит выписке. Я не явился в суд раз, другой, третий, а в четвертый за мной пришел милиционер. Я был возмущен сверх всякой меры, нагрубил судье, произвел хулиганские действия в отношении истицы и ее свидетелей и из кабинета судьи был препровожден в изолятор временного содержания (ИВС). На другой день мы – я и еще несколько осужденных по указу замелкое хулиганство – убрали территорию туббольницы в Сокольниках, и мне удалось сбежать, нет, ненадол-

го, только чтобы появиться на работе и оформить отпуск без сохранения содержания. Вскоре же состоялся и суд, на который меня доставили под конвоем. Естественно, суд встал на защиту молодой семьи (к этому времени моя бывшая жена родила прехорошенького внучонка для академика, каковой, однако, не переменял гнев на милость и с отвращением отказался подержать на руках младенца), а я был стреском выпян из моей коммуналки как утративший на нее права и вообще уголовный тип. Еще какое-то время я жил в приятелевой квартире, затем он благополучно вернулся в Союз, и я стал скитаться в буквальном смысле. Сколько-то я прожил на его даче, до холодов, потом снимал углы у случайных людей, изредка ночевал у женщин, с которыми еще недавно был близок. Но, понимаете, какая вещь: человек без жилья, если он не бич по призванию, теряет уверенность в себе (то, что аристы цирка называют кураж), ну вот, а женщины безошибочно это чувствуют и теряют, в свою очередь, интерес к неуверенному в себе человеку. Я же ко всем моим несчастьям катастрофически терял и товарный вид, обносился, оброс, подолгу бывал без горячей ванны и без горячей пищи, все чаще приходилось спать в верхней одежде. И могу еще добавить: неприкаянность бытовая порождает внутреннюю неприкаянность, ты ощущаешь себя человеком низшего сорта; казалось бы, чего проще, пойди в баню, приведи себя в божеский вид, можно украдкой простирнуть белье, но... Но очень многое становится недоступным, когда ты бомж. Внешне вроде бы никаких запретов для тебя нет, но переступить через самого себя, чтобы оказаться в обществе нормальных людей, ты уже не можешь, ты уже сам ощущаешь себя недочеловеком, неполноценным, и потом – постоянная боязнь возможного разоблачения. В бане, казалось бы, существуют все условия для идеального равенства людей, поскольку соблюдается главный постулат равенства – все люди голые, но вот поди ж ты, попробуй переломи страх публичного раздевания. Ведь, вслушайтесь, раздевание и разоблачение суть синонимы. А голый человек, Вероника, еще и самый незащищенный... Ну да ладно, я по-прежнему ходил на работу, даже внес рауху в технологию сжижения нашего изделия, по-прежнему вы-

кладывался в месткоме, то есть судил и рядил, распределял премии и жилье, хлопотал об остронуждающихся, а вечером пробирался на облюбованный заранее чердак на ночлег. Впрочем, приходилось ночевать и в подвалах, но это в холода, а вообще-то в подвалах хоть и тепло, но жить намного хуже, чем на чердаках. В подвале, как правило, сыро, в подвале крысы, а еще, не дай Бог, где-нибудь прорвет канализацию, ну тогда вообще полный аут. Со временем у меня появились знакомства в среде таких же бездомных. Но я старался держаться от них подальше, это были совсем уж опустившиеся, деградирующие личности. Кроме того, они вероломны и нечисты на руку – этот невидимый подпольный мир живет по волчьим законам, слабые погибают. Одно время я сошелся с одной женщиной, убежавшей из дома от садиста-мужа, у нас возникло что-то вроде семьи, семейного очага. Нам тогда неслыханно повезло, нашли отличную комнату в доме на снос, не было только газа, а все остальное было, дом по недосмотру властей не отключили от бойлерной и электросети. Ну вот, мы замечательно обставились за счет брошенной мебели, навели уют... А в один прекрасный день моя сожительница исчезла, а вместе с нею – мое пальто и кошелек с зарплатой. Я держался на плаву только потому, что не пил, хотя возможности подворачивались сплошь и рядом, а другие пили, и гибли, и чаще всего по пьянке. В общем, драма Максима Горького «На дне и глубже», как выразился один мой собеседник-бомж. Помню, мне надо было срочно написать доклад выступления на районной профконференции, и я привлек его для уточнения кое-каких цитат, он обладал исключительными познаниями в марксизме. Если память не изменяет, дело было в пивной на Беловежской улице. Мы прервались, чтобы принять участие в складчине на бутылку водки – мой гонорар консультанту, – и на середину зала вышел бывший машинист сцены по прозвищу Нормалек с чтением стихов о советском паспорте; слушатели приветствовали его одобрительными выкриками и рукоплесканиями; вот тогда-то бродяга-марксист и произнес эту фразу насчет драмы Максима Горького. Но – вернемся на свалку. Он, то есть я, подвел меня к остову автобуса. Я вошел в убогое его жилище,



знакомое до последней мелочи. Пригодная для сна кровать, дюралевый стол, пара венских стульев. На веревке на самодельных плечиках висели пиджак и сорочка, на прищепках – сложенные по стрелкам брюки. На веревке же сохли носовой платочек и пара носков. Сам он был обут в домашние шлепанцы – туфли, надраенные до блеска, стояли на столе, на газетке. «Понимаешь, я, или ты, все равно, мы пользуемся электробритвой, а тут некуда подключаться. Приходится бриться в платных туалетах, где есть розетка. Последний раз я брился на проезде Сапунова...» Слушая его, Вероника, я все больше склонялся к мысли, что передо мной сумасшедший. Где, в каком мире пребывает его сумеречное сознание? Какие платные туалеты? Я был еще подростком, когда в Москве отменили плату за пользование общественными уборными. Это же противоречит здравому смыслу: платить за то, что... А если у человека на беду нет денег? Что же, прикажете справлять нужду за углом, в подъезде или прямо на улице?.. Он только рассмеялся: «Я же сказал, что мы живем в мире абсурда! Уже два года как кооператоры (!) взяли на откуп у государства общественные туалеты. Плата 10 или 15 копеек, в зависимости от алчности кооператора. Но зато они выдают туалетную бумагу и разрешают бриться электробритвой». – «Но это чудовищно! – сказал я. – Земля, а следовательно, и находящаяся в ней канализация принадлежит всем!» Он вздохнул безнадежно, дескать, не он, а я пребываю в сумеречном состоянии, что, в сущности, одно и то же. «Жрать хочешь? – он вытащил из-под стола мой выдавший виды портфель, достал из него батон, плавленый сырок и воду в бутылке из-под шампанского. – Ешь! Видок у тебя такой, что... Только не вздумай отнять у меня костюм. Это бессмысленно, ведь мы одно и то же лицо. И, кроме того, сегодня я должен выглядеть благопристойно, иначе меня вышвырнут с Советской площади». – «А что ты там потерял?» – спросил я его с набитым ртом (я навалился на еду без церемоний). – «Сегодня я объявляю публичную голодовку в поле зрения Моссовета. Будут иностранные корреспонденты, так что надо соответствовать: не хочу компрометировать державу затрапезным видом». Я поперхнулся: «Что такое?! Какая голодовка?! Какие кор-

респонденты?!» – «Видишь ли, я не досказал тебе нашу историю. Как известно, все тайное рано или поздно становится явным, так вышло и у нас с тобой. Отдел кадров прознал про то, что я лишился прописки. И в соответствии с существующим положением меня немедленно уволили – к величайшей радости всех обиженных и обойденных щедротами местного комитета. Руководство института развело руками: восстанавливайте прописку, тогда что-нибудь для вас сделаем. В итоге – четвертый год восстанавливаю прописку. Куда только не обращался, кому только не писал! – он вытащил из портфеля толстенную папку документов. – Никто меня не услышал! Как будто я кричал через звуконепроницаемое стекло!.. Сегодня начинаю голодовку у памятника Юрию Долгорукому. Под копытами его коня. Буду бороться за конституционное право на жительство в любой точке нашего государства». Что вы на это скажете, Вероника? Алло!

– Алло, я слушаю вас, Борис Иванович. Вы больны, это несомненно, и нуждаетесь в экстренной медико-психологической помощи. Сейчас меня интересует, как вы расстались, вы – этот, мой абонент, и вы – тот, со свалки?

– На удивленье просто. Он сказал, что может действовать только тогда, когда у меня провал в памяти, в общем, когда я впадаю в транс, и стоило мне отвернуться, как он, уверен, трахнул меня чем-то по голове, может быть, бутылкой, во всяком случае, я очнулся на этой площади с сильнейшей головной болью... Как объяснить это физическое раздвоение моей личности, ведь не мог же я сам себя оглушить? А может быть, я не существую, может быть, я фантом? Тогда это очень страшно... И еще одно сбивающее с толку обстоятельство: если бы я был призрак, галлюцинация, я бы не отражался в стеклянных дверцах этих телефонных будок! А я отражаюсь, притом очень странно! Мои отражения не исчезают, когда я оказываюсь под другим углом, а остаются на стекле вне зависимости от меня, как живое фото! Может быть, существует некий зеркальный мир, отраженный от нашего не по оптическим законам, а как-то иначе?.. Один современный автор (не помню уж его имени, помню только название рассказа – «Сон у моря»), так вот, он сделал попытку объяснить существование некоего параллель-

ного трансцендентного мира с материалистических, логических позиций. Главный герой живет, проживает определенный отрезок времени – до какой-то точки. И там, где по логике развития должен сделать очень важный, судьбинный шаг, замирает с поднятой для этого шага ногой (фигурально, конечно), от него отделяется его трехмерная голограмма, другими словами, появляется его реальный двойник, и уже двойник делает за него этот шаг. А герой идет в ином направлении. И так много раз, до полной нравственной деградации героя!.. После этого рассказа я сам стал подмечать двойников, и, знаете, Вероника, их оказалось гораздо больше, чем принято думать! Есть двойники классические, с повторяющейся внешностью, но чаще попадаются двойники, старательно, хотя, может быть, и неосознанно, маскирующие свое сходство. Их выдают голоса: голос изменить невозможно... Поймите; зачем я вам все это говорю? Потерял нить...

– Алло?

– Да, я слушаю! Вам кого?

– Вас, Борис Иванович, вас, продолжайте, пожалуйста-ста!

– О чем?

– О чем хотите!

– А вы кто, собственно?

– Я Вероника, ваш друг!

– Так это с вами я только что разговаривал?

– Со мной, Борис Иванович!

– Вы – Вероника?

– Да, да, да!

– Боже мой, какое это счастье – произносить слова и чтобы тебя слышали... Вероника, я вспомнил, ради чего звоню!!! Вероника: люди обрели дар речи, но утратили дар слуха! Я перебрал в памяти все мои контакты с людьми в этот бесконечный день и сделал страшное открытие, Вероника: никто никого не слышит. Отбросим проходные встречи, Бог с ними, но – девочка, которой я помог вырваться из лап насильников! Она даже не сделала попытки заговорить со мной, понимаете? Она была уверена, что я ее не услышу! А отчего так невыносима для нормального слуха рок-музыка на дискотеках?

Ведь что они хотят сказать обществу, эти молодые люди с гитарами и тамтамами: они кричат о своем беспорядке, о своей нищете, о том, что из всех реальностей бытия для них всего реальнее игла (!) и колесо (!), о том, что общество обмануло их мифом о светлом будущем, – вы только вслушайтесь в тексты их самодельных неуклюжих песен! Они кричат и не могут ни до кого докричаться, потому что общество поражено тотальной потерей слуха! И тогда они подключают к гитарам ревербераторы и усилители... Между тем есть пределы допустимой громкости; на Западе рабочим доплачивают за производственные шумы, превышающие девяносто децибелов на восемь часов воздействия. А при интенсивности звука в сто и более децибелов в час в человеческом организме начинаются необратимые патологические изменения! В подвале молодежного клуба даже на слух, без шумомера, звук переваливал за сто двадцать! Замкнутый круг: чем громче они кричат о своих бедах, тем скорей разрушают себя! Надо что-то предпринимать, Вероника, немедленно!

– Что вы сказали, Борис Иванович, повторите, пожалуйста!

– Я долго ломал голову над этим феноменом всеобщего паралича слуха. Какое-то чудовищное осложнение после гриппа? Если так, то, может быть, есть надежда на излечение? Но мне кажется, причина глухоты в другом: это последствия массового применения жидкостного угла, «ужа», разработанного в нашем НИИ! При сгорании он выделяет ядовитые вещества, которые избирательно действуют на барабанные перепонки! Наверное, произошел выброс или серия выбросов в атмосферу на теплоцентралях города. Что вы на это скажете, Вероника, как медик?

– Алло! Говорите громче!

– Вероника! Вы слышите меня?

– Алло, алло, алло!

– Я так и знал, что вы бросите трубку, Вероника...

– Борис Иванович, Борис, Боба!!!

...Где же вы, мои ангелы, где вы, мои наручники, смирительные рубашки, шприцы и ампулы?.. Везите меня в Сербского, в Семашко, в Кащенко, обрешите мне

голову, заприте в камеру с каучуковыми обоями, я все приму, я буду знать тогда, где я и что со мной!..

. . . – Полосуухин! Б-бобчинский? я иду к тебе – слышит радостно Полосухин знакомый хрипловатый голос. В следующее мгновение горячий вихрь подхватывает его, возносит над площадью, над крышами и над антеннами, и Полосухин в последнем усилии облегченно выталкивает из себя мишуру образов и понятий, сворачивается комочком, чтобы стать затем еще меньше, и наконец превращается в светящуюся точку на небосводе.

БОГДАНОВ Евгений Николаевич родился в 1940 году в рабочем поселке Варгаши Курганской области. Детство и юность прошли в Зауралье; там же в 1957 г. на машиностроительном заводе началась и его трудовая деятельность. В 1966 году окончил Литературный институт им. Горького и несколько лет работал в качестве специального корреспондента газет и журналов. Член СП СССР, автор сборников рассказов «Расписание тревог», «Песочные часы с боем» и др. Живет в Москве.





Твоя игрушка, твой каприз –  
Пустая чехарда:  
То вверх, то вниз,  
То вверх, то вниз,  
То не поймешь куда...

*1989*

**ПАНЧЕНКО Николай Васильевич** родился в 1924 году в Калуге. Участник Второй мировой войны. В 1963 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького в Москве. Автор нескольких книг стихов. Живет в Москве.



## МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

### *Застолье в двух картинах*

Из сценического триптиха «Женщина и некто»

#### Картина первая

Двухсветный зал. На переднем плане выгорожен макет Северной избы со стендами в самой глубине. Справа, около прялки, у входа сидит Вера в национальном костюме. Она настолько неподвижна, что поначалу кажется манекеном. Выходит Олег, оглядывается.

ОЛЕГ. О чем задумались, девушка?

ВЕРА (*вздрагивая*). А!.. Извините... Сомлела.

ОЛЕГ. С чего бы это?

ВЕРА. А вот так целый день сидишь, сидишь и сомлеешь.

ОЛЕГ. А зачем столько сидеть?

ВЕРА. У меня работа такая.

ОЛЕГ. Работа?

ВЕРА. Ну да, я тут экспонатом работаю.

ОЛЕГ. Я бы поработал.

ВЕРА. А вы сами откуда?

ОЛЕГ. Я здешний.

ВЕРА. Здешних не берут.

ОЛЕГ. Дискриминация.

ВЕРА. Чего?

ОЛЕГ. Неуважение, значит.

ВЕРА. Не потому совсем.

ОЛЕГ. Чем же здешние не угодили?

ВЕРА. А вас много.

ОЛЕГ. А вас?

ВЕРА. Ученые считают, одно село на всю страну.

ОЛЕГ. Ну уж и одно.

ВЕРА. Точно одно, в науке подсчитано.

ОЛЕГ. Среди высоких хлебов что ли затерялся?

ВЕРА. А вы откуда знаете?  
ОЛЕГ. Догадываюсь.  
ВЕРА. Нас мало.  
ОЛЕГ. Но мы в тельняшках.  
ВЕРА. Вы шутите, а ученые говорят...  
ОЛЕГ. Что ученые говорят?  
ВЕРА. Что Ижма одна на весь свет.  
ОЛЕГ. Не слышал.  
ВЕРА. В книжках пишут, а вы не слышали.  
ОЛЕГ. Я книжек не читаю.  
ВЕРА. Чудно.  
ОЛЕГ. Я их пишу.  
ВЕРА (*восхищенно*). Так вы писатель?  
ОЛЕГ. Почти.  
ВЕРА. Не пойму.  
ОЛЕГ. Я их пишу, а их не печатают.  
ВЕРА. Без разницы — главное, что пишете.  
ОЛЕГ. Хм, хорошая мысль, запомню.  
ВЕРА. Мне не жалко.  
ОЛЕГ. У вас все в Имже такие?  
ВЕРА. Не Имжа, а Ижма.  
ОЛЕГ. Прошу извинить.  
ВЕРА. Чего уж!  
ОЛЕГ. А далеко это — Ижма?  
ВЕРА. На Ижме. Река такая.  
ОЛЕГ. Не слышал.  
ВЕРА. В Печорском краю.  
ОЛЕГ. Далеко.  
ВЕРА. Не дальше земли.  
ОЛЕГ. Да вы поэт, девушка!  
ВЕРА. Какая есть.  
ОЛЕГ. И много таких в Ижме?  
ВЕРА. Хватает.  
ОЛЕГ. Хочу в Ижму!  
ВЕРА. Сели бы и поехали. Правда, скучно у нас там: дожди да снега, ветра да туманы, только по весне и развиднется коротко, а потом сызнова.  
ОЛЕГ. Значит, в Москву за песнями?

**ВЕРА.** Песен у нас своих хватает, слушать некому: одни старики со старухами да алкаши с инвалидами, какие уж там песни! Я ведь и в Москву-то наладилась в музыкальное училище поступать, я самоучкой с детства на гармошке наострилась, только тут таких вроде меня целая прорва со всех концов съехалась, не прошла я по конкурсу, деваться некуда: обратно в Ижму совестно — засмеют, а'остаться — как жить, да и негде. Так бы и куковала теперь по скамейкам, коли б не дядя Саша.

**ОЛЕГ.** Земляк что ли?

**ВЕРА.** Обратно нет, дядя Саша тутошний, он в этом музее сторожует, поговорил за меня с Юрием Карлычем.

**ОЛЕГ.** Смотрите, какие связи у человека — на самого Юрия Карлыча выходит. И кто же это — Юрий Карлыч?

Слева в углу оживает казавшаяся до сих пор неподвижной фигура мужика в ватнике внакидку, мастержащего какую-то поделку. Это и есть дядя Саша.

**ДЯДЯ САША.** Много будешь знать, скоро состаришься. Ты чего это тут любопытствуешь, с чем пришел, зачем пожаловал?

**ОЛЕГ.** Материалы для книги собираю, отец, хочу о Севере написать.

**ДЯДЯ САША.** Пишут, пишут, а что толку писать, чего надо, давно написано. Это вас все энтот, который с бородой, сбаламутил, рассказывают, большую мошну набил, вот вы и кинулись все бумагу изводить.

**ОЛЕГ.** Не в деньгах счастье, папаша, истину ишу, правду то есть.

**ДЯДЯ САША.** Знаем мы вашу правду: твое мое и мое мое, ты помри нынче, а я завтрава, то я на тебе поеду, то ты меня повезешь. Больно востры все стали на чужом горбу в рай ездить. Правды он ищет! Знаешь, где она, эта самая твоя правда?

**ОЛЕГ.** Если бы!

**ДЯДЯ САША.** За кудыкины горы спряталась. Нечего ей с вами, сукиными детьми, делать — правде этой. Вконец опаскудились, всякий свою паскудную кривденку за прав-

ду норовит выдать. Бывало, ведешь такого к стенке, паршивец по дороге уже под себя ходит, соплей утирается, а языком трепать — Егорий Победоносец. Вот и получай девять грамм в затылок, ежели такой герой...

ВЕРА (*умоляюще*). Дядя Саша!

ДЯДЯ САША (*ворчливо*). Ишь, какая сахарная, уж и слова не скажи. (*К Олегу.*) Ну, чего тебе?

ОЛЕГ. У вас ведь, видно, Юрий Карлович все решает, может, мне с ним поговорить.

ДЯДЯ САША. Ишь, с самим Карлычем ему, а мы, видать, таким вроде него не ровня. Захочут только они с тобой разговоры разговаривать, это как сказать.

ВЕРА (*снова умоляюще*). Дядя Саша!

ДЯДЯ САША. Ладно, ладно, пойду кликну, а захочут — не захочут, не мое дело.

Идет в угол и скрывается за одним из стендов.

ВЕРА. Вы его особо не слушайте, это его после запоя ломает, а когда отойдет, мухи не обидит, рубаху с себя сымет последнюю.

ОЛЕГ. И с первого встречного.

ВЕРА. Нет, правда! Дядя Саша человека завсегда выручит. Кто б меня тут без дяди Саши устроил, уму-разуму научил.

ОЛЕГ. Он еще и наставник, выходит?

ВЕРА. Я в Москве как слепая кутя очутилась, куда идти, кого просить, кто научит, вот дядя Саша и научил. Что мне тут, в музее этом? Платят-то: пятьдесят рэ с мелочью, а я еще молодая совсем, мне и поесть, и одеться хочется. На такую зарплату не больно-то разбежишься, на одни колготки в три раза больше уходит.

ОЛЕГ. Так вы в три смены, что ли, здесь сидите?

ВЕРА. Зачем здесь, я у трех вокзалов приварок имею.

ОЛЕГ. Чего?

ВЕРА. С девяти до пяти отсиджу, кроме выходных, перышки почищу, марафет наведу и к восьми на Ярославский. Там пассажир больше издаleка: непуганый, без закидонов, денежный. Иногда два столыника за ночь набирается, а иногда

и фарцой кой-чего обломится. А дядя Саша и по клиентам мастер, и купить-продать, выменять лучше и не сыщешь. Юрий Карлыч опять же помогает.

ОЛЕГ. Север... Ижма... Народные традиции... Юрий Карлыч... Дядя Саша... Три вокзала... Колготки... Фарца... Господи, да неужели это все наяву!

ВЕРА (*вдруг настораживаясь*). Тише... Идет... Юрий Карлыч... Он у нас строгай.

Из-за стенда в углу появляется Юрий Карлович. Он при боярской бороде, в пончо и шлепанцах на босу ногу.

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ (*передвигается несколько зигзагообразно, с остановками*). Кто здесь, извините, по мою душу? (*Икает*) Прошу, прошу, без церемоний, у меня секретов от посетителей нет. Здравствуй, как сказал поэт, племя молодое, незнакомое! (*Устраивается за столом, выпорастывает из-под пончо и ставит перед собой початую бутылку*) Вероник, приборы, извините, проще говоря, стаканы.

ВЕРА (*бросается к полкам*). В один оборот, Юрий Карлыч.

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ (*рассматривает Олега*). Значит, интересуетесь Крайним Севером, молодой человек? Похвально, похвально, в наше сугубо прагматическое время приятно встретить юного идеалиста, еще не утратившего вкуса к настоящей науке... Да вы садитесь, садитесь, у нас здесь все запросто, как в народе: чем богаты, тем и рады.

ВЕРА (*расставляя посуду*). Вы только закусывайте, Юрий Карлыч, а то неровен час, как в прошлый раз...

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ (*прижимает палец к губам*). Тсс... Ни слова, о друг мой, ни вздоха, о любви не говори, о ней все сказано, я хочу забыться и заснуть. (*К Олегу*) Разливайте, молодой человек, а то обидится. Ну, как в народе говорят, со свиданьем.

ВЕРА (*пьет, удушливо кашляет*). Это что... Серная кислота что ли?

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ. Обыкновенный формалин в смеси с денатуратом, добавлено немного очищенной политуры для букета. Божественный напиток, не правда ли?

ВЕРА (*после выпитого скромно обтирает губы кончиком головного платка*). Будто ликер.

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ. Значит, интересуетесь Крайним Севером, молодой человек? Ремесла, традиции, язык и так далее, извините, и так далее. Что же я могу рассказать вам об этом предмете, мой юный друг? Крайний Север это... Это... Это... (*Начинает заплетаться*) Помню, в Карлаге вызывает меня начальник надзорслужбы Кулиев и говорит: «Если, говорит, ты мне и дальше нормы давать не будешь, крыса ученая, я тебя на доходиловке бантиком завяжу». Или еще, помню, на Ухте в самые морозы блатные барак подожгли. Как сказали бы в народе, смеху было полны штаны... Или вот...

ВЕРА. Вы закусывайте, Юрий Карлыч, закусывайте, вредно без закуски, сердце опять сорвется.

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ (*отмахивается*). Когда говорят ученые, дамы молчат... Значит, интересуетесь народным творчеством нашего Севера, коллеги?.. Помню, в Норильске на инвалидной командировке мы коробочки из берестовой коры для начальства мастырили. Можно сказать, золотое дно для доходяг вроде нас, одной каши по две миски с верхом на рыло обламывалось. Мы тогда на тех коробочках такие узоры выжигали, куда нынешним умельцам, кишка тонка. (*Разливает по стаканам*) Пейте, мой юный друг, в другом месте вам такого не нальют.

ОЛЕГ (*пьет*). Пожалуй... У этой влаги мощь нейтронной бомбы: тело — в прах, а душе хоть бы что.

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ. Сыграй нам, моя дорогая девочка, взволнуй наши замерзлые сердца родимым напевом!

ВЕРА (*бросается к одному из стендов, снимает с него гармошку, принимается наигрывать «Я с комариком»*). Это у нас запросто, это мы всегда со всей душой. «Я с комариком, я с комариком, с комариком плясала, с комариком плясала. Комарик ножку мне, комарик ножку мне, комарик ножку отдавил, все косточки раздробил...»

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ (*пускается в пляс, увлекая за собой Олега*). Гуляй, рвань, пока трамваи ходят!

Постепенно танец превращается в сомнамбулическое кружение.

ХОРОМ. «Во саду ли в огороде поймали китайца, руки-ноги оторвали, кое-что болтается...» «На бан мы прикатили и свистнули мешок, в мешке большая дырка и хлебушка кусок. Подначивай да поворачивай, если шухер на бану, все заначивай...»

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ (*отдуваясь*). Ох, ох, ох... Закружили старика... В народе говорят, пора и честь знать... Пойду, прилягу... Продолжайте без меня... Люби покуда любится, гуляй пока гуляется... Цитирую по памяти... Адью...

Скрывается за стендом.

ВЕРА. Набрался старичок.

ОЛЕГ. Ну, смотрю, у вас и малина, для знатоков с Петровки целый клад: есть на чем развернуться.

ВЕРА. Нормалек. Не берите в голову, нынче все так-то, хочешь жить, умей крутиться, теперь возникать — себе дороже, рот раскрыть не соберешься, как тебе шею винтом вывернут. Одна всему мера: живи и не рыпайся.

ОЛЕГ. А я не хочу по этой мере! Не хочу!

ВЕРА. Вот и плохо. Коли себя не жалко, жену, детей пожалейте.

ОЛЕГ. Слава Богу, нет у меня ни жены, ни детей.

ВЕРА. Может, и к лучшему, забот меньше.

ОЛЕГ (*вдруг, как бы приходя в себя*). А вы бы за меня пошли?

ВЕРА (*просто*). А чего не пойти, коли человек хороший.

ОЛЕГ. Вот так, сразу?

ВЕРА. Резину тянуть — только дело портить.

ОЛЕГ. Считайте, что я вам сделал предложение.

ВЕРА. Только зря охмурять меня незачем, с вами я и так могу.

ОЛЕГ. За наличные.

ВЕРА (*обиженно*). Зачем же? С вами я и задаром могу, вы симпатичный.

ОЛЕГ. Эх вы, девочка, маленькая девочка из Ижмы! Проклятый век! Проклятое время! Жить бы вам и жить там среди снегов и болот, выйти замуж, нарожать детей, вырастить их, вынянчить внуков и в свой час отдать Богу душу без мук и сожалений. Но какая-то мстительная сила срывает таких, как вы, с насиженного поколениями места, втягивает в свою гибельную воронку, измочаливает им ум и душу, превращая их в конце концов в полый человеческий мусор. Когда мы только выберемся из этого зловонного омута? И выберемся ли?

ВЕРА. Чудно́ это вы все говорите.

Из-за того же стенда появляется дядя Саша.

ДЯДЯ САША. Спойли Карлыча, козлы. Теперь его неделю похмелять придется, пока не отойдет. (*Садится за стол, смотрит на свет бутылку*) Как раз на один заход. (*Наливает, пьет*) По науке заделано, сразу на кристалл ложится. Опять же в мозгах полное прояснение. (*Закусывает*) Я так скажу: жись кругом наперекосяк пошла, пора отседова ноги уносить.

ОЛЕГ (*насмешливо*). На Северный полюс наладился? Или на Южный?

ДЯДЯ САША. Чего я там не видал, волков или ведмедей что ли? Мне, куда потеплей, сподручнее, кости старые отогреть. Я к еврейцам налажусь, мне уже и справочку хороший человек спроворил, что я сам жидовской веры, есть такой народец в Воронежской области, вроде русаки, а ихнему Богу молятся. Бумаги подавать буду, скажут обрезать — обрежусь, от меня с этого ошметка не убудет.

ОЛЕГ (*наливает, пьет*). Ликуй, Израиль, грядет российский Мессия на Земле Обетованной: научит самогон гнать и пить без закуски, а про бутылки сдавать я уже и не говорю!

ВЕРА. Хватит вам пить гадость эту, шли бы вы тоже отдохнули, у нас места много. (*Помогает ему подняться,*



ведет за собой) Вот так... Вот сюда... Хороший сон слаще вина, ляжешь камушком, встанешь калачиком...

Скрываются за стендом.

**ДЯДЯ САША** (*встает, глядит перед собой*). Кажется, на этот раз мне попался довольно заурядный экземпляр. Что ж, тем корректнее будет эксперимент!

### З А Н А В Е С

#### Картина вторая

Обстановка та же. Дядя Саша один за столом. Входит Вера.

**ВЕРА**. Кто бы только знал, как мне все это надоело!

**ДЯДЯ САША**. Уже?

**ВЕРА**. Давно.

**ДЯДЯ САША**. Настоящая работа только начинается.

**ВЕРА**. От этой работы хоть снова в петлю!

**ДЯДЯ САША**. Я тебя из нее вынул, я же могу вернуть тебя в прежнее положение.

**ВЕРА**. Не пугайте, я давно не боюсь.

**ДЯДЯ САША**. Ой ли?

**ВЕРА**. Да, да, не боюсь!

**ДЯДЯ САША** (*снова рассматривает бутылку на свет*). Ты же прекрасно знаешь, что это обыкновенная вода, с чего это тебя так раззадорило?

**ВЕРА**. Я сказала: мне надоело.

**ДЯДЯ САША**. Мне придется тебя несколько протрезвить. (*Подходит к ней, наотмашь бьет ее несколько раз по лицу*) Я не люблю, когда кто-то не хочет возвращать долги. Тебе придется подумать над этим, женщина!

**ВЕРА** (*покорно сползает к его ногам, целует ему руку*). Простите меня, я, наверное, просто устала. Я больше не буду, клянусь вам, поверьте мне.

**ДЯДЯ САША**. О люди, странные вы существа, сколько я знаю вас, столько не перестаю удивляться: вы так же лег-

ко возносите, как и льстите, палачествуете, как и унижаетесь, воодушевляетесь и впадаете в панику. Вы подлы, великодушны, скупы, щедры, наивны, подозрительны, честны, бессовестны, глупы, гениальны и прочая, и прочая, и прочая. Как много в вас всего намешано! А иногда и все это вместе взятое в одном человеке. Порою мне кажется, что я зря с вами связался, хлопот много, а результат почти всегда один и тот же: сначала вы покоряетесь, но затем снова принимаетесь бунтовать. В конце концов, я же не цирковой укротитель, чтобы постоянно держать при себе кнут и кусочек сахара. У меня другие задачи, и цели — тоже. *(Поднимает Веру с колен)* Женщина, врежьте на своей бандуре что-нибудь воодушевляющее, только, пожалуйста, без этих пейзажных соплей!

Вера берет в руки гармошку, растягивает меха. Неожиданно возникает мелодия танко «Аргентина». Дядя Саша молодежато подтягивается и галантно расшаркивается перед Верой.

**ВЕРА** *(ставит гармошку, которая, тем не менее, продолжает звучать, на стол)*. Сумею ли?

**ДЯДЯ САША** *(властно привлекает ее к себе)*. Как совершенно справедливо выразался один из ваших кумиров: не можешь — научим, не хочешь — заставим.

Ритмически передвигаются в танце.

**ВЕРА**. Время зря тратите.

**ДЯДЯ САША**. Сгодится.

**ВЕРА**. Едва ли.

**ДЯДЯ САША**. Посмотрим.

**ВЕРА**. Уверена.

**ДЯДЯ САША**. О женщина! Успела убедиться?

**ВЕРА**. Какой с него спрос — он пьяный.

**ДЯДЯ САША**. От воды?

**ВЕРА**. От вашей воды опьянеешь.

**ДЯДЯ САША**. Тогда каким же образом определила его?

**ВЕРА**. Визуально.

**ДЯДЯ САША**. Что же ты в нем рассмотрела?

ВЕРА. Бесхарактерный алкаш.

ДЯДЯ САША. Вот пусть и продолжает в том же духе.

ВЕРА. И это все?

ДЯДЯ САША. С таких, как он, хватит и этого.

ВЕРА. Стоит ли связываться?

ДЯДЯ САША. У меня его больше чем достаточно.

ВЕРА. Мелочитесь.

ДЯДЯ САША. В нашем деле все впрок.

ВЕРА. Как знаете.

ДЯДЯ САША (*останавливается, Вера продолжает танцевать вокруг него*). Да, да, пусть продолжает в том же духе! Таким, как он, я просто облегчаю конец. Они уйдут в небытие в радужных снах сивушной нирваны без лишних хлопот и сожалений. А еще говорят, что я желаю кому-то зла! Напротив: чем легче для них конец, тем мне отраднее. (*Из-за стенда в углу, не замечаемый ими, появляется Олег, с недоумением смотрит на них*) Зачем мне лишние хлопоты. Мир праху их, безымянных! (*Замечает Олега, как ни в чем не бывало*) Мы тут поплясали маленько, кровя разгоняет, опять же для сугрева.

ОЛЕГ (*растерянно*). Не голова, а церковный колокол... Череп раскалывается... Сплошная муть!

ДЯДЯ САША (*с готовностью бросается к столу, разливает из бутылки по стаканам*). А мы опохмелим, милок, опохмелим, она враз земля на четыре копыта встанет. Ну, вздрогнули.

Все трое пьют.

ОЛЕГ (*с облегчением*). Кажется, оседает.

ДЯДЯ САША. От такого ерша у лошади осядет.

ОЛЕГ. Это называется: и в запой отправился парень молодой.

ДЯДЯ САША. Не тушуйся, парень, все там будем.

ВЕРА. Может, хватит все-таки на сегодня?

ДЯДЯ САША. Ты, девка, в мужинские дела не встревай, мы как ни то без тебя разберемся. (*Олегу*) Вторая соколом пойдет. (*Наливает ему и себе*) Поехали, как Гагарин сказывал!

ОЛЕГ (*пьет*). Светало. Горизонт заалел. В лицо подул майский ветерок. Весна вступила в свои права.

ДЯДЯ САША. Теперича вижу, что порядок. Заговорил человек по-людски, все путем. (*Поднимается*) Вы тут одне пожируйте, дело молодое, а я, пожалуй, ишшо за одной сбегаю, гулять дак гулять, однова живем!

ВЕРА (*подходит к Олегу, проводит ладонью по его голове*). Зачем вы так?

ОЛЕГ. А, все равно нехорошо!

ВЕРА. Это пройдет.

ОЛЕГ. Мне бы ваш оптимизм.

ВЕРА. Вино разве облегчает?

ОЛЕГ. Хотя бы временно.

ВЕРА. А потом еще хуже будет.

ОЛЕГ. Час да мой.

ВЕРА. Жизнь-то совсем короткая.

ОЛЕГ. Такая молодая, а все знаете.

ВЕРА. Не надо вам больше пить.

ОЛЕГ. Вам жалко?

ВЕРА. Это воды-то?

ОЛЕГ. Какой воды?

ВЕРА. Известно какой, обыкновенной, из-под крана.

ОЛЕГ (*рассматривая бутылку на свет*). Вы шутите.

ВЕРА (*устало*). Мне давно не до шуток.

ОЛЕГ. Вы серьезно?

ВЕРА. Уходили бы вы отсюда, пока не поздно, если вам вода в голову вдарила, то дальше еще хуже будет.

ОЛЕГ (*с вызовом*). Вы что, здесь алхимией, что ли, занимаетесь? Тогда бы уж лучше изобретали алмазы или, на худой конец, золото, чем эту смесь сочинять аж два о.

ВЕРА (*с еще большей нежностью гладит его по голове*). Пропадете вы, совсем пропадете.

ОЛЕГ. Не хороните меня раньше времени.

ВЕРА (*почти кричит*). Уходите же!

Из-за стенда появляется Юрий Карлович.

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ. Об чем шум, как говорили у нас на Колыме? (*Вере.*) Пойди-ка, Веруня, замастырь нам цифирь-

ку, а мы здесь с молодым человеком тет-а-тет за жизнь по-толкуем.

Вера нехотя уходит.

ОЛЕГ. Что скажете, профессор?

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ. Вы несколько повышаете меня в научном ранге, коллега. Моя карьера кончилась на кандидатской, на докторскую потом уже ни сил, ни желания не оставалось. *(Рассматривает бутылку)* Надеюсь, вы оставили старику?

ОЛЕГ *(зло)*. Бросьте вы свои шутки, дедуля, вы же прекрасно знаете, что это вода.

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ *(нюхает отверстие бутылки)*. Вот уж никак не подумал бы, разит чистой ханкой.

ОЛЕГ. Не прикидывайтесь дурачком.

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ. У вас нет воображения, молодой человек, это не делает вам чести. Принимайте жизнь не такой, какова она есть, а такой, какой вы хотите ее видеть, вам будет легче жить. Дарю вам на память этот бессмертный принцип основоположника социалистического реализма Максима Горького, он же Алексей Пешков, он же пайку украл, он же на работу не пошел. Я не жадный. У меня таких подарков для вас, как у Деда Мороза. И если вы уже еле лыко вяжете, значит, перед вами все-таки не вода, а ханка, то есть гремучая смесь из всех мыслимых алкашами подручных компонентов.

ОЛЕГ *(сникая)*. А, черт с вами, я не знаю, кто вы есть на самом деле и знать не желаю! Но если действительно вы знаете больше, чем дано простому смертному, тогда скажите, почему я так одинок?

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ. Что ж, вопрос, достойный вдумчиво пьющего мужчины. *(Наливает себе, пьет)* Человек вообще одинок по определению, а человек с душой и сердцем одинок вдвойне. И чем старше такой человек, тем более одиноким он становится, но по-настоящему одиноким человек ощущает себя только на смертном одре. К сожалению, от этого нет лекарства, мой друг, разве лишь *(он*

*шелкает по бутылке)* вот это, но это, увы, только иллюзорный паллиатив. Вам налить?

ОЛЕГ (*подставляет стакан*). Что ж, последую совету пролетарского классика, попробую напрячь воображение.

Пьют.

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ (*отставляя стакан*). А вы говорите — вода!

ОЛЕГ (*вдруг затягивает на мотив «Я встретил вас...»*). «О подвигах, о доблестях, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в его простой оправе передо мной стояло на столе...»

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ. Полное восхищение духа, степень самой высокой кондиции, песня возносит человека в горние выси. Перед таким состоянием я падаю ниц и смиренно замираю. Мне тут больше нечего делать, выводы я оставляю вечности!

Уходит.

ОЛЕГ. Господи, почему я так одинок!

Появляется Вера.

ВЕРА. Вы уже успели напиться.

ВЕРА. Очнитесь же вы наконец!

ОЛЕГ. Зачем?

ВЕРА. Что мне с вами делать?

ОЛЕГ. Пожалеть.

ВЕРА (*бросается к нему, принимает его трести*). Очнись, очнись, очнись! Пойми же ты, дурачок, не пил ничего, кроме воды, все это тебе только кажется. (*Вдруг прижимает его голову к груди, почти исступленно гладит ее*) Золотой ты мой, перламутровый, сокол мой быстроглазый, кровиночка моя ненаглядная, жить тебе еще и жить, топтать траву-мураву, росой умываться, с серебра пить, с золота кушать, не горюй, аметистовый, закрой глазыньки, сосни

чуток, когда встанешь, все как рукой сымет, а я тебе, бирюзовому, на сон грядущий заветное попою: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан, не входи, голубушка, попусту в изъян...»

Появляется дядя Саша с бутылкой в руках.

**ДЯДЯ САША.** Смиловались? А я одна нога здесь, другая тут, пулей обернулся, можно сказать, из-под земли достал. *(Ставит бутылку на стол)* Пей — не хочу!

**ВЕРА.** Не в коня корм, он и так чуть теплый.

**ОЛЕГ** *(вырывается из ее рук).* Наливай, дед, наше дело правое!

**ВЕРА** *(пытается удержать его).* Нельзя тебе больше.

**ДЯДЯ САША** *(Вере, жестко).* Не встревай, девка, видишь, человек гуляет, душа у него простору просит, грех удерживать.

**ОЛЕГ** *(вырывает у него из рук бутылку, раскручивает ее, жадно прикивает к горлышку).* Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»! *(Отбрасывает бутылку в сторону)* Пощады никто не желает. Да здравствует Ижма!

Плашмя валится на пол.

**ВЕРА** *(бросается к нему).* Ведь говорила же я!

**ДЯДЯ САША** *(наклоняется над Олегом, переворачивает его, трогает ему зрачок).* Причитать бесполезно, он — мертв. *(Выпрямляется)* Что и следовало доказать. Так, кажется, пишется у них в газетах.

**ВЕРА** *(приподнимает Олега, кладет его голову к себе на колени).* Какая Ижма! Не было никакой Ижмы! В глаза я не видела никогда этой Ижмы. И пропади она пропадом! И не поступала я ни в какое музыкальное училище! И не ездила я к трем вокзалам! И нет никакого дяди Саши! И никакого Юрия Карлыча тоже нет! Все это одна морока! Проснись только, приходи в себя, я тебе все расскажу, только очнись! Мы уйдем отсюда вместе, чем бы я за это ни заплатила. Ты поймешь, ты все поймешь, ты же такой умный!

**ДЯДЯ САША** (*прямо перед собой*). Выражаясь по-басурмански, шерше ля фам, господа, шерше ля фам, а если по-человечески, то баба она баба и есть. Желаю здравствовать, уважаемые!

Вера и дядя Саша расходятся по своим местам и застывают в том же положении, в каком мы застали их в начале действия. Медленно гаснет свет вокруг распростертого на полу тела Олега.

**З А Н А В Е С**



*ПЕРЕД УХОДОМ*

1.

Раньше – соболю с плеча,  
раньше – мех да парча,  
раньше в дар – Третьяковку.  
Нынче наш неофит  
нахопался и спит  
под матрац – упаковку.  
Раньше для подлеца  
был приветом истца:  
секундант у барьера.  
Нынче на руку скор  
не палаш, не топор,  
свальный грех – полумера.  
И кружит у виска  
не беда, а тоска.  
Словно боги уснули.  
Но строка за строкой  
освященной рукой  
отливаются пули.

2.

Нам только кажется,  
что луч рожден во тьме,  
что аист дом хранит,  
а март конец зиме.  
Что Богу Богово  
на том и этом свете.  
Что наш король не прост,  
что наш рукав не пуст.  
Не знаю, был ли мост,  
не знаю, цвел ли куст.  
Но четко знаю я,  
что все за всё в ответе.  
Не та вода лежит  
в морях моих морей.

И небеса не те  
над головой моей.  
И пыль годов не та.  
И боль уже иная.  
Но на мое окно  
ложится тот же снег.  
И я уже давно  
готовлю свой побег.  
И тьма мне не страшна,  
которой я не знаю.

3.

Мы на долгий век не уповали.  
Нам он не заказан никому.  
Как деревья на лесоповале,  
валятся друзья по одному.  
За свои несломленные плечи.  
Непроизнесенные слова.  
Гаснут раньше срока наши свечи.  
Жухнет раньше осени трава.  
Не зачлись нам траурные даты.  
Не спасли Христос или Аллах.  
И лежат, лежат, лежат солдаты  
на реаниматорских столах.  
Не рыдайте, женщины и внуки,  
не казнитесь ночью, доктора.  
Просто подгробла пора разлуки,  
наша ветеранская пора.  
Жаль, что нами сеянное жито,  
в старую и в новую страду,  
может быть, просеется сквозь сито,  
дай-то Бог, в двухтысячном году.  
Жаль, что нас не будет в эти годы.  
Что не доведется расспросить,  
как созрели яблоки свободы  
те, что так хотелось надкусить.

## ПОДВОДЯ ИТОГИ

Примостившись где-то с края,  
никого не укоряя,  
книгу жизни перечел:  
много было снега, пыли,  
дни удач коротких были.  
Но остался – ни при чем.  
Видно, я тому виною,  
что, ушибленный войною,  
ждал – что получу сполна.  
За утраты и увечья  
в долг хоть слово человечье.  
Мне сказали твердо: «На!»  
А потом пришла бумага  
из отцовского ГУЛАГа.  
А потом уже я сам,  
несговорчивый сызмальства,  
не понравился начальству  
и меня: по волосам!  
Сколько было их готовых  
свежекупленных, фартовых  
институтских палачей.  
В кружевном сорок девятом  
честной памятью распятом  
в красном чепчике речей.  
Был «кураж» и с пистолетом.  
«Отличился» друг при этом.  
...по коленкам, по щекам –  
все прикладывали руку,  
все завьюживали муку.  
Все заплатят по счетам.  
Не на всем лежалось жестко.  
Моря синяя полоска  
перепахивала всласть  
и обиды, и потери  
чтоб на ангельской Мадейре  
бездны властвовала власть.  
Там, у знойного причала,  
от мельканья рыб качало,  
от мимоз и от олив.

И, как баховские мессы,  
в рукиплыли стюардессы,  
гордо шеи оголив.  
А потом моя держава  
в муках новый день рожала  
под кремлевскою стеной.  
И все яростней и злее  
я стоял у Мавзолея  
к самому себе спиной.  
Валит снег белее снега.  
Не способен для побега,  
не во сне, а наяву  
октября ли жду иль мая.  
Я живу, не понимая,  
сам не зная, что живу.

ПОЖЕНЯН Григорий Михайлович родился в 1922 году в Харькове. Участник Второй мировой войны. Учился в Литературном институте им. Горького. Автор нескольких стихотворных и прозаических книг, киносценариев. Живет в Москве.

## ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ

*Эпизоды из жизни тамбовской деревни*

Главы из романа

### ВТОРАЯ ТРУБА

*Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море.*

*Откр 8,8*

Лежать на голых досках неудобно. Егор Иванович часто ворочался. Пальто сползло с него, казалось коротким. Ноги мерзли. Наконец он не выдержал, поставившаяся, охая, поднялся потихоньку, сел. Надел валенки, посидел, оглядывая мрачную голую камеру. Потом долго устраивался на нарах, выбирал удобное положение. И снова накатили воспоминания...

Увидел Мишку Чиркуна Егор недели через две после отъезда из Масловки в селе Коптеве, во время уничтожения села красными. Много событий произошло за тот малый срок.

Помнится, начались они с ареста председателя Губчека Оя Александровича Мартиновича. Арестовали его за какие-то злоупотребления. Правда, в Тамбове никто не удивился этому. Менялись председатели Губчека часто, и почти каждый, начиная с Якимчика, оказывался за решеткой. Арестовали Оя восемнадцатого августа – запомнилась эта дата потому, что буквально на следующий день, девятнадцатого августа, в Борисоглебском уезде в селе Туголуковке восстали крестьяне, разгромили продотряд, и началась долгая, страшная крестьянская война, которую впоследствии назвали Антоновщиной. Конечно, арест предгубчека случайно совпал с началом восстания. Восстание не было неожиданным для Антошкина. В Масловке, когда они с Николаем свезли рожь в ригу, ясно стало, что намолочено будет вдвое меньше прошлогод-

него, а значит, продрозверстку ни при каких обстоятельствах они не выполнят. Для этого просто не хватит хлеба, не говоря уж о том, что нечего будет есть самим, ничего не останется на семена. Выполнить разверстку – значит умереть с голоду. И так в каждом дворе. Тогда еще стало ясно, что, если не скостит губисполком продрозверстку, будет кровь!

В Тамбове Егор узнал, что троица тамбовских руководителей: председатель губисполкома товарищ Шлихтер, секретарь губкома партии товарищ Райвид и губпродкомиссар товарищ Гольдин сообщили в Москву перед жатвой, что в Тамбовской губернии должны взять урожай в шестьдесят два миллиона пудов, а собрали всего лишь тридцать два миллиона. Не понятно было Егору, как умудрились руководители губернии опшибиться в два раза? Непонятно было и то, почему товарищи Шлихтер и Гольдин почти половину продрозверстки, положенной двенадцати уездам Тамбовской губернии, наложили на три южных уезда: Тамбовский, Кирсановский и Борисоглебский, на те как раз уезды, где был самый большой недород, где была засуха. «Быть крови, быть!» – ныло сердце, когда Егор думал о Масловке.

Новым председателем Губчека стал Траскович, жесткий, безжалостный, взбалмошный человек. Он сразу стал подбирать себе преданных людей, освобождаться от тех, кто ему не нравился. Восстанию крестьян в Туголукове он не придал значения, должно быть, посчитал рядовым явлением. Но на другой день пришло известие, что захвачен и разгромлен совхоз в Ивановке, а еще через день срочно собрали всех коммунистов Губчека и сообщили, что председатель Тамбовского уездного комитета Союза трудового крестьянства Григорий Наумович Плужников выступил в селе Каменка, в соседнем с Туголуковым, на сходе с большой речью и объявил о начале крестьянского восстания. Поднялись мужики, демобилизованные красноармейцы, и с вилами, косами, а кое-кто с винтовками двинулись в сторону Тамбова. Устраивают по пути сходы, митинги, обрастают, как снежный ком. Захватили уже железнодорожные станции Сампур, Чакино. В тот день Егор впервые услышал имя Плужникова, хотя о существовании Союза трудового крестьянства

знал, но не интересовался им: мало ли в России после революции возникло союзов. Имя Антонова ни разу не упоминалось в связи с восстанием. Кто руководитель – не знали. Называли бывшего красногвардейца Авдеева, еще какие-то имена упоминались. Наверно, поднялся народ стихийно, попытались возглавить его руководители Союза трудового крестьянства. Но все утверждали, что Плужников – человек гражданский, говорун, а не командир. Потом, дней через десять, все чаще стали упоминать имя Богуславского, по-разному иначили это имя: Богослов, Богословский, будто бы офицер царской армии, подполковник. В Тамбове занимал в военном комиссариате видные должности. С командиром ли, без командира, но мятеж разрастался, охватывал новые волости. При губчека был создан военно-оперативный штаб во главе с Трасковичем. Срочно формировались новые воинские части, и Егора Антошкина назначили командиром эскадрона, дали бумажку в распределитель, приказали получить положенную командиру войск ЧК кожанку, портупею и другие вещи. Помнится, шел в распределитель нехотя, с таким чувством, что толкают его в нехорошее дело, надо отступить, вывернуться, но как? Шел, бормотал хмуро услышанную в Масловке прибабку: «Комиссар, комиссар, кожаная куртка! Налетишь на базар – хуже злого турка!»

Повстанцы разбили несколько высланных им на встречу отрядов. Остановить их удалось только с помощью бронелетучки у железной дороги. Двадцать шестого августа большая группа войск, в которую входил и эскадрон Антошкина, выступила из Тамбова. Но в том месте, где должны были быть повстанцы, их не оказалось. Войска стремительно заняли Каменскую волость, прочесали ее насквозь – нет мятежников. И на следующий день – спокойно. Прибыл Траскович, объявил Каменскую и прилегающие к ней волости на осадном положении, назначил комендантом Каменского района уполномоченного губчека Рекста, учредил в каждой волости военные трибуналы для наказания участников восстания, предписал произвести суровую революционную расправу с соучастниками бандитов: в течение двух суток в двадцати одной деревне произвести полную конфиска-

цию имущества всех граждан, арестовать всех мужчин в возрасте от шестнадцати до сорока лет и отправить их на принудительные работы в концлагеря. Объявил, учредил, предписал, приказал и посчитал, что с мятежом покончено.

Невесело начали выполнять красноармейцы приказ о полной конфискации имущества крестьян. Эскадрон Антошкина был разделен на две части и приступил к аресту мужиков в двух соседних деревнях: Моздочек и Петровское. Детский плач, крики, женские вопли, мольбы, уверения, что мужья их никакого отношения к повстанцам не имели, – рвали душу. Злился Антошкин, понимал, что среди арестованных большинство невиновных. Огромную толпу понурых мужиков, поглядывающих исподлобья, злобно на взмокшего в своей кожаной тужурке и кожаном картузе Антошкина, собрали, сбили в кучу и повели по пыльной дороге на железнодорожную станцию в Ржаксу. Обошли стороной большое волостное село Степановку. И правильно сделали. За селом увидели скачущих наперерез им прямо по полю двух всадников. Подскакали они, осадили коней. Егор узнал бойцов своего эскадрона, из тех, что брали мужиков в соседнем селе. Они должны были впереди гнать арестованных крестьян. Один из подскакавших, взволнованный, с белыми глазами, отозвал Антошкина в сторону. Конь бойца приплясывал на месте испуганно, нетерпеливо, ощерившись из-за натянутых поводьев, громко грыз удила, ронял зеленоватую пену в пыльную траву.

– Банда! – прошептал, выдохнул боец белыми губами, продолжая сдерживать коня. – Мужиков отбили... Наших – кого постреляли, кого в плен... Неожиданно... Окружили... Ахнули...

– Сколько их? – хмуро перебил Егор, поглядывая на толпу мужиков, которые следили за ними, видно, старались понять – о чем речь идет. Некоторые приободрились, подняли головы.

– Сто пятьдесят... не меньше...

– Пешие?

– Есть и конные... но немного...

Егор подумал: если налететь неожиданно, будет паника – отбить своих можно. А что с мужиками делать?



Оставить здесь? Но тут же мелькнуло: а если последние полэскадрона потеряет? Но без боя потерять половину...

– Эскадро-он! – заорал Антошкин, вытягиваясь в седле. – К бою! – И крикнул в толпу мужиков. – Ждите нас здесь! Вернемся скоро! – Он был уверен, что крестьяне разбегутся. Правда, стояли они на полевой дороге. Степь. Справа ровное темно-серое поле с редкими стрелами озимых. Слева – жнивье. Но в полверсте – враг.

Антошкин поскакал по дороге в сторону видневшихся за бугром соломенных крыш села. Скакал рысью, не оглядываясь, слышал позади стук копыт. Когда вырысили на бугор и показалось село в низине, выхватил шашку, ударил коня. Он перешел в намет, вскачь, распластался над дорогой. Чтоб взбодрить себя, взвинтить, заорал во всю глотку: Ура-а-а! Услышал позади такой же крик, приободрился. На улице села заметались люди, прячась в избы, в катухи, в кусты. Выстрелы хлопали редко, испуганно. Влетели в широкую улицу, крича, поднимая пыль. Куры с истошными воплями взлетали из-под копыт, разбегались в стороны. Пронеслись по улице на площадь возле волостного управления, никого не тронув и, кажется, ни одного бойца не потеряв. Вдали, в конце улицы, клубилась пыль за удирающими всадниками. На площади у коновязи – лошадей сорок. Налет был неожиданен для крестьян: попрятались, бросив коней. Были тут и кони красноармейцев. Егор увидел старика, торопливо семенящего к избе, и поскакал к нему. Дед далеко вперед выбрасывал бадик, опирался на него, суетливо семенил, но ноги не слушались. Он увидел, что к нему скачет всадник с оголенной шашкой, понял, что не уйти со своими больными ногами, остановился и выставил вперед бадик, словно надеялся им защититься. Егор осадил коня, крикнул:

– Где арестованные красноармейцы?!

Дед опустил чуточку свой дрожавший бадик, указал на здание волостного правления и пискнул тонко:

– Вон тамона!

Егор оглянулся – бойцы открывали широкие ворота дома рядом с волостным правлением, выводили красноармейцев. Поскакал к ним. Арестованных было человек тридцать. «Половину выкосили!» – ахнул Антошкин. По-

уже он узнает, что одиннадцать бойцов отбились, ускакали в Березовку.

– По коням! Быстро! – крикнул Антошкин, указывая на лошадей у коновязи.

Подождал минутку, глядя, как, торопясь, отвязывают, подпруживают, взнуздывают коней красноармейцы, и поскакал назад. Высхал на пригорок, удивился – что-то вроде огорчения почувствовал: мужики были на месте. Только человек шесть, видно, самых отчаянных, бежали по жнивью к оврагу. И то двое из них, те, что отбежали недалеко, увидев эскадрон, повернули назад, а остальные четверо стреканули в овраг. До чего же послушные, до чего же терпеливые!

Но не успел эскадрон подскочить к мужикам, как позади на пригорке появились всадники. Человек сто – не меньше! Остановились, стояли, чего-то ждали. Потом показались пешие с винтовками, с вилами. Многовато.

– Уходим в Каменку! – приказал Егор.

Атаковать их, как и предполагал он, повстанцы не решились.

Каменка была занята восставшими, заняты и прилегающие к ней деревни. Где оврагами, где напрямик по полям – только к вечеру вывел Антошкин эскадрон в Сампур, к железной дороге. Здесь узнал, что поднялись крестьяне не только на юге Тамбовского уезда, но и в Кирсановском и Борисоглебском уездах.

В Сампуре на рассвете, помнится, разбудила его стрельба, треск пулеметов, крики. Поспешно оделся, выбежал и сразу попал в паническую суету. Кричали, что Сампур окружают повстанцы. Выстрелы приближались. Кое-как собрал эскадрон и вместе с беспорядочно бегущими пехотными частями карательного батальона стал отступать вдоль железнодорожной линии по направлению к Тамбову. Возле станции Бокино соединился с передовыми частями сводного отряда, выступившего из Тамбова во главе с самим председателем губисполкома Шлихтером. К полудню сам председатель прибыл в Бокино. Узнал, что Антошкин посылал конный разъезд в разведку, вызвал Егора.

Все революционеры были молодыми, горячими, поэтому, помнится, Антошкин поразился, увидев в избе, на

лавке у окна, в окружении молодых людей, поскрипывающих кожаными куртками, пожилого человека с узкой бородой, обиженно поблескивающего глазами. Слушал он доклад Егора недоверчиво и все время казался Егору каким-то обиженным, сердящимся на всех за то, что его оторвали от дел, не смогли справиться с мужиками без него и теперь он вынужден мотаться по полям, ночевать черт-те где среди вшей и клопов. Переспросил насмешливо, когда Егор сказал о приблизительной численности мятежников.

– Аж три тысячи?

– Сам не видел, но разведчики говорят – не меньше. Командуют Богуславский и Матюхин.

– У страха глаза с ведро, – усмехнулся Шлихтер и при Антошкине распорядился выслать разведку, чтобы уточнить местонахождение войск мятежников и их численность.

Антошкин не знал – подтвердила ли разведка Шлихтера данные его разъезда, но утром сводный отряд выступил и быстрым маршем двинулся навстречу повстанцам. Шли по направлению к Сампуру, чуть восточней. Километров через пятнадцать неподалеку от села Хитрово неожиданно были атакованы в лоб большим конным отрядом повстанцев. Едва задержали, отбили атаку, как с обоих флангов поднялись засевшие в оврагах крестьяне. Бежали молча с вилами, топорами, косами. Отбитые конники вновь сгруппировались и пошли в атаку. Осталась от того боя полная бестолковщина, сумятица, резня. Стоит в памяти, как он вертится с конем, отбивается шашкой от седого мужика с редкой бородачкой, который деловито ширяет его вилами. Лицо у мужика серьезное, словно он выравнивает завершенный стог. Егор махал шашкой, бил по деревянной ручке вил, щербатил ее, пока она не переломилась. Мужик замахнулся обломком на налетевшего сбоку на коне красноармейца, но боец опередил, коротко блеснул саблей. Седая голова мужика треснула с таким звуком, словно раскололась тыклушка.

Антошкин рвал удилами губы коню, отбивался, отступая: желание было одно – сохранить эскадрон. И кап-

ли уверенности не было, что Шлихтер выиграет бой. Антошкин видел, что, как только конница мятежников вылетела навстречу сводному отряду, председателя исполкома окружило несколько кожаных тужурок и оттеснило назад за спины бойцов. Остервенело крутясь на коне в центре кипевшего, хрипевшего месива людей, зло и дико взвизгивающих раненых лошадей, Егор успевал замечать, как Шлихтер с группой кожаных тужурок кричал что-то в отдалении, вытягивал руку то в одну, то в другую сторону. Видел Антошкин, как вся эта группа комиссаров быстро развернула коней и начала уходить галопом. И сразу осттаки почти тысячного сводного отряда стали панически отступать, удирать, думая только о спасении. Окруженные сдавались, бросали винтовки. Антошкин со своим сбившимся в кучу эскадронном вырвался из орущего месива и напрямик по пашне, прижимаясь к шее коня от пуль, летевших вслед, поскакал вдогонку за Шлихтером. Копыта коней тонули в мягкой пашне, швыряли в лицо землю. Хорошо, что мятежники не преследовали, иначе не избежать бы полного разгрома. Отступали до деревни Сергиевки. Здесь остановились, соединились с ротой курсантов полковой школы 21-го запасного стрелкового полка, подошедших с двумя орудиями и тремя пулеметами. Батарейку спешно установили на околице у колодца под старой ивой с потрескавшейся корой, с большим дуплом в метре от земли, и, когда показались повстанцы, полыхнул залп, другой. Пашня у дороги неподалеку от мятяжников взметнулась. Они откатились и больше до конца дня не показывались.

Шлихтер, насмешливый, уверенный утром, теперь раздраженный, злой, требовал отступать дальше к Тамбову, мол, мятежники могут обойти их и, пока они будут здесь прохладиться, занять город. Еле убедили его в том, что повстанцы не такие уж дураки, чтоб идти на Тамбов, оставляя в тылу армию с батареей. Попытались вернуть Шлихтера в город, но он уперся, мол, будет там, где отряд. Всю ночь совещались, как действовать дальше, и решили отступить в Тамбов, просить помощи у Центра, а с мятежниками расправляться жестоко, уничтожая, сжигая дотла все села, откуда раздастся хоть один выстрел.

В тот день с утра было пасмурно. Небо серое. Наволочь. Прохладно. Намечался дождь. Выступили из Сергиевки рано. Антошкин со своим эскадронном прикрывал отход и не знал, отчего и с кем возникла перестрелка возле села Коптево. Позже узнал, что небольшой отряд повстанцев, может быть, их разведка или разъезд, обстрелял курсантов полковой школы, никого, впрочем, не задев. Обстреляв, ускакал вглубь села.

Антошкин видел издали, как разворачиваются войска, разъединяются, растекаются вокруг села. Конница стремительно обходила Коптево с двух сторон, а пехота, молча выставив винтовки со штыками, атаковала деревню, рассыпавшись по полю, хотя оттуда доносился только лай собак, а на улицах тишина – никого не видно. Солдаты ворвались в деревню, рассыпались по дворам. Улица опустела на мгновенье, и почти тотчас же донеслись крики, визги, хлопки выстрелов. Антошкин, въезжая в Коптево, не понимал, что происходит, почему солдаты вышвыривают из изб мужиков, баб, детей. Прояснил Траскович. Он выскочил навстречу эскадрону из проулка, увидел Егора, крикнул:

– Антошкин, с эскадронном – на ту улицу! – указал он плеткой в ту сторону, откуда выскочил. – Там людей мало!

– А что происходит? – недоуменно глядел на него Егор.

– Приказ не слышал?

– Какой?

Траскович торопливо объяснил, что Шлихтер приказал немедленно окружить Коптево, чтоб ни один человек не ушел, арестовать всех жителей поголовно. Мужское население, способное носить оружие, – в тюрьму, остальных в концлагерь, произвести полную фуражировку, не оставляя ни одной овцы, ни одной курицы, а деревню сжечь.

– Выполнять, быстро! – крикнул Траскович и ускакал.

Это был, вероятно, самый страшный день в жизни Егора Антошкина. По крайней мере, когда он потом слышал слово «ад», перед ним вставал день второго сентября 1920 года, проведенный в селе Коптево... Нет, он

не помнит четко шаг за шагом, как прошел этот день. Он вспоминается, как единая картина: мечущиеся в дыму остервенелые ошалевшие люди, дикие вопли, визги детей, баб, закалываемых свиней, истошный вой недобитых собак, крики кур, гогот лошадей, хлопки выстрелов, гул и треск жарко горевших изб. Кажется, все небо потемнело, сумерки пали на землю от галок соломенного пепла. И кровь, кровь, кровь! Вот память выхватывает из глубины четкую картину: седой дед с редкой бородой, в серой, длинной, чуть ли не до колен рубахе вывернулся откуда-то из-за сарая, ловко насадил на вилы бойца Антошкина эскадрона, который, сидя на коне, чиркал спичкой у низенькой соломенной крыши избенки, насадил на вилы и зачем-то пытался выковырнуть из седла обмякшее вялое тело красноармейца, уронившего коробок со спичками на землю. Но сил выковырнуть из седла у деда не было. Другой боец почти в упор выстрелил в него, и дед выпустил из рук вилы, согнулся пополам и ткнулся седой головой в навоз рядом с коробком спичек. А вот Мишка Чиркунов, скаля зубами, весело гонит верхом на коне босого парня лет шестнадцати. Парень мелькает пятками, а Машка догонит его, сплеча огреет плеткой, приотстанет, догонит – хлестнет – приотстанет. И весело, со свистом, словно играют они в какую-то увлекательную игру. Встретил Мишку еще раз, когда уже все горело, трещало, хлопало, когда небо закрыло пеплом. Чиркун деловито командовал погрузкой имущества крестьян на подводы. Караван подвод в двести, если не больше, растянулся по дороге на Тамбов. Коптево большое село. Сотни четыре изб, три лавки было, церковь. Молча идет обоз. Лишь колеса монотонно скрипят, постукивают; вздрагивают на телегах сундуки, тугие мешки с зерном, узлы с тряпьем, кровавые тушки свиней, кур, гусей. Так, должно быть, татары возвращались с набега на Русь. А позади гудит, полыхает село, жутко вздымается над огнем черный крест церкви. Он то скрывается в дыму, то появляется вновь.

Помнится, жгучая тоска, как кол, сидела в душе Егора при виде всего этого. И самое ужасное то, что он, Егор Антошкин, участвовал в этом грабеже, резне, в этом мамаевом набеге. Какая же народная власть, если

народ изничтожает? Но все заглушает чувство неотвратимого торжества добра над злом в будущем, чувство священной законности возмездия: непременно восторжествует добро с предельной беспощадностью. Придет срок! Не может такого быть, чтоб не восторжествовало! Есть же, должна быть, на земле и праведная кара! И пусть, пусть падет она и на него. Без трепета и ужаса встретит он ее: ведь падет она заслуженно, по делам его.

Сожгли и соседние с Коптевым деревни Новосельское и Еланино. В Еланино сдался в плен без боя отряд мужиков. Только у двоих были винтовки, остальные с топорами на длинных ручках, с вилами. Шлихтер приказал расстрелять их и добавил, глядя сердито на попытавшегося возразить ему военкома:

– И впредь всех пленных расстреливать на месте! Не медля!

Антошкин видел, с какой неохотой, мрачно, сурово выстраивались красноармейцы с винтовками. О чем они думали? Может быть, о том, что, возможно, где-то так же ставят к стенке их братьев, отцов, вина которых только в том, что они не захотели умирать голодной смертью, смотреть, как пухнут с голоду их дети, не выдержали гнета, бесконечных грабежей народной власти? А крестьяне сгрудились возле стены катуха, обмазанного потрескавшейся глиной, стояли понуро, покорно ждали, что с ними будет дальше, должно быть, не веря, что их сейчас расстреляют – за что? Только трое были в сапогах, остальные в лаптях. Был среди них подросток с мягким редким золотистым пухом на остром подбородке, который он выставил, подняв голову вверх, глядел, как в сером пустом небе длинной полосой летят над деревней грачи, кричат непрерывно, тревожно и зловеще. Егор дернул поводья и поехал по улице, чтоб не видеть расстрела. Стиснув зубы, с содроганьем ожидал залпа.

Ночь пришла быстро, внезапно, кажется, не было сумерек. Как только полыхнул залп и прекратились шлепки револьверных выстрелов, так сразу стемнело, будто кто-то накинул темную шаль на деревню.

Ночевал Антошкин в просторной избе на необмолоченной просяной соломе вместе со своим сильно потрепанным, поредевшим эскадроном. Карабкался наверх по

солومه, слышал, как шуршит, сочится просо, осыпаясь. Старался лезть осторожней, хотя понимал, что завтра все сгорит. Сжималось сердце при мысли об этом: зачем, зачем сжигать добро? Сколько труда вложено! А сколько людей накормить можно. Ведь многие даже рожь не успели обмолотить. А просо, овес, чечевица и не тронуты. Но Шлихтер отступать не будет, приказал сжечь беспощадно, значит, все сгорит.

Не было этой ночью привычного храпа, только беспрерывное шуршание да вздохи. Забывался ненадолго Егор и быстро просыпался. Черно и в риге и на улице. Ни щелочки не светится. Казалось, что лежать неудобно, ворочался, устраивался по-иному. То ли под утро, то ли посреди ночи услышал шепот:

– А деда Гришку срубили за что? Он рази бандит? У него двое сынов в Красной... Я и вскрикнуть не успел, как его энто... – говоривший выругался, – шапкой сплеча и копец... Вернутся Васька с Митькой, ой, – вздох, – не скажут они нам спасибо... Ой, не скажут. Таковую бяду наделали!

– А энтих мужиков за что? – горестно зашептал второй. – Они ж ничаво. Они ж сами сдались. Ускакать могли...

– Да-а... Мамай так на Руси не бесновался!

– Куда ему до большевиков.

– И нашими руками все делают!

– Ох, Господи, Господи! – вздохнул кто-то среди слушавших. – Антихристу служим...

– Точно, Антихристу... Рази это по-божески людей земле не предавать?

– Это каво жа?

– Ты чо, не слыхал? Тех, расстрелянных-то Шлихтер приказал в избу втащить. Завтра с утра сгорят!

– Не... не будет народ терпеть. Еще одну-две деревни сожжем, и от нас народ шарахаться зачнет... Только прослышать – идем, деревнями в леса убегать будут... Подыметься, сметет нас к чертовой матери! Так и надо...

– Вы, ребята, как хочитя, – снова зашептал третий. – А я уйду! Я к Антонову уйду. У меня в Курдюмах свояк. Он к Антонову дорогу знает, проведет!



– А чо знать-та, рази Антонов всё в лесу? Вышел таперь, он от народа не отстанет. За народ поднялся, с народом и будет!

– Ребята, а чаво ждать, – загорячился первый. – Пошли щас!

– Тише ты! – шикнули на него. – Эскадронный услышит!

– Антошкин-та? Хэ, – хмыкнул горячий. – Ты не видал, как он зубами скрипнул, когда Шлихтер мужиков застрелить приказал. Я уж за шашку схватился, думал, дасть приказ – первым Шлихтеру башку снесу... Удержался он – жалко... Слышь, ребята, мож, его разбудить да всем эскадронном к Антонову, а?

– Сиди – шустёр! – осадили его.

Замолчали. Потом раздался молодой голосок молчавшего до сих пор красноармейца.

– Ребята, хотите знать, чем отличается ЦК от ЧК?

– Чем? – мрачно буркнул кто-то.

– ЦК – цыкает, а ЧК – чикает.

Смешок, фыркanye сдержанное послышалось. А молодой красноармеец, видимо, желая отвлечь от неприятного разговора, начал рассказывать анекдот:

– Собрались хирург, агроном и большевик и заспорили, что раньше появилось: хирургия, агрономия или коммунизм? Хирург говорит: Бог сделал первую операцию – из ребра Адама сделал Еву. Значит, хирургия. – Нет, возразил агроном, – первое, что сделал Бог, – это отмежевание: отделил твердь от воды! А большевик вскинулся: – Нет-нет-нет! До всего этого был хаос – значит, было царство коммунизма!

– Ну, вы если хотите болтать, болтайте, а я пошел, – решительно зашуршал соломой горячий. – Кто со мной?

Егор стих, слушал. Сердце его гулко колотилось. Тихонько скрипнула дверь. Вышло из риги несколько человек. Сколько – понять было нельзя. Мелькнула мысль – догнать, уйти с ними.

– Дождичек, – услышал шепот с улицы.

– Это хорошо, – отозвались ему. – А то озимые чахнуть.

– Вы куда? – донеслось от избы. Должно быть, часовой спросил.

– В разведку.

В риге полная тишина: ни вздохов, ни храпа, ни шуршания соломы. Наверно, никто не спал. С улицы изредка доносилось негромкое позвякивание сбруей. Седлали, взнуздывали коней. Кто-то вдруг быстро зашевелился в риге, зашуршал соломой, скатился вниз и выбежал. Вскоре стук копыт послышался, приглушенный влажной землей, пофыркивание лошадей, и все стихло.

## ПЯТАЯ ТРУБА

*И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.*

*Откр 9,3*

Долго не видел Егор Чиркуна после этого, не слышал о нем ничего. Встретились летом, в июне двадцать первого, после разгрома партизанской армии Антонова. Всю зиму Егор Антошкин провел рядом со Степанычем, был его адъютантом. Разделял радости его и сомнения. Зимой во всем Борисоглебском, в южных частях Кирсановского и Тамбовского уездов установилась власть Союза трудового крестьянства. Штаб Антонова готовил мирные указы на своей территории. В первую очередь Степаныч запретил самогоноварение и приказал строго следить за исполнением этого указа. Народ и Партизанская армия должны быть трезвыми, считал он.

Помнится, как немногословный, сдержанный Степаныч стал необычно подвижным, возбужденным, когда узнал о восстании матросов в Кронштадте, о забастовках в Петрограде и Москве: не сиделось ему, не стоялось на месте, помнится, как радостно вскидывал Антонов глаза на своего адъютанта и приговаривал: началось! Просыпается Русь! Жадно хватал свежие газеты, быстро, шурша, распахивал, вглядывался в третью страницу, где обычно печатались вести из Центра, говорил вслух с досадой:

– Что они медлят? Бери Петроград, пока рабочие на их стороне!.. Нет, сидят, языки чешут...

– А ты? Почему ты Тамбов не берешь? Почему армию не расширяешь? Мужики каждый день сотнями идут, а ты возвращаешь? – спросил его однажды Плужников, бывший при этом в избе.

– Тамбов? – глянул на него поверх газеты Антонов.  
– Кровь крестьянскую лить?

– Вот и они...

– У них другое, – персбил Антонов. – Петроград бастует. Рабочие поддерживают матросов. Выходи из Кронштадта, бери без крови. Если б Тамбов поднялся, я б не задумался...

Помнится, в конце зимы, в оттепель, кажется, это было в Паревке, подскочил к избе, где был Антонов, Богуславский, слетел с коня, взбежал на высокое крыльцо по мокрым от растаявшего снега ступеням, ввалился в горницу – шапка на боку, мокрые волосы ко лбу прилипли, полушубок нараспашку, – кинул на стол Степанычу газеты:

– Беда! И бухнулся на скамейку.

Антонов взял одну газету, спросил:

– Что за беда?

– Читай – съезд, читай!

– Что – не тяни? – бросил Степаныч.

– Ленин отменил продрозверстку. Налог...

Степаныч впился в газету, потом отбросил ее, вскочил, захохотал, ухватил за плечо недоумевающего Богуславского за полушубок, закричал:

– Мы победили! Понимаешь, мы победили!

– Как победили? – бормотнул Богуславский. – Мужики уйдут. К земле вернутся.

– А ради чего мы их подымали?! – кричал Антонов.

– Мы свое дело сделали, мы отстояли мужика!

– Так теперь что ж? Дело сделали и на погост, на распыл? У красноты это быстро.

– Погоди на погост, успеешь, – засмеялся Степаныч.

– Мы пригодимся еще мужику... Ты Ленину поверил, а я не дюже ему верю: у него в уме одно, на языке другое. Большевики, как держали мужика за горло, так и будут держать. Отпустят чуток, чтоб совсем не задохся... По-

вадки большевиков я сильно усвоил. Знаю. Вдохнет мужик глоток, а горлышко ему и сожмут снова. Так что погост пускай поскучает по тебе, без бойцов не останемся...

Но когда весной, перед севом, новый главнокомандующий войсками Тамбовской губернии Павлов издал приказ, что партизан, добровольно сдавшихся в плен в течение двух недель, не тронут, они будут помилованы, Антонов объявил по Партизанской армии, что все, кто желает сдаться властям, может идти сдаваться. Он со своей стороны чинить препятствий мужикам не будет. Земля ждет. Но если коммунисты вновь обманут народ, место в Партизанской армии найдется.

Партизанская армия поредела. Вернулся в Масловку и брат, Николай.

В то время в Тамбове не было уже ни Шлихтера, ни Райвинда, ни Трасковича. Их сменили Антонов-Овсеенко – он стал председателем Полномочной комиссии ВЦИК, Борис Васильев, во главе губчека стал Лавров. Газеты писали, что Ленин установил срок разгрома Антонова, приказал в течение месяца покончить с ним. Проходили месяцы, Ленин новый срок устанавливал, Антонов посмеивался: болтуны, и не стыдно врать перед всем народом. По-прежнему во всей южной части Тамбовской губернии власть принадлежала крестьянам. Каратели большими отрядами делали рейды по деревням. Силой назначали сельские Советы, но только красноармейцы скрывались за пригорком, как Советы добровольно самораспускались, передавали власть законно избранному комитету Союза трудового крестьянства.

В начале мая 1921 года пришло известие, что командующим войсками Тамбовской губернии назначен Тухачевский, которому Ленин тоже установил месячный срок для разгрома Партизанской армии тамбовского края. Тухачевский привел с собой закаленные в боях воинские части: пять бронсотрядов, девять артиллерийских бригад, четыре бронепоезда, два авиационных отряда – курсанты, интернациональные полки, три полка Московской дивизии ВЧК. Численность их быстро стала известна Антонову. Красноармейцев было около пятидесяти четырех тысяч против четырех тысяч партизан.

Тухачевский по прибытии в Тамбов издал приказ, который еще до публикации в газетах принесли Степанычу. Антонов читал его необычно долго: помнится, было это на хуторе неподалеку от села Верхнеценье. Степаныч сидел на деревянной ступени крыльца, на солнце, а Егор лежал неподалеку в траве в вишневом саду. Сладко, медово пахло цветущими вишнями, дремотно гудели пчелы, теплый ветерок изредка шевелил полные цветов ветки. Белые лепестки осыпались, скользили, падали в траву.

– Антошкин, – негромко позвал Степаныч.

Егор поднялся, сел, взял в руки пашку в ножнах, лежавшую рядом, глядя на Степаныча, ждал, что он скажет или прикажет.

– Смотри, – так же негромко указал на лист бумаги Антонов. – Тухач с бабами и ребятишками воевать собрался. До этого и кровожадный Шлихтер додуматься не сумел. Слушай, – стал читать вслух Степаныч приказ Тухачевского.

Егор поднялся и подошел ближе к крыльцу.

– Семьи неявившихся бандитов неукоснительно арестовывать, а имущество их конфисковывать и распределять между верными Советской власти крестьянам согласно особым инструкций Полномочной комиссии ВЦИК, высылаемых дополнительно. Арестованные семьи, если бандит не явился и не сдастся, будут пересылаться в отдаленные края РСФСР... Вот так-то, баб-ребятишек сначала в концлагерь, а потом в Сибирь, на каторгу! – Степаныч умолк, опустил голову, потом глухо спросил: – Ты, Егорыч, видел его? Каков он? А?

– Молодой, – буркнул Антошкин.

– Это ясно... Хотя, впрочем, Шлихтер не мальчик, а кровушки пролил... А вот это, – Степаныч потряс листком, – как? Не пугает? Не остановится перед бабами?

– Он на все пойдет.

– Жалко, – пробормотал Антонов и не договорил.

– Туго нам будет, Степаныч. Пятьдесят четыре тысячи у него войск, танки, самолеты...

– Самолеты, тьфу – мало мы их спшибали? Броневики – да, с пашкой на железо не попрешь, но не это меня пугает, не это... Тухач интернациональные полки при-

вел: латышей, мадьяр, китайцев, австрияков. Они мужика не пожалеют... Он им не свой брат, крошить будут и старых и малых! Тухач знает, что делает...

И не ошибся Степаныч. Через месяц, в июне, окружили, прижали его армию к Вороне неподалеку от Инжавино, пустили с трех сторон бронемашины, а за ними со свистом, гиканьем, таким, что, помнится, мурашки ходили по спине, пошла конница мадьяр, латышей, чекистов. Ни разу, даже на фронте, не участвовал в таком бою Антошкин. Сошлись, сшиблись на лугу: треск выстрелов, взвизги раненых коней, вскрики, звон, пыль, хрип. Кажется, миг один месиво кипело на лугу. Красноармейцев раза в два было больше, теснить начали к Вороне, смяли.

Степаныч следил за боем с пригорка, из-за кустов ветел. За ним в низине ждал своего часа Особый кавалерийский полк. Егор был рядом с Антоновым, видел, как горели его глаза, как вытягивался он в седле, наблюдая за тем, как теснит Тухачевский его армию. И помнится, Степаныч все время кусал травинку: откусит – выплюнет, откусит – выплюнет. А конь его мирно рвал губами траву и хрумкал, мотая головой от мух, позвякивая уздечкой. Егор с нетерпением ждал, когда он кивнет головой и кинет свое обычное перед атакой слово, наконец услышал: «Пора!» Не думал Егор, что только через год на короткое мгновение увидит живого Степаныча, не догадывался, что сам примет участие в его убийстве. Услышав, что пора атаковать, Егор ударил коня в бока, прошелеслел ветками ветел, выскочил к Особому полку, крикнул командиру: «В атаку!» И, хрустя сучьями под копытами, вернулся к Степанычу, слыша, как поет позади него командир полка:

– По-оолк! К бою! За землю Русскую! За мною!

Антонов вытянул шашку, подобрался, сжался, оглянулся коротко на трещающий кустами полк, кинул коротко:

– С Богом! Ура!

Егор заорал: «Урааа!» – и кинулся вслед за Антоновым, постепенно обходя его, туда, где клубились в пыли бойцы. Врубился с боку в конницу мадьяр, но не смяли, приостановили только на мгновенье. Этого мгновенья

хватило, чтобы антоновцы чуточку опомнились и смогли без больших потерь отступить к Вороне. В кутерьме Антошкин потерял из виду Степаныча, вместе со всеми бросился с конем в реку, плыл, озираясь, надеясь увидеть Антонова, но не было его вблизи. Выбрались на берег, поскакали под пулеметным огнем вдоль речушки, притока Вороны, прячась за низкими деревьями. Другой большой отряд антоновцев, тех, что левее переправились и были недостижимы для огня бронемашин из-за густых кустов, помчались по полю к большому селу, видневшемуся вдали. А та группа, сабель в триста, в которой был Антошкин, уйдя от огня, рысью втянулась в Коноплянку и, не сдерживая хода, затрусилась по улице, распутивая кур, купавшихся в золе возле изб. Улица была до странности пустынна: ни одного человека, ни одного лица в окне. Глухо. Если бы не куры да не собаки, мечущиеся до хрипоты на привязи, можно было бы подумать, что деревня покинута. Помнится, мелькнуло в голове: нехорошая безлюдность, подозрительная пустота. Но всех занимало одно – подальше оторваться от красноты, уйти. Выскочили на площадь, и вдруг взорвалось, затрещало, засвистело вокруг, завизжало над ухом. Улюлюканье донеслось – сбоку из переулка с устрашающим визгом выкатывался интернациональный полк. Засада! Егор рванулся в проулок между избами. Чуть не дотянул – возле самого угла избы достала пуля коня: полетел в навоз, сушившийся на земле. Грохнулся со всего маху, вскочил сгоряча, оглянулся и – за катух. Там огород. Ровное поле до самой реки. Картофельная ботва молодая, невысокая. Побежишь – пуля догонит. Упал Антошкин в ботву и пополз по борозде, быстро перебирая локтями, не слыша ни криков сзади, ни треска. Шашка мешала, цеплялась за ботву, но жалко бросать. Пригодится. Устал, остановился, тяжело дыша, вдыхая запах пыли и картофельной ботвы, нагретой солнцем. Оглянулся: не должны заметить с улицы, далеко уполз. К речке бессмысленно пробираться, прочешут после боя и возьмут. Лучше здесь отлежаться. Только подумал об этом, топот услышал. Скачет кто-то прямо к нему. Вжался в землю. Хлопали выстрелы. Слышно было, как высоко вжикали пули. Топот споткнулся, что-то тяжелое

мягко плюхнулось на землю. Конь сдержал бег, перешел на шаг и приостановился. Через минуту Егор услышал, как конь мирно рвет траву, пофыркивает. Полежал немного Антошкин, прислушиваясь, и снова выглянул из ботвы. Конь паша неподалеку, там, где кончались огороды, почти на самом берегу речки. Темнела в зелени спина человека, лежащего поперек межи. Бой в деревне закончился, слышны возбужденные голоса. Добраться до коня можно, но куда поскачешь, кругом красные. Мигом спибут. Темноты б дожждаться. Сколько лежал Егор, уткнувшись в горячую сухую землю? Час, два? В деревне угомонились, но не ушли из нее. Голоса слышны, смех. Часто звучит нерусская речь. А может быть, и часу не лежал в борозде Антошкин. Время в таких случаях останавливается. Вроде бы спокойно стало в деревне и вдруг – голоса. Спокойные, приближаются. Идут двое. Разговаривают по-русски.

– Как убили Лыска, третий конь у меня, – говорит один, – и все не к душе. Никак не подберу.

– А у меня коняка второй год служит. Бог милует.

– Лысый хорш был – черт! Я на нем через любой забор перемахвал. Убили его, как по брату плакал. А счас – дохлятина. Не разгонишь. Чувырла чертова...

Прошли мимо по меже. Не заметили.

– Глянь, не живой ли?

– Готов. Видал, прям в затылок всадили... Э-эх, Господи, пахал бы, пахал себе земельку! На стенку полезли.

– Терпежу, мож, не стало, вот и полезли... Ладно, хватит причитать, похоронят... Кось-козь-козь, стой, стой! Ах ты, конопатый!

Слышны шлепки ладонью по спине коня, позвякивание.

– Молодой, нервный... О-па! Ну-ну, танцуй, зараза! Легкий конек. Но, пошел! – веселый крик и топот приближающийся – и вдруг: – Тпру-у! Погляди-ка, лежит... – Шелест ботвы под ногами коня. Копыто вонзилось возле самого лица, обдало пылью. – Поднимайся, голу-бок!

Егор помедлил и начал подниматься, опираясь ладонями в колючие комки земли. Вялость необычная напала. Пусто было в душе, равнодушие ко всему. На рыжем



коне сидел молодой носатый парень в красноармейской фуражке. Другой подходил к ним от межи, подошел, увидел нашивки на левом рукаве Егора.

– Гля-ко, ромб у него! Важная птичка... И написано чевой-та. – Подошедший ухватил Егора за рукав, повернул к себе, прочитал по складам: – Ат-ью-тант Глав-опер-штаба... Ишь ты, атьютант, отатьютантил...

– Ты шашку у него забери, а то дочитаешься – мигом башку отсобачит.

– Да он вареный, гли-кость, обомлел со страху. – Боец сам отстегнул шашку, взял, вытянув из ножен. – Ух ты, именная! – И так же по складам прочитал надпись и глянул на сидевшего на коне. – У нашего кого-то отбил, гад!

– Моя, – хрипло буркнул Егор.

– Врешь, собака?

– Я у Тухачевского эскадрон... командовал, – выдавил глухо Антошкин.

Красногвардейцы переглянулись.

– Повели к Тухачевскому...

Вся площадь деревни завалена трупами людей, лошадей. Шли, обходя их. В горячем воздухе сладко пахло кровью. И дальше по всей улице виднелись трупы, но не так густо, как на площади, зато кровавее, почти все с рублеными ранами. Догоняли интернационалисты и крошили. Возле одной избы стояли две угловатые бронемашинны. От них густо тянуло запахом нефти. Красноармейцы сидели, лежали, стояли в тени под деревьями у каждой избы. Многие перекусывали. Тут же у плетней паслись разнузданные, но не расседланные кони. Егора подвели к добротной чистой избе, крытой железом, – пятистенок. На крыльце сидели три красноармейца, по виду не рядовые, и тихо переговаривались. Один из них – чубатый, с перетянутой крест-накрест грудью новенькими ремнями, спичкой чистил зубы, лениво разглядывая подходивших Антошкина с конвоирами. Возле соседней избы, у самой стены с осыпавшейся местами глиной так, что видны серые потрескавшиеся бревна, в тенечке, на спине убитого антоновца сидел худой и, судя по высоко выставленным вверх острым коленям, длинный желтоволосый красноармеец с узким нерусским ли-

цом: то ли австрияк, то ли мадьяр, а может быть, латыш, сидел на трупе, словно на бревне, и пил яйца, белевшие в его зеленой фуражке рядом с ним. Выпив, отбрасывал скорлупу, тянулся спокойно за очередным яйцом, стучал им о пряжку пояса, осторожно расколупывал и, запрокидывая голову, присасывался ненадолго к яйцу. А из избы, на крыльце которой отдыхали командиры, доносились какие-то скрипуче-тягучие звуки. Должно быть, там кто-то играл на скрипке.

– Куда вы его? – лениво спросил у конвоиров Егора чубатый командир, тот, который ковырялся спичкой в зубах.

– Говорит, эскадрон у Тухачевского командовал.

– Ну-у! Может быть, он его племянник... – усмехнулся чубатый и далеко выплюнул спичку.

– Именная шапка у него, – протянул боец чубатому клинок.

Тот вытянул из ножен лезвие наполовину, прочитал.

– Шлепнули бы его на месте, и весь сказ... Не любит ОН, когда ЕГО после обеда беспокоят... – Чубатый внимательно посмотрел на Егора, решая, как быть, но, вероятно, не решился взять на себя ответственность за расстрел, поднялся лениво, надел фуражку на свою пышноволосую голову и бросил коротко Антошкину: – Пошли!

Он двинулся вперед в сени. Один из конвоиров, тот, что был пешим, взял за локоть Егора и, подталкивая, повел в избу следом за чубатым. В избе, в горнице, у кровати, застеленной чистым одеялом, стоял крепкий мужчина в военной форме, гладкощекий, ухоженный, сытый и, полуприкрыв глаза, играл на скрипке, прижимаясь к ней щекой. Егор узнал Тухачевского только тогда, когда тот, услышав, что в избу вошли, открыл свои большие навывкате глаза и недовольно поднял голову, не снимая скрипки с плеча. Он ее так и не снял за все время короткого разговора. Звук оборвался резко, скрипуче, раздраженно.

– Товарищ главком, у пленного шашка именная. Говорит – вы награждали, – как-то слишком предупредительно и заискивающе проговорил чубатый.

Тухачевский молча перевел хмурые коровьи глаза на Егора и, не меняя раздраженного выражения сытого лица, бросил:

– Расстрелять!

И вновь прижался сытой щекой к скрипке, потянувшись смычком к струнам.

Конвоир, продолжавший держать Егора за локоть, резко потянул Антошкина к двери, но Егор неожиданно для себя рванулся, выдернул руку и заорал:

– Кого?! Меня расстрелять?

Конвоир крепко, как канатом, обхватил его сзади, удерживая, а чубатый выхватил револьвер и направил его в грудь Антошкина.

Тухачевский недотянулся смычком до струн, кинул, недовольно морщась:

– Тебя, тебя!

– За что? За то, что я за правду народную встал?

Конвоир пытался вытянуть Егора из избы, но сил не хватало. Антошкин упирался, кричал, а чубатый больно тыкал ему револьвером в грудь.

– Нет, – ответил громко, но спокойно Тухачевский. Он, видно, очень старался, чтоб не раздражиться сильно, не испортить себе настроения, – за то, что против правды поднялся. Много правд не бывает – она одна.

– Да! Одна, одна! Народная! – орал, сопротивляясь Егор.

– Да-да! – нетерпеливо и быстро выкрикнул Тухачевский. – И мы определим, и скажем народу, какая у него должна быть правда... Уведите!

Конвоир и чубатый поволокли Антошкина в сени, зажимая ему горло. Он извивался, дергался в их руках, хрипел, кричал Тухачевскому:

– Ты враг... враг народа!.. Захлебнешься... мужицкой кровью! Придет час... своей за нее заплатишь...

В сенях чубатый и конвоир церемониться с ним перестали. Чубатый врезал ему револьвером по голове и пинком толкнул к двери. Но и Егор в сенях не сопротивлялся. Его выволокли на крыльцо и пустили с маху по

ступеням. Он шмякнулся на землю и быстро вскочил, опасаясь, что будут бить ногами. Конвоир соскочил вслед за ним вниз и подтолкнул:

– Пошли к стенке!

К конвоюру подключился второй, поджидавший на улице. Они подхватили Егора под руки и поволокли к соседней избе, где по-прежнему на трупе мужика сидел узколицый боец интернационального полка и равнодушными глазами смотрел на происходящее у крыльца. Когда Егора поволокли в его сторону, он подтянул по траве поближе к себе фуражку с яйцами. Из избы снова донеслись тягучие звуки скрипки.

– Подальше оттащите! – крикнул чубатый конвоирам. – Вонять под носом будет!

Красноармейцы быстро повели Антошкина мимо избы с облупленной стеной.

– Связались на свою шею, мать твою так, эдак и разэдак! – матерился один из них. – Нет шлепнуть в огороде! Таскайся с падлой...

– Э-э, ребята! Стойте-ка... Кого это вы волокете! – остановил их возглас.

Голос показался Егору знакомым. Он поднял голову и увидел Мишку Чиркуна. Он неторопливо шагал к ним от группы красноармейцев, сидевших на земле под пышным вязом.

– Шлепнуть приказали.

– Погодите, – глядел Мишка на Егора, глаза Чиркуна сузились. – Ах, ты сука! – выкрикнул он и схватился за кобуру маузера, болтавшуюся на бедре, но тут же выпустил ее, почти не размахиваясь, ударил Егора в челюсть.

Конвоиры отпустили Антошкина в этот момент, и он грохнулся в пыль навзничь. Мишка кинулся на него коршуном и два раза ударил сапогом по ребрам, вскрикивая:

– Знал, знал, попадешься!.. Говорил я те, сука, а? – Чиркун быстро наклонился к Егору, поднял за грудки.

– Шлепни ты его, чего нервы мотаешь, – посоветовал Мишке один из конвоиров.

– Нет, я потешусь сначала, – скрипел зубами Чиркун. – Должник он мой!

Кровь текла изо рта Егора, щекотала подбородок, капала на грудь, на гимнастерку. Мишка поставил Егора на ноги, вытащил маузер:

– Я сам с ним расправлюсь... Иди! – резко ударил он Антошкина в спину так, что голова Егора мотнулась.

– Не-е, силен! – крикнул недовольно один из конвоиров, тот, что водил к Тухачевскому. – Сапоги мои...

– Сымай сапоги! – ткнул в спину маузером Мишка.

Егор опустился в теплую пыль на дороге, медленно стал стягивать один за другим сапоги. Снял, кинул рядом с собой на дорогу. Один сапог, падая, зачерпнул голенищем пыль. Конвоир пнул ногой в спину, беззлобно буркнув:

– Ну-ну, подать нельзя!

Подниматься Егору не хотелось. Ни чувств, ни мыслей в голове. Одна тоска. Даже боли от пинков и ударов не ощущал. Обезволился совсем. Мишка поднял его за шиворот, и Антошкин побрел впереди, не замечая ничего вокруг: ни красноармейцев, отдохавших возле изб; ни лошадей, помахивающих хвостами у плетней; ни полдневной июньской жары. Помнится, привело его в чувство воспоминание о детстве, вернее, дорожная пыль навела его на воспоминания, и после этого он стал приходить в себя.

Пыль под ногами горячая, сыпучая, как пудра, щекотала пальцы, просачивалась между ними, когда он ступал на дорогу. И вспомнилось, как он мальчишкой в летнюю жару бегал по пыли, забавлялся. Подумалось, что не видеть ему больше Масловки, не ходить по ее улицам. Как будет убиваться мать, когда узнает о его смерти! Стало жалко мать, себя. И вместе с жалостью стали возвращаться силы, жажда жизни. Егор начал озираться исподлобья по сторонам. Они выходили из деревни. Красноармейцы провожали их скучающими взглядами. Егор оглянулся. Мишка шел в трех шагах позади с маузером в руке.

– Иди, иди! – прикрикнул он. – Давай к речке поворачивай!

Бежать? И двух шагов не сделаешь – уложит. Зверь! Знал бы – шлепнул паскуду в Есипово. Пожалел, болван! Но тут же мелькнуло – не Мишка, так другие разделались

бы с ним давно. Они подошли к речке, спустились в овражек, с дном, поросшим бурьяном. Кровавыми бутонами цвел татарник; густо, шапкой, стояла крапива; тянулся вверх пустырник. Шмель, большой, полосатый, деловито жужжал, перелетая с цветка на цветок татарника. Противоположный край овражка крутой, но не высокий. На аршин поднимается вверх глинистый берег.

– Скидавай гимнастерку, быстро! – приказал Мишка.

Они были вдвоем в овражке. Деревни не видно. Но Чиркун держался осторожно, поодаль. Кинешься – ухлопает. И Егор стал неторопливо стаскивать гимнастерку. Спешить некуда. В голове лихорадочно вертелось: снять, кинуть в лицо Мишке, броситься самому на него иль в речку. Но речушка так себе, ручеек. Ни кустика на берегу, не скроешься от прицельного огня. Глаза шарили по осыпи, в глине, искали камень. Одна глина под ногами.

– И исподним в Красной армии не брезгают? – усмехнулся ехидно Антошкин, стараясь оттянуть время.

– Сымай, – качнул маузером Мишка.

Егор снял нижнюю рубашку, кинул в сторону Чиркуна, выпрямился.

– Носи, гад! Мож, тебя мои вши заедят... – увидел, что Мишка поднял маузер и стал целиться в него, заорал, выставляя голую грудь: – Стреляй, гад, стреляй!

И шагнул к Мишке. Чиркун выстрелил. Егор почувствовал слабый удар в плечо, толчок, приостановился. Кровь быстро хлынула ему на грудь из маленькой ранки. А Мишка стрелял, но почему-то вверх и что-то кричал ему. Оглушенный Егор не понимал, почему Мишка кричит ему:

– Ложись, ложись, говорю!

Егор послушно сел на землю. Плечо онемело. Левой рукой шевельнуть нельзя. Чиркун суетливо сунул маузер в кобуру, схватил исподнюю рубаху Егора, с треском разодрал ее, оторвал кусок, опустился на колени рядом с сидящим Антошкиным и стал перевязывать рану, приговаривая:

– Навылет прошла... Ладно получилось. Я боялся кость задеть. Мясо зарастет... Не дергайся, терпи, не на том свете, поживешь еще...

Егор не чувствовал, что слезы текут по его щекам, капают на грудь, смешиваются с кровью.

Обмотал, затянул плечо Чиркун, подтолкнул к бурьяну:

– Лезь туда, да поскорей... И не высовывайся. Наши кругом. Быстро пришьют... Я мигом. Лежи!

Егор лежал в колючем бурьяне. Мутило, туманилось в голове. Руку выворачивало, дергало. Казалось, что Мишка слишком сильно ее затянул, хотелось расслабить, но каждое движение вызывало боль до потемнения в голове. И колючки татарника царапали, впивались в голую спину. Торопливые шаги донеслись, голос Мишки:

– Вылазь!

Егор, охая, выполз. Чиркун принес красноармейскую гимнастерку, обмотки. Помог одеться и повел вдоль речки, обходя задом избу, где был Тухачевский. Предупредил его по пути, что Егор – боец его эскадрона. Они по меже вышли к избе, возле которой сидели, лежали раненые красноармейцы. Большинство в свежих белых бинтах. Мишка исчез за пыльными кустами сирени, а Егор опустился на траву. Ноги не держали.

– Шашкой рубанули? – спросил у него молодой скуластый боец с забинтованной головой.

– Пуля, – вяло шевельнул спекшимися губами Егор.

– А меня шашкой, – скорбно приговорил скуластый боец. – Клочок кожи прям с волосьями снесли. Дерет, зараза!.. Это хорошо еще... Чудока бы и копец: ставь, мама, свечку... Я вроде в пекло не лез, а вот... Ты на площади был, а? – парень оглянулся и стла говорить тише, сверкая глазами и покачивая забинтованной головой: – Ох, и накрошили там мужика, сплошняком площадь завалили... Латыши – звери! Ох, люты! Не дай Бог!..

– Егор, – позвал Мишка, появляясь возле куста.

Врач обработал рану, перевязал, забинтовал. Чиркун отвел Антошкина в плохонькую низкую избенку с земляным полом, где жил дед, древний, высохший, со впалыми щеками, с редкой бороденкой, позеленевшей от старости. Дверь в сени и избу открыта. В избе, в соломе на полу, копалась белая грязная курица. Она не

обратила внимания на вошедших, продолжала разгребать растоптанную солому и клевать что-то. Дед тяжело поднялся с деревянной кровати, вернее, с топчана, доски которого застелены лохмотьями.

– Детки, у меня исть самому неча, – развел он длинными худыми руками и махнул в сторону курицы: – Киш, киш отсель!.. Давно уж не несется. Одногодки мы с ней...

– Нам жрать не надо, – сказал Мишка. – Не тронем мы твою курицу. Полежит маненько у тя ранетый. А я щас вернусь.

Егор долго лежал на полу, безмолвно прислушиваясь, как шуршит соломой дед, еле передвигаясь негнуцимися ногами, кряхтит, бормочет:

– Мне помирать нада, а Бог молодых прибирает. Эх-хе-хе!.. Одни власть берут, другие за них кровь льют. Ох ты, Господи, Господи: хрестьян за что же Ты наказуешь?..

Вернулся Мишка, когда темнеть стало. Он прискакал на коне, вошел в избу довольный, сунул Егору бумажку:

– Читай...

Антошкин прочитал, плохо соображая, что написано. Понял только, что его как раненого красноармейца отпускают домой на поправку. И следовать он должен в Масловку, к месту своего проживания.

– Вот твой коняка, – вывел Чиркун Егора на улицу. – Садись, выезжай на Кирсановский тракт и дуй до Масловки. Завтра дома будешь... Наши встретят – бумажку покажешь, твои – они тебя узнают, небось... Доберешься! И помни Чиркуна, долги он всегда платит...

**АЛЕШКИН** Петр Федорович родился в 1949 году в деревне Масловка Тамбовской области. Закончил Тамбовский педагогический институт и сценарный факультет ВГИКа. Член СП СССР. Автор нескольких прозаических книг. Живет в Москве.



# СТИХИ ИЗ РОССИИ

Михаил Поздняев

## СТИХИ О ПОЧВЕ

1.

Потому что свободен свободен  
и еще десять раз повторю  
что свободен и Образ Господень  
на челе воспаленном творю  
на груди на плечах... заклинаю  
дай успеть... пред очами черно...

и повинную выю склоняю  
под сладчайшее это ярмо

2.

И как сказано выше,  
Он плюнул на землю, и от плюновения брение  
сотворил,  
и коснулся перстами моих роговиц  
закосневших – и в свете распахнутом куст  
обозначился  
в золотом оперении,  
в предстоянии стражников, жен-мироносиц,  
и старцев, и отроковиц.

И за ними – в июньских сумерках  
проступили, как в проявителе,  
белый сеятель, и под парусом белым пловец,  
и еще рыбаки, виноградари и строители,  
и пастух, ведущий в горы своих овец.

Но все это – размыто, неясно, не в фокусе было,  
слезами иль маревом застлано,  
и к купели бессильное тело мое подвели,

и омылось оно,  
убелилось,  
и было распластано,  
и узрел я лицо оскверненной мною земли...

И ко мне всех ближе стояла ты,  
и мой брат, и седые родители.  
И пора было встать наконец с земли и нести ответ,  
и когда изо тьмы спросили меня: «Что видели?» –  
я ответил ничтоже сумняшеся: «Божий свет».

3.

Тетя Оля и дядя Володя,  
люди добрые, в некоем роде –  
страстотерпцы, поскольку хватили  
полной чашею лиха и с детства знакомы с трудом,  
эти люди меня приютили,  
впустили в свой дом.

Между тем у Володи и Оли  
трое младшеньких учатся в школе:  
я учу их читать по складам,  
трое старшеньких – по городам,  
но по праздникам и выходным  
наезжают.

«Ох и худо ж нам было с Володей одним, –  
говорит тетя Оля на огороде:  
я и дядя Володя копаем, а младшие следом  
сажают. –

Без тебя, – говорит тетя Оля, –  
мы с Володею в поле  
кое-как управлялись, а на огород  
из соседей кого приглашали...  
А с тобою – другой оборот!..»

Про себя я зову  
тетю Олю в коричневой шали  
и Володю в бушлате зеленом

ВЛАДИМИР И ОЛЬГА –  
вспоминая святых древнерусских князей,  
и мне как-то неловко,  
когда кто-нибудь из соседей-друзей  
называют их «Улька» и «Вовка».

Им, однако, нисколько  
не обидно: изба – не музей  
и не четъи-минеи, да и сыновей  
вроде меньше... и все-таки я – да простит  
Улька с Вовкой вдвоем – посреди огорода  
вижу явственно: се князь Владимир стоит  
и пресветлая Ольга княгиня стоит  
на виду у честного народа.

4.

Человек, у которого все позади, с человеком,  
у которого все впереди, на груди –  
он стоит среди булочной с выбитым чеком  
в конце очереди. Посуди,

каково ему в эту минуту, когда,  
пред лицом продавщицы по имени Света  
все алчбы и обиды его отступили куда-то туда,  
далеко, далеко, где когда еще надобно будет  
предстать для ответа.

Это там все зачтется и вменится в вину –  
человеку, по счастью или несчастью, в нашем мире,  
расчетливом и нелепом,  
испытавшему все, даже атомную, между прочим,  
войну,  
чтобы нынче пристроиться наконец к этой очереди  
за хлебом.

Да, не хлебом единым – и все-таки, знаешь, моя  
любовь,  
я так часто нас вижу не в бурных житейских волнах,  
но в пустыне,

среди тех пяти с лишним тысяч, насытившихся  
от пяти хлебов,  
да и то, говорят, еще крошек осталось  
двенадцать корзиночек полных.  
Да, «двенадцать копниц исполнь избытки укрух» –  
и когда  
оно было, подумай! а все это брашно не тает.  
Знать, воистину, ежели сели за стол господа –  
то и псам кое-что от трапезу их перепадает.

Так и вижу, как черствые эти крохи  
над толпою плывут – как будто круги  
по воде расходятся – и, по цепочке передвая,  
замыкаются на них пальцы то одной, то другой  
руки...

А внизу, как на дне, виднеются  
то граница великой империи, то кривая черта  
оседлости,  
то околица деревенская, то позиция передовая.

Битый, тертый, пуганый, стреляный, облученный –  
кто посмеет здесь осудить его и простить? –  
Се стоит человек в конце очереди,  
обреченный  
так стоять до поры, когда будет не страшно на землю  
чадо свое опустить...

И покуда еще красота этот мир спасает  
иль по крайней мере способна его спасти –  
человек, у которого все впереди,  
ничего не боясь, засыпает  
на груди человека, у которого все позади.

5.

И вспомнил Варлама Шаламова я,  
как враскачку он шел по Тверской,  
руки за спину круто заламывая,  
макинтош то и дело запахивая  
и авоськой плетеной помахивая  
с замороженной насмерть треской.

С того раза, когда предо мною возник  
сей Летучий Голландец в людской толчее,  
с боку на бок со скрипом кренясь,  
отчего-то все время являлся он мне  
в тот же час и на месте одном –  
где стоят Моссовет и на мерине князь  
и табачный киоск на углу.

Что я видел: качаемый ветром тростник  
иль сошедшую с места скалу?

Это после уже, по прошествии лет,  
он прошел – и приятель спросил:

«Знаешь – кто?»

...и я долго глядел ему вслед –  
как он шел по Тверской и мотал головой,  
будто лошадь по шею в траве луговой,  
на исходе немислимых сил...

На винтах, на шарнирах, на слове честном,  
на пределе, на грани сознания и тьмы,  
и мычит, и клекочет орлом, и хрустит,  
и хрустит, как кустарник в костре...

Что я видел, скажите? Что видели мы?

Воскрешение Лазаря? Дантову тень?

Что нам явлено было? Бог весть.

И теперь – стоит мне перед сном произнести:

«Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит» –  
говорю, и не вем отчего

вспоминаю тот солнечный день – и его,  
и – о ужас кромешный. И стыд.

6.

Эта, с которой меня хотели сравнять,  
дабы смешать и заживо погребсти,  
трижды перепахать, асфальтом залить  
и замостить, а там – трава не расти;

эта, по коей востром меня несло,  
будто перекасти-поля пыльный клубок,  
а между тем вражье семя на ней росло,  
корни пуская в нее глубоко, глубоко;  
эта, где места чужого не занимал  
и не особенно ратовал за свое,  
зная – чего никому бы не пожелал –  
как ее мало надо на все про все;

эта, в которую я тебя опустил,  
ангел залетный, мальчик мой золотой,  
и на коленях стоя ее простил,  
с низменною, земною ее тцетой...  
О, как хотел бы я рассказать о ней,  
той, из которой вылепил меня Бог, –  
я, не имущий родины и корней,  
в чем уличить меня взялся чертополох;

О, как хотел бы я написать о той –  
нет, не носимой в ладанке на шнурке –  
в сердце стучащей, сочащейся из-под ногтей,  
горбящей спину и вязнущей на языке.

Гордый Антей, очертивший себя штыком,  
в землю ушедший по грудь, зубами скрипя,  
тычущий пальцем во все, что растет кругом, –  
о, как мне стыдно и о, как мне жаль тебя!

Ибо лишь втайне и молча и всех любя  
и лишь себя одного обвиняя во всем –  
вынесем крест сей и, попусту не скорбя,  
сами спасемся – и землю свою спасем.

ПОЗДНЯЕВ Михаил родился 1 февраля 1953 года в Москве. По образованию учитель-словесник. Стихи печатаются с 1975 года. Автор книги стихов «Белый тополь» («Советский писатель», 1984) и книги эссе «Дом Пушкина» («Знание», 1987). Выступает также с критическими и публицистическими статьями. Обозреватель по гуманитарным проблемам еженедельника «Семья».

*БЕСЫ, или К ВОПРОСУ О ПОГРОМАХ*

*«...Что же касается распространяемых слухов о погромах, то конкретных данных об их обоснованности не имеется...»*

*«Комитет государственной безопасности СССР... не проходит мимо»*

*«В Комитете государственной безопасности СССР» («Правда», 10 февраля 1990 года)*

Не глушите водку в печали,  
Не бросайтесь на амбразуры, –  
Допускает Главлит к печати  
Не допущенное цензурой...  
В либералы подались чохом,  
Как грачи за червями – к пашне...  
Ну, скажите: поди-ка плохо!  
Ну, ответьте: неужто страшно?  
И почти что свободна пресса,  
И шагаем почти что гордо!  
Но толпой обступили бесы,  
Тянут пальцы кривые к горлу!  
Извиваясь, хохочут пьяно  
И заходятся в сладострастьи  
Эти выкормыши лубянок –  
Часовые партийной власти.  
Перед бойней, как перед баней:  
«Всем – в затылок!» И – тыща к тыще...  
А кремлевские ваши байки  
О свободе – раздайте нищим!  
И, в державных сойдясь хором,  
«Подбивают» на пули смету  
Сам Министр от Оборонны  
с Председателем Комитета.  
Бесы, бесы!.. На черных «волгах»,  
В редколлегиях, в залах съездов...  
И живется им, бесам, вольно, –

По-марксистски живется бесам!  
По стаканчику – свежей крови!  
(Дышат луком и перегаром...)  
...А в обещанном нам погроме  
Призрак Бабьего – виден – Яра...  
Не остывших еще Треблинок  
И полуночной боли в сердце,  
Желтых звезд на усталых спинах,  
Ржавых горок горшочков детских...  
...Эшелоны гони, эпоха!  
И штыки примыкайте, стражи...  
Ну, скажите: поди-ка плохо!  
Ну, ответьте: неужто страшно?..

*11 февраля 1990 года*

### *ПЕСЕНКА О ВЕЧНОЙ ПРАЧКЕ*

Не все векселя оплачены,  
В ломбарде лежит залог...  
Истории – Вечной Прачке –  
Не справиться нынче в срок.  
За паром и пеной мыльной  
Не слышен ей зов трубы...  
И белые ее крылья,  
Как руки, теперь грубы!  
Каким дураком положен  
Ей столь непосильный труд?  
Ей с каждой войны одежи  
Своих и чужих несут.  
И трутся на старой терке,  
Варятся в аду печей  
Солдатские гимнастерки  
И смокинги палачей.  
И лампочка светит желто...  
Ей стирка – как бой бойцу,  
Но ворох белья чужого  
Никак не идет к концу.  
И в вечном чаду подвала  
Седеют ее виски.



...А в городе генералы  
Выстраивают полки.  
А маршалы жаждут бойни  
И новой войной грозят...  
Да только вот пятна крови  
Ничем отстирать нельзя!  
И некуда с ними деться,  
И не на кого пенять...  
Ни нищим, ни самодержцам  
Их платий не поменять!  
А в пятнах – ни на параде,  
Ни с просьбой к имущим власть...  
И только на маскараде  
Не очень заметна грязь!  
Под масками лица спрячем,  
На головы встанем с ног...  
...Истории – Вечной Прачке –  
Не справиться нынче в срок...

1989

### ВАРАВВА

Нет, не к Богу – я взываю к праву!  
Припадаю к Цезаря стопам.  
Я – старик по имени Варавва,  
На съеденье брошенный векам, –  
Не делил со стражниками платий  
И с толпою крови не алкал,  
И проклятье мира – на Пилате:  
Кровь Его я с рук не отмывал...  
Но скрипят евангелистов перья,  
Славя имя светлое Его...  
И всего-то было – что неверье,  
Было слово – больше ничего.  
С л о в о , не имеющее веса,  
Дуновенье ветра, птичий шелк!  
Отчего ж во Царствии Небесном  
Тот, другой, оправдан и прощен?  
Нет, не Богу, а суду – на милость:  
Тот, другой, разбойник был и вор!

Все ли по Писанию свершилось?  
Отмените, судьи, приговор!  
...Но трещат и рушатся основы,  
Но летит к чертям земная твердь...  
Я, спасенье выкупивший словом,  
Был свободой обречен на смерть.

1989

К \*\*\*

Мерно катит возок, и, считая столбы верстовые,  
Проклинает возница на козлах судьбу и страну...  
Ошалело косятся на снежную гладь пристяжные,  
Роют наст и на серую накипь роняют слюну.  
Но на то ведь конями и были задуманы кони,  
Чтобы – в ночь, в бездорожье, где пот застилает  
глаза...  
Впрочем, кони как кони: мечтают о сне и покое,  
И о яслях, в которые конюх засыплет овса.  
А возница на то и возница: он больше – вожжами...  
(Ну, в его ли лета за неделей неделю – в пути!)  
Он жалеет коней. Он и сам бы не против, пожалуй,  
В придорожном трактире стаканчик-другой  
пропустить.  
...А в возке задремала, к груди прижимая икону  
(Ой, лихие края, где чахотка и голод, и вши!),  
Не вдова, не невеста... Торопятся рыжие кони!  
И еще – флердоранж. И эпоха расправу вершит!..  
Ах, девчонка! Ах, Дева Мария, приснится ж такое!  
Будто век миновал, будто вновь на завьюженный  
тракт,  
В дым махорки и брань, под веселые руки конвоя, –  
Серых женщин – числом в восемьсот – повели на  
этап.  
Но под ношей жестокой не гнулись упрямые плечи!  
(Ликовали собаки, вошедшие в сладостный раж!)  
Вас одела эпоха в казенный наряд подвенечный,  
И еще: номеров, номеров, номеров – флердоранж.



На дуэли, на войне ли или так –  
За надежду, за свободу, за страну...  
В кандалах или в искусственных венках...  
Помолись за них, как отходить ко сну!  
...Жизнь сводила со страной, да не свела.  
Электричка, ну-ка двери отвори!  
Дым Отечества. Снег Царского Села.  
И свеча, что перед образом горит...

*2. 19 октября 1989 года*

Отчизна! Величие цели,  
И горечь октябрьской поры...  
Но третью неделю в Лицее  
Шуруют всюю маляры...  
Все кончено. Глупо и просто!  
С грязцою мешается снег...  
Не пулей, не словом – известкой  
Сполна позабавился век!  
Которых – свезет на лафете,  
Которых – ударом кайла...  
А в пристанционном буфете  
Буфетчица Вера жила.  
Там в такт громыхала посуда,  
Там вслед прозвенят провода...  
Придут поезда ниоткуда,  
Уйдут поезда никуда...  
Как в сорок – дай памяти! – первом  
Отец – в подмосковных снегах...  
И свечечкой девочка Вера  
Сгорела в недобрых руках.  
Ах, той же осеннею стужей  
Все билась, как по ветру флаг,  
Когда ее первого мужа  
Шутя убаюкал Дальлаг!  
Второй же в охотку со вкусом  
Пивал самогон под «Казбек»  
И помер под праздник от рака  
В палате на семь человек...

И пивом по кружкам в буфете  
Жилье утекло и бытъе...  
И лишь нерожденные дети  
Во сне утешали ее.  
...Зеленый огонь светофорный  
Горит Вифлеемской звездой.  
Но вонь рукомойки и хлорки  
Въедается в поры бедой.  
Труби же, октябрь, поверку  
(По веку гремят имена!),  
Но тихую девочку Веру  
Не надо, не трогай, страна...  
...Останется грязная мелочь,  
Халатик и тени для век...  
Но только вот этою мерой  
Измеряет каждого век.  
Стираются с ценников цены,  
На стойке – гора шелухи...  
И в как его... в этом... в Лицее –  
Не пишутся нынче стихи.

*1989*

ГЕЛЕЙН Алексей Игоревич родился в 1964 году в Москве. В 1986 году окончил режиссерское отделение ВГИКа. Член Союза кинематографистов СССР. Режиссер (и автор песен) видеофильма «Репетиция», рассказывающего об апрельской трагедии 1989 года в Тбилиси.

*МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД*

О России, которую я люблю  
только из окна вагона,  
только особой железнодорожной любовью...  
Мне мерещится будничным, полусонным,  
легко обозримый город где-то около Подмосковья.

Понимаете, маленький русский город,  
отобранный у церквей и церквушек,  
что давно перестроены в склады для всякого хлама.  
Город сторбленных траурно-черных старушек,  
что как мыши снуют по ступенькам последнего  
храма.

Мир, где цыгане пахнут нечистой силой,  
а кавказцы считаются иностранцами,  
а на стенах унылой  
обшарпанной станции  
висят объявления о найме.

Город многоэтажных улиц,  
где домишки похожи на арестантов,  
что на вокзальном перроне по команде присели  
на корточки,  
для того чтоб конвою было удобней их  
пересчитывать.

Город прохожих неинтересных,  
как бы без признаков пола и вообще без начинки.  
Город, сосущий соки из деревень окрестных  
и ничего не умеющий, кроме как поскандальить  
на рынке.

Понимаете, маленький, жвачный город,  
что на каждом шагу угощается квасом,  
семечки луцит и утоляет голод  
пирожками с так называемым мясом.

Город мелких покупок.  
Город копеечных трат.  
Город низких зарплат.

Город, в себя погруженный  
и в себе потерявший имя свое.  
Город, чужой  
для собственного прошлого.  
Город с маленькими заводами,  
заляпанными сажой и ржой.

Город с маленькими ночлежками, похожими на  
вырезвители.  
Карманный город, что по карману любому бродяге.  
Город фальшивых праздников, где слушают хмурые  
зрители  
оплешивевших соловьев, что с трибуны свистят  
по бумаге.

И это Россия,  
уже не способная держать и давить,  
но еще способная лгать о своем величии.

Это – Россия, которую я ненавижу  
при физической близости только за то,  
что она в это время рассказывает анекдоты.

Россия, от которой я прячусь  
в городе необозримом,  
где племена смешались и кровь потеряла запах...

Не осталось во мне ничего русского,  
кроме тусклях словес на бумажках казенных...  
Я не знаю, зачем мне мерещится маленький город...

Закрываю глаза – и наплывает видение.  
И отчаяние – будто я проклят навски...  
И в сиротском своем испуге  
Я шепчу в темноту, я кричу в темноту: – Поднимите  
мне вси!

30.08.87

## ГОРОДСКОЙ СУМАСШЕДШИЙ

Вотще живет безумец городской.  
А все равно он весел день-деньской,  
точней сказать – смешлив. Его уста  
растянуты всегда улыбкой ровной –  
бредет он мимо паперти церковной  
или стоит на пристани, крестясь  
на мачты с убранными парусами.

И он смеется как бы невпопад,  
куда бы он, смеясь, ни бросил взгляд –  
на пьяницу или на офицера,  
на церковь, на трактир или на склад..  
И ведь на все он смотрит, как химера,  
глазами тусклыми, в которых сны  
смеркаются, – а все-таки смеется...

И ведь, смеясь, уродец не кичится,  
не осуждает и не одобряет.  
Увы! Он как бы удостоверяет  
отсутствие какого-либо смысла  
и в плясунах канатных, и в купцах,  
и в храмах, и в лачугах, и в дворцах...  
Все суета сует. Все канет в бездну.

Все тленно... Да! Но разве все смешно?  
И что взамен предложит он? На нем  
лохмотьев смрад. Он в шалаше ночует  
за городом. А днем – а день за днем! –  
по улицам он бродит и воюет  
с задиристыми псами и лепешки  
на рынке у старух-лотошниц клянчит.

Зачем, Господь, Ты превознес бродягу  
и отнял у него священный трепет,  
и допустил, чтоб явлена была  
для этих глаз великой бездны мгла?  
Его протухший взор боль истин стерпит  
любых... Зачем последней нищете  
Ты предоставил право – видеть больше?



И почему опять в толпе людской  
нашел меня безумец городской?  
Вот он вместо приветствия смеется,  
а в этот миг над нами стая вьется  
стрижей... А что, если когда-нибудь  
и я осмелюсь знанья зачерпнуть  
из мглы за гранью заповедей вещей?

Нет, не сегодня... Но когда-нибудь  
я приобщусь... Не дай мне, Боже! Буду  
ответствовать улыбкою любви  
его улыбке, жадной и безумной...  
Вот он опять среди толкучки шумной  
глядел в глаза глубокие мои  
незоркими глазами крысы трюмной...

Вот как всегда смеется он... И мне  
сквозь этот смех мерещится, что известь  
и глина, что скрепляет кладку мира,  
теряют вязкость, превращаясь в пыль,  
и что во всех слоях эфира – гниль  
и город мой способен выпасть в дыры,  
в прорехи обветшалого пространства.

25.03.88

### *ДЕВОЧКА ИЗ ДЕРЕВНИ*

На вратах городских – общежитие заводское,  
славный терем такой, однополый,  
будто бы улей, где особы только женские,  
в основном – деревенские.  
Туда каждым летом, покончив со школой,  
прибывают все новые девочки деревенские.

Есть среди них разные –  
и те, что скрываются там от родительской  
склочности,  
и те, что вселяются с благословленьями мамиными  
и привозят с собой, как свидетельства непорочности,  
подушки пуховые с наволочками накрахмаленными.

Но они забывают так быстро исходные все различия  
И это их безразличие так зорко воспринимает  
новоприбывшая девочка с комплексами  
дочерними –  
за вечерними посиделками, когда она вынимает  
из своих чемоданов тусклые банки с вареньями.

Ей страшно оставить пятнышко на скатерке.  
И в каждой обмолвке, и в каждой ее оговорке  
дышат экзамены выпускные.

И еще не забылись подробности фотосинтеза,  
и еще вспоминается из географии что-то там,  
и в душе послевкусье бумажного силоса  
все никак не смешается с горечью первого опыта.

Нужно вылечить душу от всех неопрятных  
школьных болячек хронического ученичества,  
новый счет начать без корней квадратных,  
четырьмя только действиями ограничиться.

Нужно начать с нуля.  
Нужно начать... А куда  
пусть будут прокляты школьные учителя,  
эти зануды,  
ни единого слова которых нельзя повторить  
в компании!

Дамы и господа! Обратите внимание,  
как вечерами скучает она в компании  
соседа по общежитию.

Глядите! Ставит на плитку чайник  
и чашки на стол, сдвинув рамку, в которой фото  
родителей чьих-то... Такие же две сельчанки  
с ней комнату делят... Молчат. Но это молчанье  
для их голосов расписано как по нотам.

Но это неплохо – что в душу друг другу не лезут.  
Ведь это ночлежка, где можно носить затрапезу,

скандалить, наушничать, плакать, стучать по  
железу,  
но молчанье достойней.

Ведь это город,  
необозримый город,  
где каждый окурочок гордится своей заброшенностью.

Девочка из деревни...  
Нет, она не обманется  
компанейством по общежитию.  
Но она по наитию,  
бессознательно тянется  
к городским, самым гордым девчонкам.

Она подражает во всем городским девчонкам.  
И не зря у нее с каждым разом раскрашено личико  
все смелей. И все чаще в сетях новомодного лифчика  
обреченно  
обмирают рыбешки румяных пупырышек.

И ей интересны девчонки,  
что в скверике возле гостиницы курят на лавочках.  
Она присматривается без агрессии  
и запомнить старается все, что надето на лапочках,  
на подвижницах, выбравших путь самой женской  
профессии.

А что? А для женской  
для карьеры и это бывает полезно моментами.  
И она бы пустилась гостиничными коридорами,  
и она бы решилась за деньги с клиентами,  
но она опасается, что с сутенерами  
пужно будет бесплатно.

А уже, слава Богу, март.  
А это многое значит.

Это пятнами масляной влаги  
декорации улиц покрыты,  
и в небе не движутся облака,

в обещаньи дождя сомкнувшиеся, как плиты  
потолка  
бетонного, заводского.

Это сегодняшним утром  
с первобытным каким-то отчаянием  
неслась на работу она.

Это весна... Это с ночи  
тлеет усталый снег.

И выются над снегом  
невысокие водоросли тумана.

Она ощущала губами  
хлопья соли на коже своих сапожек.

И уже прозвенели звоночки,  
а ей покидать не хотелось бытовку,  
ей было как в первые дни неловко  
надевать на себя спецовкцу  
прежде, чем стать у станка.

Слава Богу, стоять у станка –  
это несложно и мыслей не занимает.  
Это просто болванку подносит одна рука,  
а другая рука слегка на рычаг нажимает.  
А куда работа делается руками,  
пустота заполняется милыми пустяками.

Как доказано, есть поэзия, даже счастье,  
в размышленьях о самом неважном, о самом  
странном,  
о полупоступках,  
о скромных намеках,  
о весенних покупках,  
о черемуховых потеках  
на стеклах витрин магазинных.

Можно представить весеннюю,  
расхристанную витрину,

где продавщицы наводят порядок.

Там стоят манекены голые,  
до ужаса неприличные,  
но до ужаса гордые,  
как божества античные.

А продавщицы меж ними – как проигравшиеся  
балерины,

с охалками мыльной пены...

А за этой витриной – другие витрины,  
весь город стеклянный, где стены  
улиц – это одни витрины,  
мерцающие, как будто аквариум вселенной.

Только изредка сумрачные портьеры,  
за которыми сказочные пещеры  
с награбленными сокровищами сновидений.  
Это райская жизнь  
с видеоклипами адской жизни.

Город розового коммунизма,  
где заполненные сусеки  
и на каждом шагу услада –  
фруктовые сокотеки,  
где в глазах винограда  
отсветы светомыслей.

Город проблем решенных,  
где чтобы иметь койку,  
не нужно ходить на завод,  
или на стройку,  
на перестройку,  
или на перезавод.

Там ничего не нужно,  
чтобы взлетать на лифтах  
в невесомые спальни заоблачного секс-парада.

Она представляет...  
Но вот замирает конвейер.

И нужно живее  
двигать к автобусу заводскому.

Пора возвращаться  
в богобоязненную ночлежку.

Пора выходить на слякоть,  
где проступает мусор с изнанки снега.

Но еще не забылась недавняя ночь.  
Какой был мороз трескучий!  
А чтоб целоваться, они не нашли укрытия  
лучше, чем общая кухня уснувшего общежития.  
Там сидел он, поерзывая на табуретке скрипучей,  
а она у него на коленях.

А когда судьба потребовала переплаты,  
она сбегала в комнату – и возвратилась бегом,  
сбросив лишнее, чтобы в распахнутости халата  
он своими глазами увидел все, что свято,  
все то, что распято между болванкою и рычагом.

Общая кухня, где вечный мусорный запах,  
и побелку изъела плесень...  
Так что даже слезинку смахнула она украдкой,  
когда безрассудный тот мальчик на гвоздь повесил  
рядом с какой-то грязной кухонной тряпкой  
ее распоследнюю тряпочку...

Он исчез после этой ночи.  
Но не очень она огорчилась.

Она увлеклась не слишком.  
Он всего только наглый мальчишка.  
И спасибо за наглость!

Без него будет легче девочке деревенской  
размышлять о своей дальнейшей карьере женской.

Что поделать! Мечтанья о женской карьере  
с каждым мартовским днем становятся  
злбодневней.  
И все больше в свои сновиденья копмарные верит  
девочка из деревни,  
скромная, с тихим голосом, с тихой психикой.

**БОНДАРЕВСКИЙ** Игорь Борисович родился в 1956 году. Живет в Ростове. Несколько стихотворений опубликовал в местной печати. В 1989 году опубликовал в областном издательстве за свой счет первую стихотворную книгу.

ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА...

**МОСКВА 319 УЛ УСИЕВИЧА ДОМ 8 КВ 72 ВЕЙСМАН МЭРИ  
АБРАМОВНЕ ДЛЯ МАКСИМОВА ВЛАДИМИРА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА**

**ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ ВАС УЧАСТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-  
НОМ ВЕЧЕРЕ ПОЛЬЗУ ВДОВ ПИСАТЕЛЕЙ БЕЗВИННО ПОСТРА-  
ДАВШИХ СТРАШНЫЕ ГОДЫ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ ТЧК  
ВАША ДОБРОТА И БЛАГОРОДСТВО СОГРЕВАЮТ НАШИ СЕРДЦА  
ПОМОГАЮТ НАМ ЖИТЬ НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН**

**СОВЕТ ВДОВ МОСКОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ**

ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА...

**Популярный русский киноактер НИКИТА МИХАЙ-  
ЛОВСКИЙ, к своим 26 годам снявшийся в двух десят-  
ках фильмов, смертельно болен — рак крови. Болезнь  
почти неизлечима в России, вспыхнула внезапно и  
развивается лавинообразно. Спасти его может лишь  
немедленное помещение в специализированную кли-  
нику Америки.**

**Деятели русской культуры обращаются к своим  
иностранным коллегам с просьбой помочь госпита-  
лизацией и лечением молодого киноактера, провести  
акцию благотворительности во имя добра и человече-  
ности.**

**Все, кто может, откликнитесь на наш призыв и  
явите пример подлинного милосердия!**

**Наш расчетный счет во Внешэкономбанке СССР  
— 7040002 «для Михайловского».**

**Наш телефон в Москве — 227 13 21, телефакс —  
925 57 27.**

*Андрей Смирнов, Александр Митта,  
Галина Волчек, Наталья Негода,  
Александр Кайдановский, Олег Янковский,  
Альфред Шнитке, Юрий Норштейн,  
Юрий Любимов, Фазиль Искандер,  
Анатолий Рыбаков, Андрей Вознесенский*



С. Зверев

## КАК И КТО ПРИДЕТ К ВЛАСТИ В СССР К КОНЦУ 1990 ГОДА

Для того, чтобы обозначить возможные выходы из положения, в котором оказался Советский Союз, надо попробовать кратко уяснить себе специфику ситуации. Строгая тоталитарная система с ее жестким контролем сверху начала размываться в конце 50-х годов под лозунгом: «Больше доверия кадрам». Характерно, что, по многим воспоминаниям, партийные чиновники не боялись и искренне симпатизировали Брежневу и он всегда поддерживал их, когда они ошибались. Тем более велика разница между Хрущевым и Сталиным. К концу 70-х контроль сверху почти исчез. Учитывая, что контроля за управляющими снизу у нас практически не было никогда, мы оказались в беспрецедентной ситуации: бесконтрольность управления (нечто похожее на западноевропейский феодализм) сопровождалась тем, что объект их управления не был их собственностью, его (даже часть от него) нельзя было продать, обменять, передать по наследству. В результате, «кадры» оказались без стимулов к развитию подвластного им производства, а в условиях товарно-денежных отношений в сфере распределения и круговой номенклатурной поруки (крупные чиновники, совершавшие даже и уголовные преступления, чаще всего получали почетную дипломатическую должность, в худшем случае — относительно большую пенсию) эти кадры бросились грабить страну. Тащили все, что могли, а так как и было-то немного, то очень скоро обозначился развал экономики. Кроме того, все остальные страны рванулись вперед, используя достижения НТР, а к консервативности сверхгосударственной экономики СССР добавилась полная бесконтрольность управляющих.

Результат стал осознаваться все более ясно:

1) такое отставание в технологии делало невозможным в перспективе поддержание военно-стратегического паритета;

2) приостановился рост жизненного уровня и даже началось его снижение, что вызвало растущее недовольство населения;

3) рост коррупции и теневой экономики влекли за собой возникновение и распространение организованной преступности, то есть появление новых центров власти;

4) рост крупных состояний и распространение нетрудовых доходов фактически прикончили остатки трудовой морали. На честно работающего окружающие смотрели как на юродивого. Расширение и углубление сферы денежных отношений и стремительно увеличивавшийся разрыв между декларациями и реальностью глубоко дискредитировали веру в коммунистические идеалы. Сейчас от нее отпало подавляющее большинство граждан страны, в том числе и членов КПСС и ВЛКСМ. Более того, под влиянием высокого уровня жизни западных стран все больше людей стали считать коммунистические идеалы не просто несбыточными, а неверными, мешающими развитию общества, незаметно переходя тем самым с индифферентных на антикоммунистические позиции. Сейчас эти люди вышли из тени и активно проповедуют идеалы капитализма;

5) бесконтрольность бюрократии (существующей у нас совсем не в веберовском понимании этого слова — но это особый разговор) привела также к параличу власти, когда принятые ЦК и Советом министров решения не выполнялись почти на 100%;

6) общее смягчение нравов, рост образованности и расширение международных контактов привели к возрождению интеллигенции, представители которой все более настойчиво в самых разных формах выступали за гуманизацию общественных отношений. Крайним крылом этого движения была борьба диссидентов за права человека. В условиях нарастающего кризиса эти взгляды пользовались все большим сочувствием среди населения. Кроме того, преследование инакомыслящих осложняло экономические контакты с Западом, в которые все более активно втягивалась советская экономика для того, чтобы компенсировать падение жизненного уровня за счет продажи нефти и других природных ресурсов. Мощным стимулом к расширению международных контактов служило и другое обстоятельство. Растущие аппетиты коррумпированных чиновников и дельцов теневой экономики не мог удовлетворить ассортимент предлагаемых совет-

ской легкой промышленностью товаров. Ну и, понятно, почти любой чиновник мог заключить убыточную для государства 10-миллионную сделку, если сам выигрывал при этом тысячу рублей. Я отвлекся, поскольку очень уж интересно взглянуть за кисейную занавесь застоя, но это тема другого разговора.

Итак, все эти недостатки все чаще фиксировались руководством, и с начала 80-х годов развернулась ожесточенная борьба за власть между апологетами застоя и сторонниками перемен под лозунгом «ускорения социально-экономического развития». За перемены в той или иной форме и степени выступали Андропов, Устинов, Громыко, Горбачев, Лигачев, Рыжков, Шеварднадзе. Борьба закончилась изгнанием из политбюро на спецпенсию Романова и Гришина. Чтобы расширить путь для «ускорения», было решено многое поменять в обществе. Так возник лозунг «перестройка».

И здесь старые актеры стали разыгрывать новую пьесу, а советский народ и мировое общественное мнение стали свидетелями новой драмы на кремлевской сцене, которая на экранах и в газетах зачастую выглядела как фарс. Однако не надо обманываться: кровь уже пролилась — и неоднократно. Вопрос встал ребром: всем было ясно, что надо усиливать контроль, но сделать определяющим контроль сверху или снизу? Госприемка или оптовый рынок, то есть государственный или рыночный контроль за качеством — за чем будущее? Продолжать 70-летний эксперимент по построению эффективной государственной экономики и дифференцированного гуманизма или пока закончить его? Возрождение социалистических идеалов или свобода мнений — что обладает большей ценностью для советского народа? Дисциплина или демократия, ответственность перед вышестоящими или перед подчиненными — на что должен быть сделан упор в работе с кадрами? Борьба вокруг этих вопросов вспыхнула со всей остротой в конце 1986 года, пленум откладывался три раза, во главе группировок встали Горбачев и Лигачев, в результате, январский пленум 1987 года стал поворотным пунктом в развитии страны: был взят курс на демократизацию, рынок, свободу мнений. Перестройка, какой мы ее знаем, началась.

Однако все принимавшиеся решения носили половинчатый, компромиссный и декларативный характер и не затрагивали су-

щества ни экономики, ни политической системы. Что этому способствовало?

1. Долгая совместная борьба представителей партий «демократии» и «дисциплины» с брежневцами, ибо за долгие годы застоя на всех иерархических уровнях были подготовлены настолько косные, безынициативные и эгоистически ориентированные кадры, что результатом большинства перетрясок была замена одного брежневца на другого. И этот аппарат яростно сопротивлялся любым изменениям и этим сплачивал обе фракции.

2. Явно просматривалось стремление «не раскачивать лодку» и «диалектически совместить противоположности»: активность народа и неучастие его в выборах высшего руководства, плюрализм мнений и однопартийность, рынок и отсутствие сверхвысоких доходов.

3. Единство партии рассматривалось как определяющая ценность, поэтому фракции не легитимировались и побежденные не были открыто отстранены от власти. Принципиально серая номенклатура является главной социальной основой власти, а основа ее единства — номенклатурные привилегии. Куда денутся при хозрасчете и демократии эти профессиональные дилетанты, хорошо умеющие только одно — мешать всем работать?

4. Не разработана приемлемая для большинства целостная концепция перестройки, нет четкого видения ее цели, не говоря уж о последовательных, системно организованных этапах. Все делается, с одной стороны, на уровне идеологии: что главнее, социализм или свобода, производство или распределение, идеалы или благосостояние, — а с другой стороны, на уровне здравого смысла. Именно здравый смысл является идеологемой перестройки. Производители не заинтересованы в производстве, значит, надо заинтересовать, отсюда хозрасчет. Чиновники не пекутся о благе народа — надо поставить их под народный контроль, начать демократизацию. «Не убий» — поэтому сталинизм должен быть осужден. В наше время уже дико запрещать книги и ограничивать людям встречи с друзьями только потому, что они граждане других государств, — отсюда гласность и размыв железного занавеса. Поэтому, кстати, Горбачев так популярен на Западе, который весь построен на здравом смысле. Простой человек не может не одобрить здравый смысл, к тому же он может

его понять, в отличие от заумных теоретических построений. Но здравый смысл имеет и свои слабые стороны, он не способен взглянуть на ситуацию с высоты птичьего полета, не способен осмыслить глубинные процессы — и в этом его слабость, и это слабость также и Горбачева, но это и его сила, поскольку помогает ему отказаться от наиболее несообразных черт существующего строя, позволяет говорить с народом на его языке.

Кстати, сейчас, кажется, уже можно сказать о социальном идеале самого Горбачева: это общество здравого смысла, не деформированное идеалами ни огосударствления, ни частной инициативы, — общество демократического социализма. Швеция, Австрия, Нидерланды — вот его реальные воплощения. Поэтому решусь утверждать, что Горбачев как последовательный центрист, реформист, либерал, социалист и демократ является лидером социал-демократического крыла в КПСС, хотя и не пишет этого пока на своем знамени. Однако политика, как верно подметил Ленин, не тротуар Невского проспекта, поэтому если вы идете в сторону демократии, то это еще не значит, что вы туда придете. Гегель называл это хитростью мирового разума, а моя бабушка, пережившая все наши «битвы» в деревне и выдержавшая нашествие туда всех армий: белых, красных, 25-тысячников, 30-тысячников, химизаторов, мелиораторов, укрупнителей и других уполномоченных, говорила: «Шут шутит». То есть за деревьями, которые прекрасно видит здравый смысл, надо видеть лес, иметь теоретическую концепцию не только идеала — демократического социализма с его политической, экономической, социальной и международной демократиями, но и теоретическую концепцию переходного периода. Начало выработке одной из таких концепций положено, кстати, Клямкиным и Миграняном.

Поэтому жизненно важным для перестройки становится не только ликвидировать метастазы дефицита и вспышки насилия, но и занять политическому лидеру интеллектуальный штаб, который позволит придать системность изменениям, этапировать их, как это в свое время сделали американские профессора в Японии. Это должны быть всесторонне образованные люди — фактически образованные, а не (Боже упаси!) академики или доктора наук. Пока, судя по всему, у Горбачева таких советников

нет, нет и целостных обоснованных концепций переходного периода, во всяком случае, мы их не видим. Самому лидеру не надо быть таким уж образованным — и времени не хватит, и с народом будет трудно разговаривать, но не иметь таких советников — значит повисать над пропастью будущего. Причем от такого штаба нельзя требовать политической когерентности, ибо в глазах теоретика любой политик односторонен, а следовательно, неистинен. Поэтому теоретик, который во всем, пусть даже только главнейшем, соглашается с политиком, либо лжет, либо дурак. Так что к такому штабу может быть предъявлено всего два требования: высокая фактическая социально-философская образованность и политическая лояльность. Высокообразованные люди должны быть приглашены — не говорю: к власти, ибо это возможно, видимо, только при монархии, но — к властвующим, чтобы сделать эту власть более осмысленной в широком смысле этого слова, а значит, и более гуманной. Но вернемся к нашим баранам.

Итак, мы зафиксировали ситуацию начала перестройки и ее две основные программы: упор на контроль сверху или снизу. Надо заметить, не останавливаясь здесь на этом подробно, что эти два пути являются объективными, ибо это две формы организации общества. Динамическое единство или статическое единство, единство в многообразии или однородное единство, самоорганизующаяся открытая система или жестко организованная автаркия. Конечным (логическим) итогом первого пути станет плюралистическая во всех сферах жизни общества модель по типу Австрии, Нидерландов или даже ФРГ с эффективной экономикой, мобильной политической системой, сильным социальным расслоением и мировоззренческой пестротой. Конечным (логическим) итогом второго пути будет тотальное общество с мощным государством и единым мировоззрением, с жесткой социальной структурой, в которой каждому будет отведено его место, не слишком отличающееся от других.

Оба эти варианта могут быть реализованы, ибо общество может быть построено на этих принципах. Вы можете мне возразить, что тоталитаризм — тупик. Но кто сказал, что общество не может оказаться в тупике? Настоящем, глухом, из которого нет выхода на свободу и остается только расшибить голову о стену

или подохнуть на месте от голода. Вы можете опять возразить, что тоталитаризм не способен решать проблемы общества. Я отвечаю: он способен загнать их в тупик. Он может уничтожить мафию, сделав государственную власть мафиозной. Может уничтожить безработицу, подавив творческий труд и заставив людей заниматься общественной работой. Может обуздать инфляцию, просто изъяв лишние деньги или ликвидировав их вообще. То есть тоталитаризм может по-своему решать проблемы, будоражащие людей. Он не может выращивать лимоны (создавать новое), но он выжимает из них весь сок (эффективно использует уже созданное цивилизацией: технику, квалификацию, средства управления). Да, тоталитаризм приведет общество в тупик, но в первое время, как показывает история, он способен эффективно разрешить наиболее жгучие проблемы. Думать иначе — значит полагать мир добрым и справедливым к человеку, что само по себе является одним из элементов тоталитарного сознания (хотя и не только тоталитарного, конечно).

Возможны эти два пути, а возвращение к застою, вспять? Нет, потому что, как я уже пытался показать, это не работающая система, ибо в ней отсутствует контроль, обратная связь и работники не работают, а выполняют план, который может быть и подтасован, и скорректирован, и просто ошибочен. Поэтому я утверждаю, что перестройка давно уже стала необратимой, ибо вернуться назад невозможно — только вперед. Но вперед — вправо или влево? Это покажет будущее, и выбор зависит от огромного числа факторов, в том числе случайных. Позже мы коснемся лишь наиболее важных из них.

Декларативно в январе 1987 года был сделан выбор: вправо, к плюрализму (должен оговориться, что у нас сейчас традиционное деление на правых и левых неадекватно), однако решающих фактических преобразований пока еще не произошло по указанным выше причинам. Поэтому страна продолжает жить социально-экономически в периоде застоя, громкими криками призывая себя из него вырваться. Перестройка на деле пока началась только в Прибалтике, где приняты решения по приватизации сельского хозяйства и установлены фактическая свобода печати и многопартийность, хотя партии и носят своеобразный характер.

Что же происходит сейчас? Все фиксированные симптомы кризиса сохранились и даже углубились, и к ним прибавились новые.

1. Дефицит охватил новые области: исчезли утюги, холодильники и даже такие элементарные товары, как сахар, мыло, что вызывает особенное раздражение населения. Резко усилилось социальное расслоение. На фоне падения реального уровня жизни большинства стремительное обогащение элементарно предприимчивых людей создает у многих ощущение роста социальной несправедливости. Причем сейчас деньгами можно пользоваться более открыто и свободно. Кто-то получает сверхдоходы (по советским масштабам) и реализует их, а большинство только смотрит на это, испытывая ежедневные затруднения в элементарных вещах и констатируя нарастание этих трудностей. Из-за этого стремительно растет социальная напряженность в обществе, падает авторитет руководства, люди озлоблены и никому не верят. Некоторые опросы в центральном регионе показывают, что КПСС пользуется авторитетом у 10% населения, неформальные политические организации примерно у стольких же. Это значит, что подавляющее большинство не верит никому.

2. Долгие годы в стране нарастала интернационализация, не включающая в себя национальное, а отвергающая его. Естественной расплатой за это является всплеск национального самосознания, зачастую в асоциальных и недемократических формах. Характерны ограничения для иностранцев в Прибалтике и ограничения автономии малых народов в Грузии и Азербайджане. На фоне замороженных национальных противоречий и роста социальной напряженности оттепель не могла не привести к взрыву межнациональных конфликтов. Уже неоднократно пролилась кровь. Военное положение, погромы, блокада, разгон войсками демонстраций, «всеобщее вооружение народа», лагеря беженцев и всеобщие политические стачки буквально в течение года стали реальностью многих регионов страны.

3. Явно обозначился рост преступности и вширь и вглубь — все более профессиональной, жестокой, все лучше оснащенной техникой и оружием, цены на которое все время растут на черном рынке. Главной причиной этого является падение авторите-



та власти и ее дееспособности в условиях уничтоженной трудовой морали.

4. Трудящиеся все более чувствуют вкус к забастовкам. Надо учитывать, что ни рабочие, ни администрация не умеют решать конфликты путем переговоров и компромиссов, профсоюзы защищают интересы не персонала, а администрации. Прибавьте сюда рост недоверия к властям, идеологическую дезориентацию и падение жизненного уровня, и вы сможете смело прогнозировать, что страну в ближайшее время ждут новые взрывы забастовок большей частью эгоистического характера: дайте денег, мыла, мяса, квартир.

А что в это время происходит в КПСС?

Она традиционно состоит из двух больших частей. Внутренняя партия (в терминологии Орвелла), так называемая номенклатура — управляет страной, пользуется полутайными кастовыми привилегиями и во времена Сталина несла всю полноту ответственности. Потом — управление плюс привилегии плюс безответственность. Мы уже говорили о стратегическом параличе властей в период застоя, когда нарастали коррупция, мафиозность власти и происходила, я бы сказал, ее феодализация, а с определенного периода и процесс первоначального накопления капитала. Часть аппаратчиков, боясь волеизъявления народа, ненавидящего номенклатуру (выборы не оставили на этот счет никаких иллюзий), и пытаясь сохранить свои привилегии, уповают на власть сильной руки, строго идеологически выверенную дисциплину, укрепление позиций государства. Они хотят взять хорошее (для них) и из сталинизма и из «застоя», не понимая, что это невозможно, что новое издание сталинизма будет ужаснее и одной из его первых жертв будет нынешняя номенклатура, слабая и ненавистная.

Другая часть, зараженная либерализмом, устремляется к социал-демократическому идеалу.

Третья часть, коррумпированные элементы, боится и сильной руки, и демократизации, последней, однако, меньше, ибо она требует развития рынка и предпринимательства, либеральна и допускает коррупцию в том смысле, что не может с ней справиться окончательно. Тоталитаризм же не терпит независимых центров власти и, как показал исторический опыт, легко и в крат-

чайшие сроки ликвидирует организованную преступность. Вспомните, например, Муссолини, фашизм которого, кстати, не был последовательно тоталитарен. Здесь надо отметить, что коррумпированные элементы аппарата чаще всего являются более интеллектуально развитыми, чем средний аппаратчик, и поэтому смотрят вперед немного дальше и, видимо, больше всего будут бояться сильной руки.

Большинство же аппарата не желает и боится любого контроля, стремится любой ценой сохранить свои, в общем-то, скудные привилегии и саботирует любые преобразования, уповая, что все вернется «на круги своя». Это наиболее серые, безинициативные, привыкшие к исполнению распоряжений, невежественные и консервативные кадры, этакie партийные обыватели. Их боги — начальство и стабильность (точнее — неизменность, серость), а сейчас эти боги явно поругались между собой. ЦК КПСС призывает к инициативе, демократии, гласности — и поэтому они стали его ненавидеть и бояться. Но, «к счастью», это ЦК еще не сделало ничего серьезного и, они надеются, никогда не сделает, «не дураки же они рубить сук, на котором сидят». Пересидеть смутные времена — вот программа действий большинства аппарата. Но все сильнее толчки социальных катаклизмов, все ближе рассерженные лица людей, все яснее невозможность спрятаться от жизни — и, если ничего не изменится, в ближайшее время должно начаться массовое бегство таких аппаратчиков с руководящих постов, а это значит — массовая смена низшего звена управления в обстановке неопределенности. За этим последует постепенное давление низших эшелонов на высшие: новые секретари парткомов изберут новые райкомы, те в свою очередь новые обкомы, те... Чем это кончится? И процесс грозит начаться стихийно, а стихийность, как известно, чревата, да и к тому же является одним из главных врагов «марксистско-ленинского» мировоззрения. Именно поэтому произошло недавно скачкообразное повышение зарплаты партийных работников, приведшее в изумление людей и воспринятое как наглое и политически безграмотное. Но для руководства это был необходимый шаг. Единственный способ больше спрашивать с нынешней партноменклатуры — это больше ей давать, а руководство, судя по

всему, все же надеется подчинить себе свой аппарат, сделать его проводником своих идей и решений. Вообще говоря, если бы это началось 5 лет назад, то можно было бы рассчитывать на успех. Сейчас же такая мера послужит укреплению номенклатурного единства (напомним, что привилегии аппарата — главная основа сохранения единства внутри такой многоликой КПСС), что задержит образование фракций — единственное прогрессивное направление развития КПСС сегодня, оставляющее за ней какие-то шансы в политической системе демократизирующегося общества.

Внешняя, массовая партия. Существуют две крайние точки зрения на этот счет. С одной стороны, не выделяют внутреннюю и внешнюю партии: партократия, все коммунисты несут ответственность перед своим народом за совершенные партией преступления. С другой стороны, полагают, что внешняя давно слилась с народом и выделяется из него только формально. В пример приводится позиция рядовых польских коммунистов по отношению к «Солидарности». Прежде всего надо заметить, что рядовые коммунисты не пользуются никакими привилегиями, кроме потенциальной возможности попасть в номенклатуру, но члены внешней партии являются главной опорой власти номенклатуры; собственно, внешняя партия и формировалась как такая массовая опора.

Теперь разберемся, кто и по каким причинам вступал в КПСС в период застоя.

1. В КПСС состоит большая часть интеллигенции и специалистов, вступившая туда по прагматическим соображениям. Сделав это, они уже заключили сделку с совестью, но у них не хватило моральной нечистоплотности для участия в крысиных схватках за номенклатурные местечки, хотя часть из них, иногда и случайно, как люди с хорошими организационными способностями, попала на нижние ступени номенклатурной иерархии. Это, конечно, усугубило давление на мораль, но кого-то и приблизило к покаянию. В подавляющем большинстве это западники, сторонники плюрализма, потенциальные социал-демократы или даже либеральные или христианские демократы. А многие уже давно осознали себя убежденными антикоммунистами.

2. Многие вступали по идейным соображениям. Это убежденные коммунисты, ленинцы, государственники. Чаще всего — невежественные, ограниченные люди, ибо только слепец мог не заметить, что КПСС периода застоя — антиленинская организация. Достаточно почитать «Государство и революция». Те, что понимали это и были коммунистами-ленинцами, начинали бороться за чистоту идеалов. Они либо исключались из КПСС, либо разочаровывались в своих идеалах, часто и то и другое. Поэтому убежденные члены КПСС, как правило, не в состоянии сделать элементарных логических выводов. На публичных дискуссиях хорошо видно, как трудно коммунистам защищать свои коммунистические идеалы — ведь это делают либо брежневцы, либо очень ограниченные люди. Коммунистом-ленинцем значительно проще было быть вне КПСС. Именно эти люди сейчас создают то тут, то там коммунистические микропартии (трудящихся, труда, ленинцев, истинные и т.д.). Надо, конечно, добавить, что были и такие, кто таил в себе неприятие брежневщины, они и сейчас большей частью таятся и очень осторожно выступают с критикой правого уклона. Это могут быть и неглупые люди, но все-таки это как бы ненастоящие коммунисты-ленинцы, ибо они боялись выступить против режима. Что же касается тех, кто вступал в КПСС в 60-70-е годы для того, чтобы под руководством Леонида Ильича Брежнева строить коммунизм, — что сказать о них? Несчастливые люди. А может быть, счастливые, ибо не осознали себя еще личностью и не знают ее мучений? Есть и еще один момент. Дело в том, что такую безличностную стадию прошли все мы, ибо такими нас сформировала жизнь «по товарищу Брежневу». И быть таким не стыдно, стыдно таким остаться. Характерно, что почти все социал-демократы, дээсовцы и другие начинали свое мировоззренческое движение с критики существующего с ленинских позиций, подобно тому, как в средние века любые новые движения неизбежно принимали вид ересей.

3. Основная часть членов КПСС была вовлечена туда почти насильно, по уговорам, это большей частью рядовые рабочие и служащие. Именно они выполняли главную функцию внешней партии — быть социальной опорой режима, его массовой подпоркой, и от них требовалось лишь одно — предельный социальный конформизм, полное приятие и безоговорочная поддержка все-

го существующего. Самый распространенный газетный штамп того времени: «чувство всеобщего и полного удовлетворения». Таким образом, большинство внешней партии — это организованные сверху конформисты, любовно собранные все вместе, ни один не должен быть потерян для режима. Именно они, про себя ругаясь, платили членские взносы, скучали на собраниях и голосовали — не знали за что. Пропагандировали любой бред, не задумываясь не только почему они это пропагандируют, но и что. Боялись начальства и любили его, знали, что «все врут», и верили каждому слову, летевшему сверху. Именно эта инертная, но стабильная, безынициативная, но управляемая, безличностная масса, «кваша», по выражению Л. Аннинского, служила массовой опорой эпохи застоя.

Таково было наследство, полученное Горбачевым от Брежнева. Как же они повели себя сейчас? Кстати, внешне кажется, что расклад во внешней партии такой же, как и во внутренней: левые — государственники, правые (еще раз повторяю, что такое деление условно и используется за неимением нового) — плюралисты, господствует центр — болото. Общая картина такова ввиду объективного расклада объективных же возможностей развития: из «застоя» к контролю сверху или снизу. Играют же эти силы по-разному. Во внутренней партии (не беря высшее руководство — политбюро) центр господствует, имеет свои интересы: сохранение своих привилегий и на этой основе номенклатурного единства — и поэтому активно сопротивляется любым преобразованиям. Фланги же, борясь друг с другом и с брежневцами, боятся самоопределиться, ибо существует жесткая установка на сохранение единства КПСС как сверхценность.

Во внешней партии «болото» не имеет привилегий, поэтому не имеет и собственных интересов и мечтает сейчас только об одном — сбежать из КПСС, в это бурное время залечь на дно, однако боится репрессий за это. Поэтому то тут, то там слышатся сейчас требования: разрешить свободный выход из КПСС. Казалось бы, разве кто мешает: пиши заявление, выходи. Но нет, на самом деле они требуют другого — чтобы руководство громко и ясно заявило, дало вниз команды, что наказывать за это не будет. Тогда из КПСС сразу выйдет половина, а может быть,

и больше. Но и наверху это понимают. С одной стороны, это хорошо, КПСС освободится от огромного балласта, который мешает любым нововведениям, ибо боится всего нового. С другой стороны, народ ведь не будет разбираться в этих тонкостях. Если бегут из КПСС, значит, во-первых, плохая организация, а во-вторых, уже разваливается. Кроме того, у руководства КПСС, видимо, все еще существует иллюзия (а, как мы уже отметили, сознание современных наших руководителей слабо соотносится с современным уровнем общественности), будто бы можно рядовым коммунистам все получше растолковать, воодушевить их смелыми и хорошими планами, развязать руки для активности — и они бросятся выполнять хорошие (и правда, неплохие иногда!) указания хороших (если иметь в виду Горбачева, и правда хорошего) руководителей. А партия не просыпается. Что делать? Еще лучше растолковывать, больше воодушевлять, ликвидировать плохие инструкции, ввести альтернативные выборы, посоветовать беспартийным нажать на своих партийцев. И что будет? Большинство будет по-прежнему, но с еще большей тоской (так как больше заставляют работать, обкладывая уже со всех сторон, заставляют делать выбор и проявлять инициативу — кого, сливки конформизма!) ждать разрешения уйти прочь, в частную спокойную жизнь, и уповать на аппарат: дескать, мы их выбрали, пусть они и претворяют линию партии как надо. А у тех лозунг, как мы помним, пересидеть смутные времена, не запятнав себя никакой активностью.

А фланги — им растолковывать и воодушевлять их не надо, они уже всё для себя решили (самоопределились) и готовы бороться — прежде всего друг с другом. Фракционность! Внутренние склоки вместо единой борьбы во благо перестройки. А руководство так хотело, чтобы все было хорошо! Поистине, благими намерениями дорога в ад вымощена. Мало чего-либо хотеть, мало даже к этому стремиться, надо знать. Впрочем, я об этом уже говорил. Кто о чем, а вшивый о бане.

Каково отличие флангов во внутренней и внешней партиях? Прежде всего, во внешней они более ярко выражены. Аппаратчики боятся самоопределиться, рядовые — нет. Мы видим, что во главе многих общественных самодетельных движений, выступающих против монополии КПСС на власть, стоят члены КПСС.

Некоторые опросы показывают, что коммунисты чаще, чем беспартийные, причиной кризиса считают весь советский общественный строй. В Москве и Ленинграде образовались зародыши фракций: у правых — партийный клуб и Совещание секретарей первичных партийных организаций, у левых — ассоциация научного коммунизма и большинство членов Объединенного фронта трудящихся.

Такова ситуация на сегодняшний день. Что же произойдет дальше? При каких условиях возможен возврат к тоталитаризму?

Я полагаю, что сверху это невозможно, так как большинство номенклатуры боится сильной власти, а накопленный духовный опыт гласности в отношении сталинщины позволяет многим сделать вывод, что в конце концов будут физически уничтожены все нынешние управленцы. Становящийся тоталитаризм в поисках поддержки масс обязательно кинет им на растерзание то, что они так ненавидят, — «бюрократов» (и кооператоров, кстати, тоже). Да и сам тоталитаризм нуждается в совершенно других чиновниках, и приказ: «Огонь по штабам!» — совершенно неизбежен. Поэтому мне кажется, что восстановление тоталитаризма, выбор левого варианта развития возможен только при революции снизу. Как это может получиться? Надо учесть, что:

- в СССР созданы только зачатки гражданского общества
- основы политического плюрализма;
- не существует правового государства и нет уважения к законам;
- нет экономически самостоятельного индивида;
- долгие годы людей не учили, а вдалбливали идеологические постулаты, поэтому весьма низок уровень общей культуры;
- очень велико внутреннее социально-психологическое напряжение, даже озлобленность на всё — особенно на власть, как уже говорилось, недоверие к любым институтам;
- за долгие годы внутренней гражданской войны (плюс война в Афганистане в последние годы, через которую прошло много молодежи) сформировалась парадигма решения общественных вопросов путем насилия;
- за последний год сформировалось некоторое недоверие к свободному рынку: кооператоров и частных обвиняют в спекуляции, люди недовольны их обогащением;

— в обстановке роста преступности, числа технических и экологических катастроф, кровавых столкновений на национальной и социальной почве многие люди все больше уповают на сильную руку для решения этих проблем.

Учитывая все это, мне кажется, что в случае действительной революции снизу в виде, например, всеобщей политической стачки или голодного бунта на гребне волны окажется харизматическая личность, без сомнения, демагогическая и популистски ориентированная. Результатом временного кровавого хаоса не может быть установление демократии — для нее в обществе еще не созданы условия. Так будет установлена жесткая централизованная власть. В этом самом по себе нет еще ничего плохого, так как через период авторитарного правления все равно придется пройти, но если такая власть будет ориентирована на выдвинувшее ее народное море, то есть не на организованную плюралистическую систему интересов, представленную в гражданском обществе, а на атомизированного и в этом смысле люмпенизированного индивида, то это народное море будет сковано льдом. На смену хаосу приходят железные режимы. Чем больше хаоса, тем больше железа. Чем более общество теряет элементов структуры, тем более жесткая структура необходима для возвращения общества в структурированное состояние. Из этого видно, что важнейшей задачей является недопущение в наших условиях полного безвластия, ибо нет еще параллельных структур, способных подобрать падающую под давлением масс власть. Другой задачей является создание таких структур, как бы запасной вариант, потому что, без сомнения, оптимальным является преобразование существующих институтов. Главное, для преобразований, включающих в себя и непопулярные меры, требуется правительство, пользующееся доверием народа. Чем дольше у власти стоит правительство, не обладающее таким доверием, тем больше вероятность такого бунта, поэтому для того, чтобы избежать его, надо не только всячески удерживать массы от топора, но и грозить постоянно этим топором правительству, чтобы оно осуществляло преобразования, ибо затяжка как раз и грозит бунтом.

Какие пути возможны, если удастся избежать революции снизу? И как это сделать? Для этого необходимы несколько условий. Во-первых, политическая стабильность, достичь чего доста-



точно сложно, тем более если учитывать, что при создании эффективной экономики бывают этапы, которые требуют от трудящихся некоторых жертв, во всяком случае, значительно интенсифицируется труд, не давая сразу повышения уровня жизни, а может быть, и безработица, инфляция, социальное расслоение и т.д. Во-вторых, для такой стабильности требуется некоторый консенсус. Как его достичь без демократии с ее легитимностью власти, получаемой на выборах? Здесь мы и подходим к вопросу: кто и как будет в ближайшее время осуществлять власть в стране или, другими словами, откуда возьмется правительство, пользующееся доверием народа?

Так вот, сущность консенсуса не в выборности, а в представительстве интересов. Такое представительство может осуществляться в многопартийном парламенте, а может и в рамках одного движения. Примером может служить «Солидарность» в Польше, АНК в ЮАР, ИНК в Индии. Взглянем на них.

В Польше историческое происхождение и легитимация авторитета «Солидарности»: для противостояния монопольному блоку власти требовалось единство всех оппозиционных сил, поэтому все они концентрировались в «Солидарности», завоевавшей себе безоговорочную поддержку народа, подтвержденную восьмью годами подполья и прошедшими выборами. Очень важно для нас, что историческая традиция там тоже была авторитарная: царизм, Пилсудский, ПОРП. Характерно, что у «Солидарности» есть ярко выраженный лидер: Валенса. Кроме того, существовала объединяющая идея: демократия, профсоюзный плюрализм, ненависть к проворовавшимся чиновникам, пожалуй, даже антикоммунизм.

Индия. Это кажется удивительным, почти невозможным: многопартийность, свободные выборы, и при этом у власти почти без исключения одна организация и даже одна семья: Неру и Ганди — Индира Ганди — Раджив Ганди. Историческое происхождение то же, что и в Польше: концентрация всех оппозиционных исчерпавшему себя колониальному режиму сил в одной организации, раньше всех прорвавшейся к народу. Объединяющая идея: сначала национальная независимость, а потом — следование политике основоположника независимости Индии. Харак-

терно, что Индийскому национальному конгрессу противостоит такое же движение: Джаната (Народный) фронт (раньше — Джаната парти), в котором представлены тоже разнообразные — почти все — интересы. Все это и порождает удивительный симбиоз плюралистической демократии и монархии. Кстати, в Индии очень сильна психология крестьянской общины.

Что же у нас? Развитого гражданского общества как основы демократии пока не существует, исключительно сильна авторитарная традиция, когда во главе общества стоит личность, осуществляющая свою власть через одну организацию: царизм с бюрократией и дворянским сословием, Ленин и РКП(б), Сталин и ВКП(б), Брежнев, Хрущев и КПСС. Очень сильна общинная психология. Поэтому я утверждаю: если удастся избежать кровавого хаоса и железной диктатуры, власть во время построения демократии будет принадлежать одной организации-движению, возглавляемой личностью, обладающей ярко выраженной харизмой. И харизматический тип лидерства будет выражен тем более, чем менее перемены будут осуществляться как рационально построенные действия политических группировок. Такие перемены будут осознаваться массой людей, участвующих в политических акциях, как поиск новых жизненных ориентиров, идеалов, нового смысла жизни и в этом смысле будут иметь много общего с религиозными движениями. Еще раз хочу подчеркнуть: это не мое пожелание, но и не предостережение, такова, как мне кажется, объективная логика процесса.

Кто может претендовать на такую роль? Рассмотрим варианты. Общенациональные Народные фронты. Это общественные движения, которые уже существуют в Прибалтике, Закавказье, Украине, Белоруссии, Узбекистане, а в Прибалтике и Закавказье они уже диктуют власти свои условия и в результате республиканских выборов, видимо, получают большинство в Верховных Советах своих республик (написано до выборов и провозглашения независимости. — Ред.). Эти движения поддерживаются почти всеми общественными группами, которые и представлены там. Происхождение власти и ее легитимация: борьба всего народа против засилья в республиках марионеточной коррумпированной бюрократии. Объединяющая идея: национальное возрождение. Власть местных компартий пока держится в одина-

циональных республиках только на поддержке центра. Там, где имеются крупные инациональные группы, которые не могут быть представлены в таких движениях из-за чуждости объединяющей идее, компартии могут удерживать власть, только балансируя между движениями местными и республиканскими.

На окраинах консолидация народа вокруг движений типа Народного фронта облегчена существованием идеи национального возрождения. Судьба же страны будет решаться, понятно, в России. Здесь национальную карту разыгрывать сложнее. Конечно, русские культура и национальное самосознание разорвались не меньше, чем, предположим грузинские или литовские. Но: 1) к этой идее с самого начала примазались реакционные и шовинистические до патологии группы типа «Памяти», и против русского национализма в его такой неосталинской и имперской форме выступили все демократические ориентированные силы; 2) национальное возрождение на окраинах принимает такую зримую и понятную форму, как возрождение языка и символики. В России русский язык новоязом еще окончательно не заменили, а Кремль, Москва, Древняя Русь — признанные символы государственности; 3) великие нации вообще не очень заботятся о своих национальных особенностях, так как никогда не испытывали страха их утраты.

Поэтому здесь национальная идея не становится объединяющей так сразу, хотя надо отметить, что, обругав «Память» и убедившись, что те занимаются больше внутренними проблемами (кто больше русский, а кто хитрый масонский агент), многие протопартии поворачиваются сейчас лицом к русскому вопросу.

Станкевич, один из лидеров Московского НФ, ставший народным депутатом СССР, выдвинул лозунг: «Кто сказал, что в России нет идеи, вокруг которой может сплотиться народ? Есть. Это идея народовластия». Действительно, требования демократии слышны, казалось бы, всюду. Она понятна, имеет наглядные формы: многопартийность, свободные выборы, свобода печати, собраний, союзов, имеет и ярко выраженных противников: вездесущих и злокозненных «бюрократов», что также очень важно для эмоционального восприятия идей массами. Но, если присмотреться, идея демократии популярна прежде всего среди интеллигенции, а широкие массы людей пока не так уж ею заражены.

Во-первых, с демократией у нас по традиции связываются не только преимущества, но и недостатки: некомпетентность, анархия, слабость власти, а значит — и рост злоупотреблений и преступности. Во-вторых, власть в России всегда обладала священным (амбивалентно: почитание плюс ненависть) ореолом. «Кто будет править, мой сосед Петька, что ли?» Все это связано с длительной авторитарной традицией. В-третьих, демократия, да и свобода вообще требуют большого труда, и любой человек, кроме того, что он стремится к свободе, бежит от нее, передоверяет свою свободу другому. А советский человек — тем более, ибо у него-то уж совсем нет навыков свободы и труда по реализации демократии. А часто нет времени и сил, которые все уходят на изнурительную борьбу с нищетой.

В результате идея демократии опускается до своей убогой формы: демократия поддержки (несопротивление или молчаливая поддержка власти), в лучшем случае — до плебисцитарной демократии (участие только в выборах — и лидера прежде всего). Вот и получается, что даже умеренное демократическое движение снизу породит не столько демократию, сколько массовое движение-организацию с ярко выраженным лидером и его советниками-«апостолами».

Консолидации сил вокруг ядра типа НФ должны помочь некоторые обстоятельства:

- массовые кампании вроде выборов, а их намечается немало: местные, республиканские, партийные;
- продолжение прежней политики ЦК: унитарная единственная КПСС с сохранением ненавистной народу номенклатурной системы расстановки кадров и в силу этого рост недоверия и презрения к руководству КПСС;
- продолжение экономического упадка;
- крупные и явные ошибки или провокации против народа со стороны аппарата (не заставят себя долго ждать).

В результате такой консолидации произойдет раскол общества: КПСС — НФ, который, однако, не будет долго продолжаться и не примет деструктивной формы, так как:

- КПСС, и так теряющая поддержку населения, при таком сценарии окажется почти в изоляции, раздираемая к тому же внутренними фракциями, которые в момент кризиса выступят тем

более ярко и непримиримо, чем менее им будет дозволено проявиться в предшествующий период, то есть от такого столкновения КПСС просто рассыплется;

— настоящие противники либерализации — сторонники последовательной большевизации (ОФТ и другие КП/б/), — при подобном развитии событий долго не смогут ярко проявиться из-за привязанности к тезису единства партии. Они не смогут завоевать и влияния в массах, ибо будут запятнаны лояльностью к КПСС и приверженностью коммунистическим идеалам.

Так к власти придет либерально-демократический блок и начнет проводить радикальные преобразования. Какие — это ясно. Венгрия, Польша, ЧССР, ГДР, Прибалтика тому пример (напомню, что здесь мы не рассматриваем вариант перерождения массового народного движения в тоталитарный режим, считая, что удалось его избежать), а как — вопрос отдельного рассмотрения. Уже сейчас существуют зародыши такого блока: сильные региональные НФ, ленинградский и московский НФ, НФ РСФСР, созданный на встрече в Ярославле; МАДО — межрегиональная ассоциация демократических организаций, созданная по итогам совещаний в Ленинграде в сентябре и в Челябинске в октябре 1989 года; МОИ — Московская ассоциация избирателей, опирающаяся на клубы избирателей в районах и на предприятиях; московский предвыборный блок «Выборы-90»; нельзя здесь забывать и о МДГ — межрегиональной депутатской группе. НФ произведет наиболее решительные и радикальные преобразования, тем более что в отличие от национальных НФ, ему не придется оглядываться на «старшего брата». Но, как мы уже сказали, массовые народные движения опасны возможностью тоталитарного перерождения под давлением масс, поэтому, вообще говоря, предпочтительнее перерождение уже существующих структур власти. Каких и как?

Не исключено, что такой общенародной организацией-движением может оказаться и КПСС. В самом деле, в ней представлен весь спектр социальных групп, интересов и взглядов, существующих в обществе. Но они пока не оформлены, и такое оформление крайне затруднено, как мне, надеюсь, удалось показать. Поэтому различные интересы и не имеют возможности сейчас реализоваться через КПСС. И поэтому политика «един-

ства партии» является сейчас самоубийственной для нее. Наличие монопольной власти с ее составляющими: материальными и людскими ресурсами, масс-медиа, развитой организационной структурой, традицией — могло бы повысить конкурентоспособность КПСС в борьбе за будущую власть, но этими преимуществами надо уметь воспользоваться. А ведь КПСС имеет и слабые стороны перед НФ:

- ответственность за 70 лет преступлений и ошибок, заведших богатейшую страну мира в тупик и нищету;
- неповоротливость структур;
- сохранение в своих рядах главных сознательных противников перестройки — взращенной застоём номенклатуры;
- колоссальный балласт пассивных членов.

Запрет же фракций не просто увеличивает минусы, он оставляет КПСС без шансов на успех в демократизирующемся обществе. Демократизация внутрипартийной жизни должна неминуемо, конечно, привести к ликвидации полутайных номенклатурных привилегий, прямым выборам, облегчению вступления в КПСС и т.д. Но это всё функции фракционности: либо формы подхода к ней, либо ее простые следствия. Если в ближайшие месяцы КПСС не встанет на этот путь, ее место у руля власти займет другая организация-движение. Это в лучшем случае, а в худшем произойдет социальная катастрофа, которая сметет все ныне существующие структуры. Если же произойдет решительная плюрализация партии, именно через ее политические структуры, уже стоящие у власти, смогут быть реализованы многообразные интересы, именно к участию в этих структурах будет направлена активность многих людей.

В КПСС уже существуют предпосылки образования фракций: 1) исключительно широкий спектр мнений среди ее членов, и чем дальше, тем больше цвета этого спектра будут проявляться все более интенсивно; 2) в руководстве явное различие мнений по фундаментальным вопросам и появление фракций может ускориться через открытую поддержку рядовыми членами КПСС различных лидеров; 3) многие члены партии уже работают в различных неформальных политических группировках. Так, например, в Москве коммунисты — участники клубов демократического направления (здесь читай: западнически-либерального) уже

год назад создали московский партклуб. Ленинцы являются ядром ОФТ (ассоциация научного коммунизма); 4) в конце октября 1989 года возникло Совецание секретарей первичных партийных организаций, которое объявило своей задачей демократизацию КПСС, учет мнения рядовых коммунистов при принятии решений руководством страны, проведение по-новому выборов на 28-й съезд. Это регулярно собирающееся Совецание является горизонтальной структурой и консолидируется на определенной (близкой к социал-демократической) программе. Но среди секретарей первичных партийных организаций очень сильны и традиционалистские настроения, поэтому нет сомнения, что в ближайшее время появится нечто подобное, стоящее на большевистско-ленинской платформе. Эти структуры значительно серьезнее, ибо объединяют уже статусных коммунистов, что снимает налет фронды и безответственности, присущей ОФТ и партклубу.

Руководство КПСС, судя по всему, не осознает неизбежности и прогрессивности фракционности, возможно, испытывая гнет идеологического фетиша «единства партии», освященного родоначальником КПСС — Лениным, духовным наследником которого полагали себя инициаторы перестройки. Многих пугает, что выбор такого сценария со временем приведет к превращению фракций в партии. Действительно, это неизбежно, как неизбежна сама многопартийность в нормально развивающемся обществе. Ведь в любом обществе существуют разные варианты развития, и эти варианты представлены своими сторонниками, объединенными в группы и отстаивающими свою точку зрения. Это и есть партии, которые, таким образом, существуют в любом развивающемся обществе. Речь лишь идет о том, как происходит борьба между ними: цивилизованно, по закону, или по закону кулака, джунглей и аппаратной борьбы. То есть легальная многопартийность неизбежна для любого цивилизованного общества. А сейчас вопрос стоит так: из какой правящей организации-движения со временем выделятся партии: из КПСС или какой-нибудь другой. Короче, если КПСС сможет реализовать лозунг «народ и партия едины», процесс реформ пойдет через нее, если нет — возникнет лозунг: «Народ, объединенный в Народный фронт, победит!»

Третий возможный вариант формирования всенародной организации-движения — новые Советы. Суть его в том, что система Советов всех уровней берет реальную власть в свои руки, и происходит все это на волне общенародного движения, считающего Советы выразителем своих интересов. Свободные всеобщие выборы позволят представить в них все интересы, существующие в обществе. Участие людей в предвыборной борьбе, а затем в акциях давления на Советы и привлечение активных граждан к работе их комиссий превратят Советы в общенародное движение. Легкость этого пути в традициях лозунга «Вся власть Советам!», в существовании у них организационно и материально обеспеченной структуры.

Трудности такого сценария вытекают из условий его реализации. Таким условием является прежде всего демократичность выборов, с тем чтобы в предвыборной борьбе свободно участвовало как можно большее число граждан и все интересы адекватно были бы представлены в Советах. Пока можно констатировать, что общесоюзные выборы не отвечают этим условиям, причем поезд ушел, уже сформирован послушный Верховный Совет, в нем практически не представлено большинство неформальных политических организаций. Номенклатура, видимо, считала это своим большим достижением, не осознавая, что тем самым она сняла еще одну преграду с пути НФ к власти. В ВС СССР случайным образом представлены или не представлены различные социальные слои. В самом деле, депутат-шахтер, избранный по разнарядке от ВЦСПС, в острой ситуации чьи будет представлять интересы: шахтеров, местной номенклатуры, центрального аппарата?

Эти условия, видимо, будут соблюдены на выборах в местные Советы и, проблематично, в республиках. Здесь они будут сильно друг от друга отличаться. Таким образом, если аппарат не даст соблюсти демократичность выборов ВС России, этот вариант можно считать похороненным. Некоторые препоны сняты, однако введены новые: трудности при выдвижении, а самое главное — сохранен не прямой характер выборов, который, кстати, всегда бьет по центристам и усиливает победителей. Здесь будет решающее звено. Для реализации «советского варианта» необходимо единство Советов всех уровней. Первичного такого



единства не будет — это ясно, но в случае выпадения из демократических структур только одного звена, Верховного Совета СССР, оно может быть подчинено системе путем мощного политического давления. Кстати, многопартийность, которой многие так боятся или так жаждут, видимо, не приведет к традиционному парламентскому режиму, ибо не существует еще гражданского общества, слабо выражены различные социальные группы и их интересы. Поэтому люди пойдут не за партиями с их программами, а за движениями с лидерами и разрешенная многопартийность лишь обеспечит большую свободу выборов, повернув общество тем самым на «советский путь».

Другим условием этого пути является необходимость Советам взять власть у партаппарата, чему последний будет бешено сопротивляться. Поэтому чем больше влияние аппарата, тем больше вероятность прихода к власти блока НФ. Это и понятно, ибо опосредует этот логический вывод тезис о неспособности чиновной организации завоевать доверие масс в условиях политической активности.

Какой вариант изберет история? Как бы то ни было, главной задачей для нас должно быть предотвращение крупных волнений, дабы избежать самого страшного — возвращения тоталитаризма. Если не свалимся в эту пропасть, то будем идти, а как — это уже следующая задача:

\* \* \*

Как в эту картину встраивается бросок Горбачева к президентству? Видно, что наиболее адекватной была бы попытка президента пойти по «советскому» пути, встав во главе кардинальных реформ как лидер, обладающий одновременно несколькими легитимациями: бюрократической (выборы все-таки состоялись), во-вторых, традиционной (лидер перестройки предыдущих пяти лет возглавил ее и на следующем этапе) и, в-третьих, харизматической (в своеобразном, отрицательном смысле, поскольку нет явных лидеров-конкурентов, особенно учитывая навязанные Горбачевым правила игры: выборы на послушном съезде депутатов). Конечно, все эти основания ослаблены: 1) большинство желало бы другой процедуры: всеобщих выборов; 2) Горбачев является генсеком ЦК КПСС, а это та традиция,

которая отвергается большей частью населения; 3) вместе с усложнением ситуации авторитет лично Горбачева стабильно падает, а харизматический лидер, как известно, получает свою власть непосредственно из рук Ники — богини успеха. Еще важнее то, что для реализации «советского» пути Горбачеву надо стать независимым от политбюро ЦК КПСС, оторваться, воспарить над КПСС. А судя по тому, что он не намерен оставить пост генсека, этого не произойдет, и он попытается осуществлять власть одновременно через КПСС и Советы. Через КПСС, которая так и не превратилась в движение фронтистского типа, а по-прежнему является бюрократической организацией. Партийные массы практически отрезаны от возможности повлиять на принятие решений и единственно что могут сделать — это «свалить» секретаря обкома («воеводу»), и даже в этом случае их мнение при выборе нового не является решающим.

Через Советы: здесь колоссальное давление аппарата, без оглядки шедшего и на нарушение закона, не позволят, видимо, отразить в их составе существующий в обществе спектр интересов и мнений. Доверие к Советам уже быстро падает. Так мы будем иметь президента, вознесенного наверх благодаря стечению обстоятельств, главными из которых являются: неподъемность проблем, яростное сопротивление реформам со стороны того самого аппарата, функцией которого является их реализация; неразвитость общественного организма, порождающая цезаристские настроения.

Так мы будем иметь плебисцитарную демократию Вебера, при которой глава государства обеспечивает противостояние бюрократии и олицетворяет единство нации, народ передоверяет ему эти функции и до следующих выборов пребывает в относительно пассивном сотсожании, а роль парламента сводится к воспитанию, пестованию будущих плебисцитарных лидеров. Кажется, классический вариант. Может быть, так и надо, тем более в стране с неразвитыми гражданским обществом и политическим сознанием и огромными проблемами? Здесь надо учесть, что у нас все это осуществляется в крайне ослабленном виде. Слаба, в веберовском смысле, бюрократия. Это не рационально построенная структура для реализации поставленных целей, а гипертрофированно разросшаяся масса большей частью дисквалифи-

цированных работников, гасящая в себе или искажающая до неузнаваемости любые исходящие сверху импульсы. Нет доверия к КПСС, стремительно падает авторитет Советов, особенно после 2-го и 3-го съездов депутатов СССР. Я уже говорил, что падает авторитет и Горбачева.

Так мы имеем слабые институты, из рук которых выпадает власть. Оппозиция же слишком слаба, чтобы ее подхватить, даже учитывая создание «Гражданского действия». Ситуация слишком похожа на 1917 год. Место двигателя решительных реформ вакантно. Идет поиск претендентов. Пока же продолжается распад существующих структур: КПСС, империи; я не владею хорошо ситуацией в экономике, но могу предположить, что там тоже распадаются существующие связи, а взамен не возникает новых и, наверное, растет натуральный обмен. В условиях распада политических структур на арену выйдут, видимо, в ближайшее время неполитические сами по себе субъекты: союзы кооператоров, союзы директоров и т.д. Самое главное, страна продолжает двигаться в сторону войны всех против всех, за которой последует восстановление диктатуры. Кстати, стать Главным Реформатором все еще может Горбачев. Главное все-таки — это избежать нарастания внутренней войны и провести кардинальные реформы в экономике на основе возможно более полного согласия выявленных общественно-политических сил. Вот таким банальным утверждением мы и закончим.

*Москва, ноябрь 1989 — март 1990*

Данными об авторе редакция не располагает. Статья получена из Москвы.

**Обращение главного редактора журнала «Культура»  
Е ж и Г е д р о й ц а  
к участникам совместной конференции депутатов  
польского Сейма и украинского Верховного Совета**

Нынешний съезд подлинных представителей украинского и польского общества — исторический шаг в осуществлении мечты Юлиуша Мерошевского о УЛБ, но это только начало трудной дороги к достижению нашими народами полного суверенитета и независимости.

Прежде всего следует начать с принципиальной констатации:

1) наши нынешние границы установлены окончательно;  
2) независимость Украины лежит в интересах Польши, и поэтому следует забыть, в крайнем случае отложить на далекое будущее — до времени, когда наши народы и государства окрепнут, — всякие федеративные концепции;

3) Украина принадлежит к сфере западной культуры, поэтому уже сегодня надо требовать, чтобы в Организации Объединенных Наций представительство Украины действительно представляло украинские интересы, а не было всего лишь пристройкой Советского Союза; украинская компартия, по примеру прибалтийских, должна выйти из КПСС, а Украина — так же, кстати, как и Польша, — выйти из СЭВа; следует требовать выделения украинских передач из ведения радио «Свобода» и включения их в радио «Свободная Европа».

Польша находится в том счастливом положении, что в некотором смысле может быть во многих сферах «украинским Пьемонтом», и это будет тем легче, что в Польше есть довольно значительное польское меньшинство. Необходимо поэтому, чтобы Польское радио и телевидение начало вести православные и грекокатолические религиозные программы; следует укрепить и расширить кафедры украинистики в польских университетах; развить сеть украинских школ и культурное сотрудничество. Недопустимо, что после смерти Юзефа Лободовского сегодня, по существу, нет хороших переводчиков с украинского и на украинский. В Польше должно быть создано украинское издательство, получающее дотации от министерства культуры, которое издавало бы книги, не имеющие возможности выйти на Украине из-за цензуры.

Следует также уже сегодня мыслить надолго вперед, чтобы в будущем не попасть врасплох, и готовить кадры специалистов, которые разрабатывали бы планы, например, относительно экономического и культурного сотрудничества, культурной и религиозной автономии поляков на Украине, охраны исторических памятников, являющихся составной частью нашей общей истории, исследований и публикаций по новейшей истории польско-украинских отношений. Это история кровавая, но прежде всего — фальсифицированная, в силу чего она питает шовинистические настроения обеих сторон. Единственный путь к нормализации наших отношений — сказать друг другу всю правду, до конца.

Проблем бесчисленное множество, и я, конечно, назвал только часть их. Я делаю это, однако, умышленно, ибо важно, чтобы ваш съезд не оказался всего лишь демонстрацией и перечнем благих намерений, но чтобы вы постарались положить фундамент дальнейшего конкретного сотрудничества.

И еще один вопрос: независимость Литвы. Мы являемся свидетелями того, как литовский народ цинично запродаан Западом Горбачеву. Это новый Мюнхен и продолжение политики Рузвельта. Литва ищет у нас помощи — отсюда призывы к Львову и Польше. Я убежден, что вы сделаете все, чтобы им помочь и привлечь к этой помощи все прогрессивные русские круги, которые, к счастью, всё растут. Ибо мы боремся с советским коммунизмом и империализмом, а не с русским народом.

*27 апреля 1990*

Конференция, на которой было зачитано обращение Ежи Гедройца, состоялась 4-5 мая 1990 г. в Яблонне под Варшавой. С украинской стороны в ней приняли участие Орест Влох, Богдан Горынь, Михайло Горынь, Игорь Деркач, Иван Драч, Сергей Лылык, Дмитро Павлычко, Мирослав Попович, Вячеслав Чорновил, Михайло Швайка; с польской — Богумила Бердыховская, Збигнев Буяк, Анджей Велёвейский, Хенрик Вуец, Ежи Вуттке, Рышард Ганович, Бронислав Геремек, Анджей Кравчик, Зофья Куратовская, Яцек Куронь, Барбара Лабуда, Александр Малаховский, Адам Михник, Влодзимеж Мокрый, Ян Мусял, Анджей Окшесик, Януш Онышкевич, Ян Рокита, Франтишек Сак, Богдан Скарадзинский, Анджей Стельмаховский, Александр Халль, Анна Шиманская, Збигнев Янас, Ежи Ястшембовский, Ежи Яхнович.

## *К ЛИТОВСКОМУ НАРОДНОМУ ФРОНТУ!*

Приветствую вашу мужественную борьбу против партпреступной мафии КПСС! Искренне желаю вам успехов на пути создания независимого литовского государства!

Все мы устали от насилия, от жизни во лжи. Никто не имеет права решать за народ его судьбу. Не кто-то, а сам литовский народ пусть создает новое правовое государство. Честным и добрым людям даже государственные границы не могут помешать думать и чувствовать одинаково. В России за годы перестройки поубавилось насилия, но лжи не уменьшилось. Вы это знаете. И опять нас дармоеды-партаппаратчики пичкают полуправдой, убеждают русский народ в том, что Прибалтика якобы жила за счет русских, за счет России. Ничего нелепее этого нельзя выдумать! Разумеется, все республики получали необходимую помощь от Союза, но ведь все и Союзу помогали. А ненасытные партчиновники просто грабили республики: опустошали земли, уничтожали природные богатства и заодно губили наши человеческие души. Не простые же люди-труженики довели себя сами до нищеты и одичания. Кучка партийных бандитов ограбила весь Союз!

Мне, как русскому, кажется, что больше всех они обобрали Россию. Поэтому я прошу вас, литовцев, не обижаться на трудовой российский народ — народ обманутый и ограбленный.

Да хранит вас Бог!

*5 апреля 1990 г.*

**БОРИС НИКИТИН**  
*писатель, дипломант*  
*Всероссийского литературного конкурса*  
*МВД СССР*

Ромуальд Л а з а р о в и ч

## ДОРОГИ И НАДЕЖДЫ

Рассматривая вблизи перемены, происходящие в странах советского блока — ставшие особенно динамичными в прошлом году, — обычно поддаешься впечатлению, что они являются результатом стихийного, массового антикоммунистического движения. Наиболее далеко пошедшей вперед по пути от коммунизма к демократии и свободе считается Польша. С середины прошлого года в нашей стране функционирует правительство, сформированное частично из представителей прежней оппозиции. В преобразовании страны активно участвуют недавние оппозиционеры, заседающие теперь в Сейме и Сенате. Вновь легально действует много лет находившийся под запретом независимый профсоюз «Солидарность», принимаются многочисленные общественно-политические и экономические меры, усложнилась, но тем живее стала культурная жизнь. Изменения в функционировании государства сочтены столь глубокими, что в конце концов решено было даже переменить его название и герб. Уверенность в том, что мы уже освободились из-под власти коммунистов, достаточно широко распространена — в этом убеждают поляков люди, пользующиеся нравственным и интеллектуальным авторитетом. Нам, по их мнению, еще много остается сделать, особенно в области экономики, но, продолжая идти спокойным, эволюционным путем компромиссов с реформаторами коммунистического происхождения, мы придем к полной свободе. Над целым процессом «выхода из коммунизма» как часовой стоит несколько скрытая в тени фигура реформированного президента.

На мой взгляд, ключевое значение для этих рассуждений и для общей оценки происходящих событий обладает тот факт, что в этом процессе принимают участие коммунисты, которые фактически положили ему начало. Не во всех странах советского блока это так очевидно, как в Польше и Венгрии. Мягкость и сравни-

тельная легкость старта «перестройки» в Чехословакии, ГДР и особенно в Болгарии и бесконфликтный переход тамошних компартий к «новому мышлению» — знаменательны. Отличие Румынии в этом отношении всего лишь мнимо. Можно принять, что *моделью для стран блока является ситуация, при которой коммунисты участвуют в процессе лишения себя власти и построения демократии*. Когда поглядишь хладнокровно, все это возбуждает огромное удивление и недоверие.

Не было же во всей мировой истории такой политической системы, такого режима, котрый бы не только добровольно, без принуждения сошел со сцены, но еще и сам положил начало процессу своего демонтажа. Предположение, что коммунисты составляют исключение, следует отнести на счет крайнего wishful thinking. Странники эволюционных перемен в нашей стране (то же самое и в других) верят, что правившие этой страной свыше 40 лет власти внезапно, на рубеже 1988-1989 гг., поумнели, облагородились и решили вступить в диалог с подданными, отречься от власти и уйти. Некоторые сторонники этого взгляда считают, что это произошло в результате общественного натиска и несколько лет продолжавшегося сопротивления общества, группировавшегося вокруг «Солидарности». Однако каждый, кто хоть слегка интересуется общественной жизнью Польши, должен признать, что это сопротивление постепенно уменьшалось и теряло вес в противостоянии со стеной неуступчивости и наглости режима. Не было также никакого важного события, которое могло бы принципиально изменить соотношение сил в стране. В этих обстоятельствах как внезапное решение вступить в переговоры с оппозицией («круглый стол»), так и далеко идущие результаты этих переговоров должны пробуждать у трезвых наблюдателей серьезные подозрения и опаску. Так ли уходят от власти режимы, отягощенные миллионами преступлений против собственных народов? Спокойно, без борьбы, а то и упреждая желания противников?

Многие выдвигают аргумент, что-де экономические трудности не позволяют коммунистам и дальше держать власть, что жизненный уровень населения в странах блока грозил неконтролируемым взрывом и надо было уступить. Говорят, что сейчас «другие времена» и подавлять вспышки бунтов силой невозможно, что «коммунисты уже переменились» и т.п. Пример Китая наглядно



противоречит этим тезисам. И тут ни при чем «китайская специфика» или «врожденная жестокость китайцев». Попросту главную роль в случае Китая сыграла независимость тамошних коммунистов от Москвы. Китайские коммунисты считали «перестройку» непригодной для своих целей и по-своему сказали «нет». Там же, куда достигает влияние Москвы, восторжествовали «гласность» и «перестройка» — от Вьетнама до ГДР и от Эфиопии до Румынии. И все произошло в течение одного года! Неужели само хронологическое совпадение не будит подозрений? А может, это всего лишь случайность — или «дух времени?»

Кроме всего прочего, к подозрениям насчет приступа порядочности, якобы случившегося у коммунистов, нас должны склонять чувство реализма и элементарный опыт. Знает ли хоть кто-нибудь пример того, чтобы коммунисты вели игру по правилам, если не считать редких случаев, когда их заставляли это делать, оказывая сильный натиск извне и бдительно глядя на руки? Если такого примера не было, откуда берется вера, что на сей раз это «уже по правде»? Здравый разум подсказывает сохранять в такой момент пессимизм или уж, по крайней мере, трезвую, холодную дистанцию. Сохранять осторожность по отношению к всем известным лжецам, клянущимся, что с сегодняшнего дня они говорят правду, к многократным убийцам, отрицающим преступного прошлого, к ворам, присягающим, что будут честными...

Тем временем мы получаем новую «пропаганду успеха», взрыв патриотически-эйфорических высказываний. «Наконец-то мы в собственном доме...» — не перестаем мы слышать с экранов польского телевидения (а где же мы, черт возьми, до сих пор были!). Единственное, что огорчает наших прекраснородных патриотов, — состояние экономики, но и она может быть оздоровлена с помощью Запада, мудрых мероприятий «нашего» правительства и человеческого самоотречения («Не стой, помоги!» — это тоже говорят по телевидению). Неужели можно — в целом — не быть оптимистом? Неужели можно не верить в устойчивость и реальность перемен, когда в этом заверяет нас по телевизору сам Адам Михник, в прошлом оппозиционер, а ныне скромный поклонник Горбачева и Ярузельского?

Не подлежит сомнению, что сегодняшние перемены в Восточной Европе, известные под названием «перестройки», начались

в 1986 году, через год после назначения генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Горбачева. Ему лично приписывают авторство «перестройки», однако многое указывает на то, что решение об «эпохальных переменах» было принято в Кремле раньше, а Горбачеву досталась роль того, кто их осуществит. Таким образом, не потому мы получили «перестройку» и «гласность», что у власти стоит Горбачев, а наоборот: требовались перемены в функционировании империи — был выдвинут Горбачев. Его предшественником на этом пути был, кстати, Андропов, реформаторскую деятельность которого прервала смерть. Невзирая, однако, на то, является ли «перестройка» личным творением Горбачева или нет, важно, что ее коллективным инициатором и исполнителем является советская коммунистическая партия. Звучащие иногда и в Польше, и во всем мире страхи, что Горбачева лишат власти и тогда провалится «перестройка», — меня просто смешат.

Вне всякого сомнения, «перестройка» выгодна коммунистическому режиму. Коммунисты — отнюдь не политические самоубийцы и отнюдь, как я уже подчеркнул, не действуют вопреки собственным интересам. Если даже предположить, что они совершенно утратили свою марксистско-ленинскую веру, они все равно представляют режим — как его ни назови, — который по-прежнему будет защищать свои собственные интересы. Значит, в общем, не так существенно, остаются ли они коммунистами или же стали «агностиками». Это чисто академическая проблема.

Встает вопрос, что же тогда является их целью, чего они хотят достигнуть, расслабляя путы на управляемых ими народах.

Прежде всего, одно замечание: ограниченная или регламентированная свобода не тождественна свободе как таковой. Именованную ситуацию в нашей стране или других странах блока свободой — либо злоупотребление, либо наивность. Мы имеем дело всего лишь с некоторым участком дозволенной свободы. Кроме того, коммунистам — по крайней мере, до сих пор — даны полные гарантии, что этот участок в нужный момент они могут еще ограничить (этому, в частности, служит оставление в их руках милиции и армии). Таким образом, у нас в любую минуту могут отнять игрушки, которыми мы играем в демократию. Для нас гарантий нет. Пропагандистские же выгоды нашей ограниченной свободы для коммунистов — огромны. Не случайно Горбачев поль-

зуется таким успехом на Западе: «Вот человек, который дал народам Восточной Европы свободу». Воздействие, которое оказывают коммунисты на умы мировой общественности, расширилось и укротило значительную часть общественного мнения. Разве это не чистая прибыль? А ведь это не всё — они уже добились серьезного ослабления бдительности и боевой готовности НАТО, обещаны и новые шаги в этом направлении. В начальной фазе находится осуществление выдвинутой еще Сталиным концепции «нейтрализации Германии».

Пойдем дальше. Результат уверенности в нашем пути к свободе, уверенности, исходящей от нас и отражаемой к нам с Запада (и *vice versa*) — возрастающая экономическая, финансовая и технологическая открытость индустриально развитых государств мира по отношению к Восточной Европе. Преодоление экономикотехнологических барьеров — это очередная, запланированная и полученная, выгода «перестройки».

Еще одной целью «процесса перестройки» является модернизация империи — техническая и технологическая, но в первую очередь — организационная. В то время, как западная помощь позволяет улучшить состояние советской техники и экономики, действия в сфере «надстройки» меняют организационную форму советского государства и всей империи. Картина перестает быть ясной, однородной, понятной для рядового наблюдателя, а тем более — для участника событий. Тем не менее, всё, несомненно, идет в направлении создания системы: метрополия — колониальные страны (с довольно широкой автономией, но зависимые от метрополии). Эта система, безусловно, будет более сложной, чем исходное состояние, более разветвленной и динамичной, но главная цель — сохранить ведущую роль советской власти на азиатском континенте — будет осуществлена, по замыслу, еще успешнее.

Благоприятная ли это для нас ситуация? Несомненно. Немного свободы — всегда лучше ее полного отсутствия. Следует, однако, видеть и серьезные опасности: упомянутое отсутствие каких бы то ни было гарантий, нестабильность процесса «пробивания» пути к свободе, инструментальность этого процесса по отношению к перспективным интересам империи.

Человеку для жизни, кроме некоторого количества материальных благ (еда, одежда, угол для ночлега), нужен по меньшей мере один элемент нематериальной сферы — НАДЕЖДА. Без нее нельзя жить, именно она не дает заглухнуть жизненным процессам в самых тяжелых условиях, именно она способна, пусть временно, заменить остальные элементарные блага. Ее отсутствие убивает — как отсутствие еды или холод. Но именно на ней, на надежде, и воздвигаются миражи будущего, на ней паразитируют конструкторы «перестройки».

Это и есть причина, по которой так трудно убедить людей в лживости «перестройки». Никому не хочется терять надежду. А если они получают ее в достаточно красивой упаковке — то «потребляют» ее, стараясь не особенно вникать в ее основания. Они даже готовы нападать на тех, кто как будто хочет отнять у них надежду. Это случается как с обычными, «маленькими» людьми, подданными советской империи, так и с создающими общественное мнение мировыми кругами.

Дело, однако, в том, что *реальная надежда* может и должна строиться на реальных посылах. Тогда она не легковесна и не дешева — зато более сильна и реже подводит. Разумеется, надежду надо хранить всегда, но одно дело абстрактное «будет лучше», другое — вера в то, что конкретный путь, процесс или деятельность ведет в желаемом направлении. Этот второй вид надежды должен как раз обладать сильным рациональным фундаментом.

Так попробуем подумать, на чем в сегодняшней Польше, в сегодняшней советской империи строить эту надежду и на какой более устойчивой основе ее воздвигать.

Исходной точкой и базой должны здесь стать выросшие, умножившиеся в результате осуществления «перестройки» возможности активной общественной и гражданской жизни поляков (других народов тоже, но здесь мы сосредотачиваемся на польских надеждах). Динамизм людей, которым приотпустили коммунистические вожжи, обязан преодолеть, перевесить запланированный спокойный и ограниченный характер перемен. *У нас есть надежда*, что начатый процесс преобразования советской империи ускользнет из рук и из-под контроля его режиссеров. Потому-то решающим для благоприятного развития событий в Польше ста-

нет не расчетливая, «самоограничивающаяся» эволюция, а постановка совершенно «нереалистических» целей и требований и энтузиастичное стремление осуществить их. Не кунктаторское взвешивание, что нам можно, чего нельзя, но смелые и твердые шаги на пути к свободе. Сейчас наступило время игры, правила которой в большой степени расплывчаты, а частью еще и не установлены.

Общества, выходящие из тоталитарной фазы коммунизма глубоко больны, деморализованы и расколоты. Создание реальной надежды поэтому должно состоять также в «коренной работе» — воссоздании социальных, профессиональных и иных связей, отстраивании уничтоженных элит. Мы должны стремиться к построению общества сознательных граждан — эта необходимость, быть может, не так остра на Западе, но в Польше, подверженной воздействию деструктивной, деморализующей системы, это абсолютно необходимо. Нужно также расширять кругозор поляков. Целыми столетиями наше государство было родным домом многих народов. Сегодня мы с великим пиететом должны подходить к тем немногочисленным их представителям, которые вместе с нами вступают в ХХI век. Недооцениваемые и обычно незаметные, они представляют собою реликт нашей общей исторической судьбы. Мы должны также восстановить нормальные, партнерские отношения с нашими соседями. Страны и народы Восточной Европы, до сих пор насильственно склеиваемые в искусственное целое, теперь могли бы обрести настоящее единство. У них общий опыт прошлого и не противоречащие друг другу интересы в будущем.

\*

Итак, наши надежды следует связывать не с Горбачевым, не с успехом его очередных замыслов и пропагандистских акций, а с динамикой обществ и народов, жаждущих вырваться из коммунизма, с деятельностью людей, даже отдельных людей, в пользу полной внешней, но также и внутренней суверенности. Зато нам нельзя участвовать в мнимой, прикрывающей коммунизм деятельности. Это не только морально недопустимо, но вдобавок бессмысленно и бесцельно.

Основой же любой успешной деятельности должно быть правильное понимание действительности. Без этого не помогут и самые благие намерения — они не исправят действий, не адекват-

ных обстоятельствам. И самый лучший хирург не поможет, когда больному-сердечнику блистательно прооперируют... желудок.

Положение Восточной Европы в конце XX столетия сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Будущее же затянато густым туманом. Значит, тем более надо напрягать зрение, пытаться разглядеть то, что скрыто, и не поддаваться на призрачные обманы. Это долг мыслящего человека. Это, наконец, условие разумной деятельности.

*Перевела с польского Н.Горбаневская*

ЛАЗАРОВИЧ Ромуальд родился в 1953 году во Вроцлаве, окончил Вроцлавский университет. Журналист, с 1979 года активист оппозиции. Редактор «Нижнесилезского бюллетеня», выступавший под псевдонимами Ян Эварист, «Библиотекарь» и др. Сотрудник Корнеля Моравецкого. После объявления военного положения был первым редактором вроцлавской подпольной газеты «Изо дня в день». Автор ряда публикаций в подпольной печати. Участник Соглашения за проведение демократических выборов в «Солидарности». С марта 1990 журналист независимого агентства печати РП.

## СТРЕМЛЕНИЕ КРЕМЛЯ К МИРОВОМУ ГОСПОДСТВУ И ЕГО ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Выражение «стремление Кремля к мировому господству» мною взято из речей президента США Кеннеди. Под «Кремлем» имеется в виду олигархия или диктатор у власти, с их «аппаратами». После смерти или смещения диктатора к власти обычно приходит олигархия. Затем один из олигархов становится диктатором, лишив власти всех остальных соперников, и все повторяется сначала.

Одно историческое обстоятельство свидетельствует в пользу утверждения Кеннеди, на которое я всегда ссылаюсь в своих статьях и выступлениях по радио в США, ибо Кеннеди все еще считается в США выдающимся государственным деятелем, причем политически лево-умеренным (он представлял либеральное крыло Демократической партии). Дело в том, что, мало зная о борьбе за власть в Кремле, пока эта борьба длится — часто незримо и неведомо для внешнего мира, мы, однако, знаем задним числом о том, как яростно олигархи и диктаторы боролись друг с другом за власть с 1918 года, изощряясь в обмане, не брезгуя ничем и ставя на карту, если нужно, весь мир. Например, для того, чтобы лишить власти «министра обороны маршала Г.К. Жукова», который осуществил военный переворот в пользу «генсека ЦК КПСС Хрущева» летом 1957 года и уселся рядом с ним у власти как второй дуумвир, а возможно, и фактический диктатор, Хрущев создал осенью ложное мнение у всех, кроме себя самого, что начинается третья мировая война, и послал Жукова в Югославию на переговоры о военном союзе для того, чтобы сбросить соперника во время его отсутствия. То есть Хрущев, выражаясь слогом «Правды», «поставил мир на грань мировой катастрофы» для того, чтобы осенью отделаться от своего напарника, который летом спас его от «Молотова, Маленкова, Кага-

новича и примкнувшего к ним Шепилова», а те могли, между прочим, Хрущева и расстрелять, как Хрущев вместе с ними расстрелял Берию в 1953 году, потому что тот стоял на пути Хрущева к власти, поддерживая Маленкова.

Если так безудержно стремление каждого олигарха и диктатора к власти с ноября 1917 года, то очевидно, что столь же безудержно их общее стремление к власти по отношению к внешнему миру. Если Хрущев «поставил мир на грань мировой катастрофы» ради того, чтобы отнять с помощью обмана власть у своего друга-спасителя, товарища-коммуниста, русского, притом полководца Отечественной войны, то неужели кремлевские олигархи и диктаторы постесняются применить «военную хитрость» с той же целью по отношению к лицам других стран и верований? Если они так рвут власть друг у друга, то уж тем более не преминут они отнять ее у иностранных правительств — с помощью тайного роста необратимого глобального военного превосходства, например. А власть над миром разрешит навсегда и вопрос об их власти на территории бывшей Российской Империи. Чем больше их глобальная власть, тем меньше вероятность иностранной поддержки восстаний внутри страны.

Английская монархия передала власть своим подданным, а те отказались от колоний. Но ведь королева остается не только «царствующей особой», а и самым богатым человеком в Англии, и в обществе, где богатство дает в известном смысле больше власти, чем власть, это не такая уж невыгодная сделка с историей. У кремлевских же диктаторов и олигархов ничего нет, кроме власти. Упоенный собой, Горбачев заливается соловьем часами ни о чем, а Запад его слушает как замороженный, находя его мудрым, родным и любимым. Но отними у него власть некто Пупкин, и заливистых речей Горбачева ни о чем не будет слушать даже его жена, не говоря уж о детях. Как по волшебству, он превратится из величайшего государственного деятеля из ныне живущих (как называла газета «Нью-Йорк таймс» Сталина в 1935 г.) в болтливого пенсионера, который на Западе не найдет и пристанища, если его преемник — Пупкин — сочтет это нежелательным. В Пупкине же Запад откроет все те добродетели, которые Запад открывал в предшественниках Горбачева, причем тем более пристрасно, чем больше росла военная мощь каждого пос-



ледующего Пупкина. Возможно, глобальное военное превосходство Пупкина будет столь велико, что его будут называть на Западе Сократом Пупкиным и Иисусом Пупкиным. А Горбачев будет забыт, как был забыт в 80-х гг. Брежнев, которого обнимал в 70-х президент Никсон и целовал президент Картер.

Согласно Кеннеди, к мировому господству стремится не только Кремль, но и китайские диктаторы и олигархи, а в моем новогоднем газетном прогнозе на третье тысячелетие я предположил, что один миллиард мусульман уже воссоединен в единую империю вождем, по сравнению с которым Сталин, Гитлер, Мао и даже Пол Пот представляются Западу умеренными, ибо он «приговаривает к смерти» любого западного гражданина, высказывания которого он счел предосудительными. Согласно одному из двух вариантов моего прогноза, Кремль допустил стратегическую ошибку, и советская империя поэтому исчезла (ее территорию восточнее Урала занял Китай, а западнее Урала — революционно-исламская империя). Моя мысль заключалась в том, что исчезновение советской империи отнюдь не улучшит положения человечества, ибо не только советская империя, а подавляющее большинство населения мира пребывает в государственном рабстве, которое на Западе не называется рабством (над чем смеялся еще афинянин у Платона). Формально госрабы могут выехать из многих госрабовладельческих государств, но фактически Запад их не примет, а посему «бежать» — некуда. Сам Запад, население которого составляет немногим более одной десятой части человечества, выбрался из госрабства недавно (вспомним нацистскую империю по состоянию на лето 1942 года), и большинство человечества, вероятно, столкнет его обратно в госрабство, а затем, возможно, истребит с помощью той самой науки-техники, которая столь бурно возродилась в Европе Возрождения и обеспечила Западу господство над миром на добрых четыре столетия.

Хотя эта статья посвящена советской империи, последняя — лишь один из возможных трех игроков в стратегической игре госрабства против Запада, гибель которого погрузит человечество в безрассветную ночь неволи госрабов и междоусобицы госрабовладельцев, для которых уничтожение миллиарда жизней будет лишь чисто научно-техническим предприятием.

Используя выражение Кеннеди в своих статьях и выступлениях по радио в феврале 1990 года (когда пишутся эти строки), я заключаю из вопросов по радио и из писем читателей и радиослушателей, что американцы моложе тридцати-сорока лет его вообще никогда не слышали, а старше — вспоминают как язык далекого прошлого. Начиная с речи самого же Кеннеди 10 июня 1963 года, это выражение начало выходить из моды у всего западного истеблишмента. В 70-е годы оно совсем исчезло, не возродившись даже во время пребывания советских регулярных войск в Афганистане, воспринятое американским истеблишментом почти без единого исключения как советский разгром, хотя советское «покорение Гиндукуша», которое Британская империя тщетно пыталась осуществить и которое Кремль осуществил раз в десять быстрее российского покорения Кавказа, — одна из самых эффективных военных операций в истории войн, в результате которой советский марионеточный режим прочно сидит на станомом хребте Азии (о чем я твержу в одиночку в американской прессе вот уже третий год). Отметим заодно один из принципов кремлевской стратегии: покоряй ручные (западные) народы любовью, а дикие — сталью.

Посмотрим, из чего Кеннеди выводил стремление Кремля к мировому господству. Не из данных западной разведки, ибо ее практически не существует: она находится в состоянии советского государственного сельского хозяйства с той лишь разницей, что это малоэффективное сельское хозяйство все же производит вот уже шестьдесят лет на уровне военного снабжения, а (государственная) западная разведка лишь пускает пыль в глаза\*. Кеннеди выводил советское стремление к мировому гос-

---

\* Моя критика западной разведки началась с издания в 1978 году статьи «Что знает западная разведка о России», которая была перепечатана или подробно изложена в 500 периодических изданиях Запада, использована Рональдом Рейганом в его предвыборной борьбе и даже изложена (в искаженном виде) в советской печати, причем с восторгом (здорово, мол, «американский журналист НавроСов» их под орех разделал). Из трех моих ежене-

подству, сравнивая цифру производства стали в советской открытой печати с цифрами производства советских потребительских товаров из стали, то есть прежде всего легковых автомобилей.

Цифра производства стали — одна из немногих стратегических цифр, публикуемых в открытой советской печати: Сталин желал видеть воочию, как растет «выпуск стали» (которую уже Маяковский рифмовал со «Сталин»). Тщеславие победило стратегическую скрытность. А уж то, что при Сталине было «открытым», позднее редко «закрывалось». Кроме того, фотографирование советских сталелитейных печей в инфракрасных лучах с американских спутников показало, что цифра достоверна. Что же касается производства потребительских товаров из стали, то тут цифры в советской открытой печати, возможно, завышены, но уж никак не занижены.

Советское производство стали в 1958 году составило 54,9 млн. тонн. Ясно, почему цифра привела Кеннеди в ужас.

В США можно легко узнать не только цифру производства стали, но и ее использование, или, как американцы выражаются в своих справочниках, ее «доставку» — кому и сколько ее доставлено. Возьмем любой год между 1958 и 1990 гг. Скажем, 1982 год. Сумма всех «доставок» стали в США составила 55,5 млн. тонн, из которых 8,4 ушло на производство автомобилей. А в основном сталь поглотило строительство небоскребов (хотя даже и четырехэтажные здания часто строятся в США на стальном каркасе по соображениям стоимости) и автострад (которые тоже строятся на стальном каркасе), а также производство вездесущего скарба вроде садовой мебели и бесконечного торгово-ресторанного оборудования. А на производство военного вооружения и все военные нужды ушло 180 тысяч (нет, не миллионов!) тонн.

---

дельных газетных колонок одна посвящена западной разведке. Замечу, что под разведкой я имею в виду получение данных, которые противная сторона скрывает и о получении которых нашей стороной она не знает, а не, скажем, фотографирование территории со спутников, о чем обе стороны осведомлены, причём советская сторона применяет стратегический камуфляж.

Советский же расход стали на потребительские товары всегда был незначителен. Например, в том же 1982 году производство около одной четверти американского производства, причем много американских легковых автомобилей — тяжелые и сверхтяжелые машины вроде ЗИЛов советского политбюро. Потребление стали на советские легковые автомобили составило на 1982 год около 1% производимой стали. Таким образом, советское производство 54,9 млн. тонн стали в 1958 году представляло собой глобальную загадку, разгадку которой Кеннеди видел в советском расходе стали на тайное военно-стратегическое потребление, неизвестное западной разведке (впрочем, что ей известно?) и превышающее западное военно-стратегическое потребление стали настолько, что нельзя даже вообразить, на что же советская империя может расходовать столь уму непостижимое количество стали.

Уже после смерти Кеннеди Запад нехотя открыл одно весьма неприятное для Запада советское использование стали, причем как раз во времена разрядки международной напряженности, когда президенты США обнимали и целовали миротворца Брежнева. Дело в том, что европейские страны и даже США не могут существовать без заокеанского ввоза целого ряда товаров. Отсюда их морские пути, которые по-английски называются линии жизни. Если бы нацистские подводные лодки их перерезали, наступила бы смерть Англии, а затем и смерть США. С другой стороны, если советская империя введет жесткую карточную систему военного времени, она сможет жить, работать и воевать сколько угодно без всяких морских линий жизни. И вот Запад обнаружил, что у советской империи самый большой подводный флот в мире; что с 1978 г. советские подводные лодки строятся из толстолистового титана (который Запад не умеет производить и сейчас), а потому они самые быстроходные и глубоководные; что они оснащены ядерными ракетными установками (вот бы Гитлеру!); что они блокируют США со стороны обоих океанов; и что на 1990 год в советской империи — пять верфей, строящих подводные лодки, в то время как в США их две, причем они соответствуют по объему производства советской одной. Тут и у доверчивого дитяти может возникнуть подозрение, что советская империя не желает защитить Отечество, которое является, кста-

ти сказать, неприступной крепостью для любой страны мира, а желает иметь возможность перезапустить линии жизни между США, Евразией и Африкой, то есть проделать то, чего Гитлеру не удалось. Не думайте, что я намекаю на мировую войну. Да никогда в жизни! Это солдафон Гитлер ее устроил себе на погибель, вместо продолжения своей успешной мюнхенской политики. Ручные народы (помните?) надо покорять любовью. Промурлыкать им со сладчайшей улыбкой бывшего шефа МВД Грузии Шеварднадзе, что сердце разрывается при мысли о том, что есть еще в Кремле недобитые коммунисты, которые могут линии жизни перерезать, и население, скажем, Англии вымрет до уровня средневековья. Для того, чтобы эти тени прошлого не захватили, чего доброго, власть, Запад должен помочь друзьям Запада в Кремле. Мюнхенское соглашение 1938 года показало, что демократический Запад уступает, столкнувшись с сочетанием военного превосходства противника и возможности верить в его благие намерения.

Однако количество стали, необходимое для советских глобальных морских сил, — пустяк по сравнению с производством 54,9 млн. тонн стали в год, которое привело Кеннеди в ужас в 1959 году.

Часть «загадки Кеннеди» раскрылась в 80-е годы, когда Пентагон обработал данные эмигрантов и перебежчиков о том, что в Москве вот уже сорок лет строятся небоскребы из стали, как в Нью-Йорке, но только это не страховые и прочие компании, вздымающиеся ввысь, как памятники богатству, а убежища, уходящие вглубь под землю и соединенные со «спецаэропортами» «спецметрополитеном», проходящим под общедоступным метрополитеном. Но и это потребление стали — лишь небольшая часть советского выпуска стали, в честь которой назвал себя Сталин.

В 1990 году «Правда» от 28 января сообщила, что в 1989 году советское производство стали составило 160 млн. тонн, то есть на 100 миллионов больше цифры, которая привела Кеннеди в 1959 году к заключению о стремлении Кремля к мировому господству. А производство легковых автомобилей за 1989 год? Оно составило 1.217 тысяч, то есть опустилось до уровня 1975 года — ушло на 15 лет назад. Виноваты ли в этом «советские кризисные

явления», о которых мы читаем ежедневно в советской и западной (я чуть не написал «советско-западной») печати? Нет, план недовыполнен всего на 4%, согласно «Правде». Значит, Кремль и желал выпустить так мало легковых автомобилей в 1989 году. Вот когда Франция и Германия закончат строительство новых советских сталеплавильных печей, а США построят новые советские автомобильные заводы, тогда и производство легковых автомобилей увеличится, то есть Запад его увеличит, не затрагивая заветных 160 млн. тонн стали и не отнимая у военно-стратегической сверхмонополии, созданной Сталиным, никаких научно-технических ресурсов на разработку потребительских пустыков вроде легковых автомобилей.

Итак, сенатор, а затем президент США Кеннеди сделал заключение мировой важности на основании советского производства стали. По истечении первого года его пребывания в Белом Доме его внутреннюю и внешнюю политику, основанную на этом заключении, одобрило 79% населения США, включая практически весь истеблишмент. Как же относилось ЦРУ к этому заключению, когда члены Конгресса спрашивали ЦРУ: «Да что же такое, черт возьми, они делают со своей сталью?» Я много раз цитировал ответы ЦРУ. Но полезнее понять умственно-психологический настрой ЦРУ и всего западного истеблишмента. Об этом далее и пойдет речь.

### *Иваны никчемные*

Некоторые москвичи полагают, что в мире живут в основном две нации: русские и евреи, причем многие русские считают, что евреи русофобы, а многие евреи, что русские — юдофобы, или, как сейчас принято выражаться, антисемиты. В известной степени, обе стороны правы. Мой отец (русский) хотел назвать меня Иваном. Моя мама (еврейка) не могла вспоминать об этом без смеха. Разве это не русофобство? Тем более, что Иван — русская огласовка древнееврейского имени. В качестве контрмеры мама предложила Абрама (в честь дяди). Хотя Абрам, кажется, есть в святцах, отец был оскорблен в своих родительских чувствах (дядя Абрам нюхал кокаин и был вообще вечный неудач-

ник). Разве это не антисемитизм? Однако давно уже сказано, что самообожание — свойство каждого человеческого существа. Отсюда групповое самообожание, как, например, самообожание нации, а следовательно, и невольное умаление всех чужих, всех инородцев и всех остальных наций. Не только русские и евреи в Москве «не обожают» друг друга, а каждая нация обожает себя за счет остальных трех тысяч наций. Есть исключения, но эти исключения возникают в силу преодоления инстинкта, подобного преодолению инстинкта эгоизма, жадности, голода, пола или власти. Я же говорю о массовом инстинкте и о «средних величинах», которые и не замечают своих инстинктов, а если замечают, то, наоборот, считают их высшими помыслами. С этой точки зрения, для американцев русские (как они часто называют всех жителей советской империи, не утруждая себя делением на русских, евреев, грузин и так далее) — это «Иваны», которые напоминают «Абрамов», как их изображают антисемиты, то есть недочеловеков, либо опасных, либо смешных.

До 1963 года советская империя была еще слабой. Поэтому западные обыватели желали считать Иванов опасными недочеловеками. В 1990 году советская империя располагает явной и тайной глобальной мощью, соответствующей производству 160 млн. тонн стали в год. Поэтому западные обыватели желают считать Иванов смешными недочеловеками, чтобы обмануть себя, и это им удастся.

Не буду говорить об убеждении многих американцев о ничемности Иванов в науке и технике (в свое время то же самое говорилось многими американцами-нееврейями об американских евреях, а потом многими американцами, евреями и нееврейями, о японцах). Тут дело ясное: когда я сказал, что сейчас происходит борьба за космос подобно борьбе XV столетия за господство на морях и океанах, а советская постоянная космическая станция «Мир» действует вот уже четыре года, опередив будущую американскую станцию на десять лет по крайней мере, то мой редактор, молодая американка ирландского происхождения, наверняка неспособная отличить винт от гвоздя, ответила мне: «Хлам!» Однако в 1990 году оказывается, что Иваны не способны и к литературе, а ведь на Западе считалось, что литература — это единственное, к чему они вообще способны.

Литературное приложение к лондонской «Таймс» (которое читают и в США) поместило большую статью о Борисе Пастернаке (9-15 февраля 1990, с.135-136). Хотя три поколения нашей семьи считают явление Пастернака в русской поэзии вроде явления Шекспира в английской драме, я отнюдь не против статьи по случаю столетнего юбилея Пастернака, которая бы доказывала, что Пастернак — ничто. Но как же можно заказать такую статью лицу, не знающему русского языка? А очень просто! Какой же у этих дикарей вообще язык? Неужели цивилизованный англичанин, некто Иосипович, должен учить его прежде, чем судить об этом самом их Пастернаке?

Заключительные строки «Февраля» («И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд») Иосипович приводит не в переводе моего сына Андрея (только что вышедшую в Англии книгу которого Иосипович упоминает), а в переводе, который звучит так: «И определенно и неожиданно стихи текут, плача, из пера».

У Пастернака само русское наречие «навзрыд» — шопеновский «разложенный аккорд» вроде начала в левой руке ре-минорной двадцать четвертой прелюдии. Навзрыд. Какое наречие! Оно само навзрыд. В порядке антисемитизма: возможно, еврейство Пастернака помогло ему открыть русский язык как бы заново (а возможно, просто он был гений, и в этом христианнейшем из миров поэты — жида). Даже в 1990 году написанное навзрыд стихотворение производит впечатление первозданной свежести, неслыханной новизны и в то же время классической мощи. А ведь оно было опубликовано в 1912 году. Мне неизвестно ничего из написанного по-английски в XX веке, что было бы современнее этого стихотворения, опубликованного 78 лет назад. Требовать его перевода от данного «переводчика на английский язык» — это все равно, что требовать от первого встречного сочинения двадцать четвертого прелюда Шопена. Однако замечательно, что и весьма понятную на Западе мысль Пастернака о том, что «чем случайней, тем вернее», переводчик ухитрился тоже уничтожить.

Из этого «перевода» Иосипович заключает, что Пастернак — это нечто вроде английского Надсона (Джона Бетжемана). А иначе почему же эти Иваны его так раскупают? Не только в стихах, но и во всех отношениях этот Надсон, по мнению Иосипо-



вича, — посредственность и даже пошлость. Но отчего же он так известен на Западе? А оттого, что он — «жертва советского угнетения». Видимо, так называемая русская культура как бы началась с «Доктора Живаго» (и «Не хлебом единым?») и угодила в сенсацию на Западе в 60-х, благодаря «советскому угнетению».

Заметьте, что во всей статье самого Габриэля Иосиповича нет ни одной фразы выше уровня среднего советского школьного преподавания литературы. Но ведь Иосипович — не какой-нибудь там Иван Иванов или Борис Пастернак. Габриэль, он на много голов выше любого Ивана или Бориса\*.

А если Ивановы и в стихах так никчемны, то что же они умеют? Кампания в советской печати о том, что Ивановы (или в «Нашем современнике» и «Молодой гвардии» — Абрамы) коммунизма не построили (куда им!), а только все испортили, все развалили, все (и всех) погубили, а недавно, к тому же, еще и проиграли войну в Афганистане, да и хозяйственного мыла «даже в Москве» нет, бьет в самую уязвимую точку западного обывателя: его желание верить в свое заведомое превосходство над Ивановыми (и Абрамами, которых американская телевизионная программа «Русские уже здесь» не отличила от Ивановых в смысле полнейшей никчемности).

Зачем же Кремлю распалать страстное желание западного обывателя верить в свое превосходство над Ивановыми? На этот вопрос ответил китайский стратег Сун Цу веков этак двадцать пять назад: «Чем ты слабее, тем больше изображай силу, а чем ты сильнее, тем больше изображай слабость». Когда советская империя была бессильна с 1946 и до 1949 года, а затем слаба вплоть до 70-х годов, какую силищу она изображала! В ныне рассекреченных донесениях ЦРУ конца 40-х и начала 50-х годов сказано,

---

\* Интересно проследить, как на Западе презрение к Ивановым совмещается с обожанием Сталина или Горбачева. Чем никчемнее недочеловеки, тем более сочувствия заслуживает Сталин или Горбачев, пытающийся цивилизовать, очеловечить и научить их уму-разуму.

что настолько советская империя кипуча, могуча и никем не победима, что она начинает (уже начала) третью мировую войну против всего мира, чтобы покончить с ним раз и навсегда. А ныне — какое бессилие советская империя изображает! И ничего нет лучше для этой цели, чем распалить страстное желание западного обывателя верить в свое врожденное превосходство над смешными русскими недочеловеками.

Нынешняя стратегия Кремля зародилась при Сталине. Ее передаточным звеном явился Андропов, глава КГБ, сделавший себя генсеком ЦК, а Горбачева своим помощником. Об этом далее, но в настоящей связи я хочу отметить лишь одну подробность. Ни один бывший советский подданный никогда не был штатным советником по советской империи президента США или помощником директора ЦРУ. Андропов же возвел англичанина Кима Филби в генералы и выслушивал его еженедельно по-английски. Возможно, Андропов так же презирал Филби, как Иосипович Пастернака. Но тому, что такое страны английского языка, он учился у англичанина, в то время как западный обыватель готов учить Пастернака, как писать стихи на неизвестном западному обывателю русском языке.

Кто же «изображает бессилие» советской империи в советской печати?

Мне хочется выбрать, как сказали бы в статистике, «среднего работника советской культуры» с 1918 по 1990 год. Я беру Маршак, и чем он выше среднего, тем лучше для моей задачи. Уж, конечно, Маршак умнее и талантливее Иосиповича, какой, вполне возможно, — «средний работник западной культуры». Помнится, Маршак процветал еще при Николае II и Керенском, а не только при Ленине и прочих.

И вот (Маршак был тогда уже болен, и говорили, что ему недолго жить) у нашего общего знакомого собрались Маршак, Евтушенко, покойный поэт-переводчик Лев Гинзбург и молодой литератор, имени которого я не помню, но судьба его была замечательна тем, что его арестовали после смерти Сталина и, продержав на Лубянке, выпустили. Когда мы с женой вошли, Маршак добродушно, но деловито расспрашивал его о том, применялись ли пытки на Лубянке после смерти Сталина. Потом Маршак рассказал, что он видел фильм Чаплина на закрытом про-

смотре. «Да, — грустно сказал он. — Америка...» — «Ну и что же Америка?» — спросил я вызывающе. «Ад», — сказал он. Все почитительно молчали. «Но позвольте, — лез я на рожон, — всякую страну, в том числе и нашу, можно тоже изобразить как ад. Ведь это же фильм, и даже не документальный». Потом Маршак сказал нашему общему знакомому, что мой ум напоминает ему картины Бердслея — чудовищно извращен. Нашу страну тоже можно изобразить в фильме как ад! Надо же извратить свой ум до такой чудовищной степени, чтобы сравнивать нашу кипучую, могучую, никем не победимую страну, которая все же как-никак движется к краю на земле, с загнивающей, разлагающейся и распадающейся Америкой, которую великий Чаплин изобразил как ад.

Виталий Коротич написал мне письмо, где он пишет о честности и искренности своего журнала «Огонек» (см. письмо и мой ответ в газете «Панорама», 23 февраля — 2 марта 1990). Но разве Маршак был менее честным и искренним? Коротич не замечает (как не замечал и Маршак), что его честность и искренность соответствуют стратегии диктаторов и олигархов Кремля в их борьбе за власть над Кремлем и над миром. О том, какова стратегия самого Горбачева, я скажу далее. А пока замечу, что в конце 80-х годов Кремль и лично Горбачев пожелали, чтобы советская печать изображала советскую жизнь как ад, а Запад — как кипучий, могучий, никем не победимый, как рай, как коммунизм, но только он называется демократией, капитализмом или, скажем, антикоммунизмом, который неотвратимо торжествует во всем мире, в то время как советская империя загнивает, разлагается и распадается. Она — в кризисе, и прежде всего в экономическом кризисе (подобно тому, который виделся Маршаку в США).

### *Экономический кризис?*

В советской империи существует с начала 30-х годов явная или скрытая карточная система для всего населения в целом, как и полагается в военизированной империи. Маршаку это казалось верхом социальной справедливости (социализмом) и даже преддверием рая на земле (коммунизма). Тем более, что Маршак жил

в Москве, где было создано некое подобие райского уголка за счет остальной страны. В 1946 году советское производство зерна составило менее 40 млн. тонн. Вне Москвы лица, не имеющие ни правящего, ни стратегического значения, умирали с голоду, но в самой Москве никакого кризиса Маршак не видел, ибо Москва всегда снабжалась по высшей категории. В конце 80-х годов производство зерна в среднем составляло 200 млн. тонн в год (что подтверждается наблюдениями со спутников), да ввозилось около 40 миллионов, и, следовательно, в среднем по стране выдавали, считай, раза в три-четыре больше, чем в 1946 году. Но перепады между различными «зонами снабжения» Кремль уменьшил! И что же? В Москве начались перебои в снабжении — правда, не хлебом, а хозяйственным мылом. Кризис! А когда вне Москвы рядовое население годами не видело никакого мыла — ни тебе хозяйственного, ни туалетного, а мылилось золой и ело толченую кору и прочее вместо хлеба, то это был не кризис, ибо Москва жила как у Маркса за пазухой. Зато нынче — кризис! Ад! Агония! Жалуйся, протестуй, кричи на весь мир: мол, перебои в снабжении хозяйственным мылом по талонам.

Может ли «кризис» беспокоить сам Кремль со стратегической точки зрения? Никак не может! Одна из причин, почему США проиграли войну во Вьетнаме, — прихотливость населения и, следовательно, солдат США, то есть привычка к тому, что прихоти исполняются и жизнь разнообразна. Одна из причин, почему советская империя выиграла войну в Афганистане, — неприхотливость советского населения и, следовательно, советских солдат, то есть привычка к единообразному снабжению военного образца с перебоями.

Теперь представим себе рядового работника ЦРУ, специалиста по советской империи. Это вполне может быть Иосипович, у которого нет никаких способностей к умственному труду, ибо университетский диплом, то есть звание бакалавра, фактически можно купить, как некогда дворянское звание. Поскольку университеты в США — коммерческие предприятия, некоторые из них не откажутся держать в своих стенах кого угодно за соответствующую плату и выдать диплом. Если сами Иваны советской прессы полагают, что Иваны советских вооруженных сил, воен-

ного производства и КГБ ничего не умеют и ни к чему не способны, то что же говорить об Иосиповиче из ЦРУ? Спросите его, куда девается советская сталь.

«Куда девается советская сталь? Да разве сами Иваны знают, куда? Зачем им вообще сталь? Они свой дикарский коммунизм строили 67 лет, потом бросили пять лет назад, а теперь у них кризис! Даже в снабжении мылом у них перебои. Да разве Иваны знают, как использовать сталь? Они ее только в отходы переводят. Все, что они из нее делают, затратив тонну тонн, где наш брат, деловой американец, затратит килограмм, все равно годится только на лом. У них ничего никогда не работает, все всегда выходит из строя, никому ни до чего нет дела, никто ни за что не отвечает, и все идет прахом и на ветер. Их империя гнивает, разлагается, распадается. У них ад! Какая сталь?»

Однако в США имеются копии всех документов нацистской Германии, из которых мы можем вывести, сколько вооружения производила советская империя с 1941 по 1945 год по данным немецких военных, а не только по советским данным. Советское производство стали в среднем за год составляло 11,3 млн. тонн, крошечная цифра по сравнению с 1990 годом. Производство нацистской империи (а она простиралась от Норвегии до Африки) составляло 33,4 млн. тонн. Советская империя произвела в 1,8 раз больше, чем нацистская, танков, самоходных артиллерийских установок и орудий. Подобные сопоставления позволяют заключить, что советское использование стали в смысле производства вооружения (а это была также и цель нацистской империи, не так ли?) было в несколько раз более эффективным, чем нацистское. Но Германия славилась своей экономикой, а США славятся своей расточительностью. Как же можно верить, что американское использование 180 тысяч тонн стали на военные нужды эффективно, а советские 160 миллионов тонн стали идут в основном в отходы, брак и лом? Неужели в 1990 году советская сверхмонополия использует сталь менее эффективно, чем она использовала ее полвека назад — во времена страшной войны?

С другой стороны, представляют ли собой США ренессанс всех наук и искусств, расцвет творчества во всех областях и, в частности, этакий фонтан свободного предпринимательства, эдисоновских изобретений и непрерывно обновляемой техники?

Я начинаю свое открытие Америки с той точки, где я сижу за столом у окна, потом перехожу к тому, что я вижу в окне, и таким образом описываю весь наш преуспевающий буржуазный район Нью-Йорка. Мне он нравится потому, что везде сквозь кривые тротуары растут лохматые деревья, как в глухой деревне, поют птицы, звонят колокола, все столбы электропередач тоже косые (во время войны все это рухнет), а кирпичный дом на углу, похожий на советскую школу-новостройку, которую строили никак не более эффективно, чем в Сызрани, почему-то бросили, и он буйно зарос бурьяном, в который прохожие бросают разную тару и другой утиль. Когда я с друзьями прохожу мимо, я говорю им: «Желаете видеть расцвет творчества в США? Вот он!» И я показываю на бурьян, достигший второго этажа новостройки. Советский прораб закричал бы, что бурьян разрушает фундамент: еще несколько лет, и дом придется снести. А мы смеемся. Пишут в газетах, что разные подземные коммуникации и вообще городское хозяйство под Нью-Йорком амортизировалось и выходит из строя все время, недавно упал мост, а сабвей, то есть нью-йоркское метро, вообще кажется изготовленным на живую нитку деревенскими умельцами во время стихийного бедствия. С другой стороны, частная торговля на улице, ведущей к сабвею, — процветает. Но она процветала и в древней Вавилонии.

Приехавший в Нью-Йорк «известный работник советской культуры», которого я любил в Москве за частные разговоры, посмотрел на бурьян у брошенной школы-новостройки, а потом взгляделся в мое лицо и спросил: «Но почему же вы счастливы?»

— Потому что свобода — это воля. Жизнь по своей глупой воле. Посмотрите на вон тот дом-уродец: похож на советскую генеральскую дачу. Ее построил себе бывший советский солдат. На то его воля: жить советским генералом. У меня, возможно, самый большой письменный стол в Нью-Йорке, весь в рукописях, и моя воля: не трогай (моих рукописей). Каждый из нас живет по своей глупой воле. Я пишу, а бывший советский солдат, ничего не читавший после графа Монте-Кристо, продает оптом книги, едва умея прочесть по-английски их названия. Все мы вместе — как этот дикий бурьян. Этот бурьян — определение свободы. Посмотрите на все эти дома и кривые тротуары и косые столбы

— это как бурьян, буйный хаос воле, растущих каждая сама по себе, какофония человеческих прихотей, жизнь на живую нитку, или, как говорили в старой России, «на живульку».

Но что же в начале моего открытия Америки, в той точке, где я сижу за столом? Ножницы, изделие из стали, якобы эффективное ее использование. Как инженер по одному из своих советских образований, свидетельствую: сталь никуда не годится, концы ножниц либо гнутся, либо ломаются, ножницы так или иначе обычно не режут, быстро распадаются, пальцы застревают в кольцах, черная краска с них слезает. За триста лет частного предпринимательства со времен промышленной революции и за восемнадцать лет со времени моего приезда в Нью-Йорк производство ножниц для продажи в Нью-Йорке не продвинулось ни на йоту.

Советское производство вооружения из 160 млн. тонн стали в год всасывает все лучшее в советской империи, а на потребительские товары и услуги идут в основном остатки. В США производство ножниц по крайней мере так же выгодно для частного предпринимателя, как производство любого оружия, которое отнюдь не обязательно выше по качеству нью-йоркских ножниц.

Меня как советского офицера запаса на сборах под Москвой обучали еще в 50-е годы обращению с трофейным оружием. Сержант (этакий Иван Чонкин!) принес четыре дымовых шашки (французскую, английскую, американскую и советскую), и мы захохотали. Все три западных шашки напоминали изящные коробки импортных сардин, а советская шашка напоминала мятый советский бидон, выкрашенный немислимой масляной краской цвета грязи. Большинство из нас были русскими. Но мы хохотали над партийно-государственными или необразованными русскими, над неинтеллигенцией, над «административно-командной системой», которая и дымовой шашки не может сделать. Французская и английская шашки дыму почти не давали, но, когда сержант поджег американскую, дыма было больше, и мы заорали, выражая, так сказать, наше низкопоклонство перед Западом. Потом он поджег советскую шашку, и наступила мертвая тишина. Советская шашка создавала дымовую завесу, а изящные шашки трех западных стран — облака разреженного дыма, сквозь который западных солдат перестреляют из автоматов.

Говорят, что советский колхоз или совхоз не эффективен потому, что это бюрократия, а чиновникам лишь бы жалование получать. А западным чиновникам по военному ведомству, эти шашки принявшим, не лишь бы жалование получать? Не проиграли ли США войну во Вьетнаме, а советская империя войну в Афганистане — выиграла? В советской империи воля (к власти, вместе с талантом и гением в соответствующих областях) сосредоточена в Кремле, то есть в держателях акций мирового господства, хозяев страны и, возможно, хозяев мира. Они кровно заинтересованы в процветании своей фирмы «Мировое господство и К°». И фирма процветает. В США воля (к богатству, вместе с талантом и гением в соответствующих областях) рассредоточены в частном предпринимательстве (что не всегда приводит к производству удачных ножиц, например). А ЦРУ — это американский колхоз или совхоз, где никто ни в чем не заинтересован (кроме жалованья), но все верят, что в США — коммунизм (он называется капитализмом, демократией и даже иногда антикоммунизмом), в то время как никчемные Иваны — это смешные дикари, страшные снаружи, но добрые внутри.

### *Соло (диктатор) и оркестр (Кремль)*

Борьба Кремля в целом за мировое господство — это как бы игра оркестра, но в ней слышна и сольная партия: борьба предсовнаркома Ленина, а затем каждого генсека ЦК за свое личное господство над Кремлем. Олигарху Ленину так и не удалось стать диктатором, хотя он и мечтал об этом письменно. Даже до своей болезни он был лишь олигархом, одно время наряду с тремя другими олигархами — Сталиным, Троцким и Каменевым, без которых он не мог принять ни одного достаточно важного решения. После того, как олигархи посадили рвущегося к диктатуре Ленина под своего рода домашний арест под предлогом болезни, генсек ЦК Сталин был тоже прежде всего олигархом. Даже после смерти Ленина советские справочные документы подчас представляли Сталина как «одного из секретарей ЦК»: слово «генеральный» не было широко известно.

Почему же официально никогда не существовало главы (например, председателя) партии, а всегда существовали лишь се-



кретари ЦК? Потому что глава правящей партии пролетариата в условиях диктатуры пролетариата — это явно узаконенный диктатор, тиран, некоронованный самодержец эпохи абсолютизма. Вспомним, что социал-демократы (большевики) отрицали не только бога (даже с маленькой буквы) и царя, но и «героя» в истории: «Не бог, не царь и не герой». Генсек ЦК подчиняется, формально говоря, ЦК. Став диктатором, Сталин, разумеется, никакому ЦК не подчинялся, но и диктатор Сталин сохранил видимость, что он — всего лишь генсек ЦК, который подчиняется ЦК, избирается ЦК и может быть снят ЦК. С 1985 года и до 22 января 1990 года генсек Горбачев формально подчинялся ЦК, а фактически — политбюро, которое состояло в основном из ставленников Андропова, главы КГБ, ставшего генсеком в 1982 году, а с 1978 года расчистившего путь в политбюро своему ставленнику Горбачеву, убрав Кулакова и Машерова\*.

Притязать на пост главы (например, председателя) РСДРП(б)—РКП(б)—ВКП(б)—КПСС — это значило бы требовать себе узаконенного поста диктатора, который даже формально не подчинялся бы ни ЦК, ни политбюро, а подчинялся бы формально лишь «партии», «народу», «человечеству», то есть практически никому на белом свете. На подобную открытую узаконенную личную диктатуру не решился даже Сталин, когда он был диктатором, так сказать, незаконно и тайно, то есть фактически, но не формально.

Но вот утром 13 февраля 1990 года жители советской империи прочли в «Правде» на второй странице: «Предлагается (не

---

\* Здесь нет места перечислять источники (включая мои колонки с 1981 г.). Замечу лишь, что наиболее убедительным документом в деле Машерова является статья в еженедельнике «Московские новости» от 14 января 1990 г. под сенсационным анонсом на первой странице: «Несчастный случай или политическое убийство?» Статья является «контрпропагандой», цель которой — опровергнуть наши доказательства политического убийства Машерова в 1980 году. На самом деле эта «контрпропаганда» является более веским доказательством этого политического убийства, чем все наши доказательства, вместе взятые. См.: Лев Наврозов, «Нью-Йорк сити трибюн», 19 февраля 1990.

просто Горбачевым, а полным составом политбюро ЦК и ЦК. — Л.Н.) избирать на съезде партии Председателя КПСС и его заместителей», то есть Горбачева как открыто узаконенного диктатора — узаконенного сверх-Сталина.

Для того, чтобы стать диктатором, Сталин уничтожил партию состава 1922 года. Тем самым он беспрепятственно изменил состав ЦК и политбюро. Горбачев же отменил власть ЦК и политбюро над собой, объявив себя законным диктатором, стоящим над ЦК и политбюро. Действительно, «советское государство» было до 1990 года неправовым, а вот теперь оно будет правовым: Горбачев — Сталин по праву, по закону, по всей правовой форме.

Как же Горбачев добился от политбюро 22 января с.г. самоустранения от власти? Путем создания впечатления в течение трех лет, что советская империя — в смертельном кризисе, она загнивает, разлагается, распадается, она накануне гражданской войны, восстаний национальных окраин и вообще гибели. Чтобы спасти ее, нужен «сильный лидер», как выразилась «Правда». Стало ясно, над чем трудился Коротич и все честные и искренние Маршаки конца 80-х годов. В стране ад, а не рай. Наоборот, рай — на Западе. Кто же может вызволить страну из ада и повести ее к капиталистическому (или хотя бы западно-социалистическому) раю? Никто, кроме Горбачева! Не станет страна кипучей, могучей, никем не победимой, если он не окажется узаконенным Сталиным! Благодаря кому расцветет дружба народов и воцарится мир во всем мире? Опять же только благодаря Горбачеву!

Уже 4 февраля, накануне открытия пленума ЦК, «Правда» поместила письма трудящихся, часть которых «жаждет сильного лидера». Сказать по-русски «жаждет вождя» — получится «жаждет Сталина», а сказать по-немецки «жаждет фюрера» — получится «жаждет Гитлера». А вот сказать по-английски «жаждет лидера» («вождя») — это в самый раз. Тем более, что председатель КПСС будет одновременно президентом в американском духе. Тут надо по-английски выражаться. А как насчет выборов этого президента населением? Член президиума Верховного Совета Анатолий Горбунов сказал на это московскому корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс» Биллу Келлеру: «Для выборов президента населением просто нет времени!» (см. номер от 21

фев-раля). Еще бы! Перебои в снабжении населения хозяйственным мылом, а тут еще всенародные выборы устраивать! Ад! Загнивание! Распад! Разложение! Забастовки! Гражданская война! Восстания национальных окраин! Гибель! Какие там всенародные выборы?

Корреспонденту также сообщили, что проект президентства вообще-то предусматривает всенародные выборы, но «для Горбачева проект делает исключение на основании того, что страна в кризисе» (там же). Видите? В кризисе! Прямо как Америка глазами Маршака. Сталин любил всенародные выборы, и, без сомнения, Горбачев их тоже устроит, с той лишь разницей, что он получит не 99,9%, как Сталин, а, скажем, 76,4% голосов. Демократия! Плюрализм! Многопартийность! Но это потом, когда «сильный лидер» вызволит страну из ада. Пока же, 21 февраля, Горбачев явно опасается поражения на выборах.

Инженер-железнодорожник из Читы сказал в своем письме в той же «Правде» от 4 февраля, что страну надо отрезвить: произошло «опьянение свободой» (так озаглавлено письмо). «Поэтому согласен с Е.Амбарцумовым, что сейчас не обойтись без элементов авторитаризма».

Чтобы обеспечить госсвободу, надо сначала создать госрабство. Как в ноябре 1917 года. Да, заключает в «Правде» инженер-железнодорожник, «должна быть укреплена власть политического и государственного лидера страны». Не вождя или фюрера, не Ленина или Сталина, а Горбачева, не тирана или деспота, а спасителя страны и человечества.

Бывает, что мастер по ремонту какого-то вида машины в Нью-Йорке сначала расшатывает-разбалтывает ее настолько, насколько это необходимо для того, чтобы владелец пришел в отчаяние, слыша, как мастер описывает ее якобы безнадежное состояние, до которого ее якобы довели прежние мастера по ремонту. А затем мастер дает понять, что только он и может ее спасти (за соответствующее вознаграждение), и он легко ее спасает, ибо все расшатывание-разбалтывание было обратимым.

С помощью «демократизации» Горбачев расшатал-разболтал советскую империю как раз настолько, насколько это необходимо, чтобы он оказался единственно возможным ее спасителем, но, конечно, не настолько, чтобы и вправду возникла,

не дай Бог, эта самая демократия, при которой за него будет голосовать разве что его жена, ну и, возможно, Коротич.

А чтобы «спасти» советскую империю, никакой «сильный лидер» не нужен. Горбачеву это и сейчас ничего не стоит. Перебои в снабжении хозяйственным мылом? Достаточно Горбачеву собрать еще раз редакторов и разъяснить им, что тот, кто пропустит материал о перебоях в снабжении хозяйственным мылом и прочими признаками ада, смертельного кризиса и гибели, вылетит из редакторского кресла. Ну и, конечно, перебросить мыло туда, где бывают иностранцы, за счет остальной территории. В одночасье станет советская империя опять клепучей, могучей, никем не победимой, как она виделась Маршаку.

Троцкий с упоением вспоминает, как Ленин заявил ЦК, что если ЦК не согласится с Лениным и Троцким, то те «пойдут к матросам». То есть матросы разнесут ЦК, а Сталина, Каменева, Зиновьева и всех несогласных тут же заодно и прикончат.

На политбюро 22 января 1990 года Горбачев дал понять, что если Политбюро с ним и его сторонниками не согласится, то они «пойдут к народу». То есть демонстрация москвичей разнесет несогласную с ними часть политбюро, а ни вооруженные силы, ни МВД, ни КГБ вмешиваться не будут, не получив на то от расколовшегося политбюро никаких указаний\*.

Замечательно умная американка, которая взяла у меня интервью по радио 6 февраля, сказала: «Но какая опасная игра!»

— Не мне вам напоминать английскую поговорку: «Тот, кто ничем не рискует, ничего не имеет», — ответил я. — Какой же у него выбор? Что ему терять? Через годик-два политбюро бы его выбросило, сделав из него еще и козла отпущения за весь тот «кризис», который он сам же и устроил. В лучшем случае он превратился бы в безвестного пенсионера под охраной КГБ, а в худшем над ним учинили бы суд, обвинив его во всем, включая перебои в снабжении хозяйственным мылом.

---

\* Документальных данных о заседании политбюро 22 января у меня нет, да, вероятно, таковые и не появятся впредь до следующего переворота.

Сталина привели к фактической диктатуре в основном новые простодушные партийцы «от станка и сохи», которые начали сменять с 1922 года «старую гвардию». Горбачева привела к узаконенной диктатуре интеллигенция, которой кажется, что она вот уже добрых три года режет правду-матку. Не говорит же она то, что говорил Маршак при Сталине. А говорит она прямо обратное. О том, что в стране ад на земле, страна на краю гибели и необходимы гласность, перестройка, революция, демократия, смена всего и всех. Но в этом именно и заключалась не только стратегия Кремля в целом для достижения мирового господства, но и стратегия лично Горбачева для достижения его личного господства над Кремлем и миром. В стране, по его словам, происходит революция. А «вождь революции» и оказывается обычно диктатором, который наводит такой порядок, какого и до «революции» никому не снилось.

Сольная партия — стремление к личной диктатуре — не всегда полезна для стремления всего оркестра-Кремля к мировому господству. Но будущий возможный или текущий диктатор думает прежде всего о своей власти над Кремлем, а потом уже о власти Кремля над миром. Он так перефразирует Евангелие: «Что толку человеку приобрести весь мир, но потерять власть свою?» Личная влатсь — это его душа, а весь мир — это лишь приобретаемый весь мир. Уничтожив руководящие военные кадры, Сталин обезопасил душу свою от опасности военного переворота. А то, что он ослабил тем самым свою же военную мощь, явилось неизбежным малым злом ради великого добра, хотя в 1941 году Сталин и сам чуть не погиб благодаря уничтожению своих же военных кадров.

С другой стороны, стремление будущего возможного или текущего кремлевского диктатора к своей личной власти созвучно стремлению всего Кремля к власти над миром, ибо и сам будущий возможный или текущий диктатор к ней тоже стремится. Поэтому меры Горбачева с 1985 года имели обычно двойную цель: его кремлевское и его мировое господство. Горбачев может быть убит или отстранен от власти (как генсек в Китае в июне прошлого года), прежде чем эта статья пойдет в печать. Но глобальная стратегия Кремля в целом останется и при Пупкине, ибо она развивалась с 1920 года. К ней поэтому мы и перейдем.

Попытка Кремля установить мировое господство в 1920 году, наступая на Польшу, а затем на Германию (ключ к овладению миром), была рассчитана на восстание пролетариата по крайней мере там, куда вступит Красная армия\*. Пролетариат подвел Кремль, и с этого года союзником Кремля в его стремлении к мировому господству становится все больше крупная буржуазия, призванная, разумеется, не восстать, а продать веревку (на которой, в частности, и ее повесят), то есть западную науку и технику, необходимую для достижения советского необратимого глобального военного превосходства.

То, что наука и техника — это власть над миром, более ясно в советской империи, чем на Западе. Советская империя — военно-научно-техническая. Кончающие среднюю советскую школу знают зачатки высшей математики, а законы Ньютона я проходил, кажется, в пятом классе, в то время как многие американские учащиеся средней школы не знают слова «физика» или «химия». Количество ежегодно выпускаемых советских инженеров превосходит американскую цифру вдесятеро (если исключить китайцев Китая, мусульман Ближнего Востока и других неамериканцев). Уже десятилетие назад были известны 140 советских высших военных учебных заведений, в то время как американская цифра — 4. Образование в США направлено на умножение личного богатства, личное право, личное здоровье, социализм (государственная забота о неимущих) и то, что можно назвать личным самооблагораживанием (так сказать, одворяниванием) тех, у кого есть на это средства. Наука и техника, не говоря уж о военном деле, — это в США лишь гильдии, корпорации: есть

---

\* За попытку был Ленин, а против нее Троцкий и Сталин, отсутствием которого на решающем заседании ЦК Ленин воспользовался, чтобы собрать большинство олигархов за «наступление на Запад». В смысле воли к власти и готовности принести в жертву этой воле все остальное триумвиры располагались в таком порядке: Ленин, потом Троцкий, а потом Сталин, наименее из них трюх бесчеловечный.

гильдия ученых, как есть гильдия слесарей-водопроводчиков, которые зарабатывают в среднем больше ученых. Чем занимаются эти ученые, не многим более известно или интересно, чем то, чем занимаются слесари-водопроводчики.

США создали атомное оружие в 1945 году, потому что шла мировая война (и ресурсы США были мобилизованы на войну) и потому что в США эмигрировали физики многих стран Европы. Чем больше научно-технически развитых стран, к науке и технике которых данная страна имеет доступ, тем выше вероятность ее глобального военного превосходства, если ее ресурсы достаточно мобилизованы в этом направлении. Полагать, что Кремль стремится к неограниченному доступу к западной науке и технике потому, что сами Иваны никчемны, — это все равно как полагать, что американские физики никчемны и поэтому потребовались европейские физики (включая русского эмигранта Георгия Гамова), чтобы создать атомное оружие. Неограниченный советский доступ к науке и технике Западной Европы обеспечит необратимое советское глобальное военное превосходство над США. Вот цель стратегии Кремля, которая в США непонятна. Какая там наука и техника? Зачем она Иванам? У них нет даже мыла!

По мере достижения советского необратимого военного превосходства крупная буржуазия Запада будет продавать и сами свои страны — но уже не только ради личной наживы, а и ради надежды сохранить свое богатство. Судьба российской (советской?) буржуазии НЭПа — это судьба мировой буржуазии. Если российские нэпманы не смогли сообразить, что их используют и выбросят, то почему же сообразят такое магнаты Уолл-стрита? Общаясь с ними, я не вижу, что вне денежных дел они дальновиднее российских нэпманов, а у некоторых из них кругозор как у жителя советской глухомани, но только вместо кур и картофеля у них акции и биржевые курсы.

Движение Кремля от союза с мировым пролетариатом к союзу с крупной мировой буржуазией (которую в странах английского языка называют истеблишментом) заняло шесть десятилетий и было зигзагообразным. Дело в том, что для союза с крупной буржуазией Запада необходима соответствующая советская мощь: только тогда этот союз становится союзом всад-

ника (Кремля) и лошади (крупной буржуазии Запада). К 80-м годам такая глобальная советская мощь была достигнута.

Для того, чтобы российская буржуазия работала на Кремль с 1921 по 1928 год, а затем была легко уничтожена, Кремль занял «командные высоты» (как нас учили в школе) советской империи. Для того, чтобы мировая крупная буржуазия работала на Кремль, последний должен был сначала занять по крайней мере предварительные «командные высоты» мира.

Однако движение к буржуазности шло все время. Как сказал мой дорогой друг (ныне покойный) Дон Левин\*: «Развитие советской империи — это движение от коммунистической, революционной, пролетарской России к западной, буржуазной, национал-социалистической Германии, какой она была вплоть до Мюнхенского соглашения 1938 года включительно».

За что критиковал Троцкий «государство Сталина» в 30-х годах? За буржуазность: по мнению Троцкого, в нем произошел контрреволюционный, антикоммунистический, буржуазный переворот, а Сталин был новым Наполеоном.

Экономика, созданная Сталиным, причем действующая и поныне, — это капиталистическая сверхмонополия: компания «Крупп», увеличенная в сотни раз. Такая капиталистическая сверхмонополия прекрасно производит оружие и военный паек, поступающий к населению с перебоями (как военному пайку и положено в советских вооруженных силах, например).

После Второй мировой войны стремление Кремля к союзу с крупной буржуазией Запада стало еще более очевидным. Правовверные коммунисты ожидали, что Сталин аннексирует Восточную Европу, включая Финляндию, как он аннексировал Молдавию или Западную Украину до войны. Вплоть до 1933 года немецкие пролетарии пели: «Наш лозунг — Всемирный Советский Союз». А в Москве песня распевалась по-русски («Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!») вплоть до нацистского вторжения.

---

\* См. его письмо главному редактору «Континента» В. Максиму в «Континенте» №62, с. 328-329.



Однако вместо аннексии Восточной Европы на пути к ВСССР (Всемирному СССР), к вящей радости коммунистов всех стран, на выборах 4 ноября 1945 года венграм было позволено отдать аб-солютное большинство голосов (60%) Партии мелких собствен-ников, в то время как коммунисты получили лишь 17% голо- сов. Соответственно «главой правительства» стал лидер Партии мелких собственников Золтан Тильди. Все как в лучшей буржуазной демократии. Подобное происходило с 1945 по 1948 год по всей Восточной Европе — совершенно как в настоящее время. Чего же добивался Сталин? Предотвращения создания НАТО, союза Европы и США. Без НАТО вся Европа оказалась бы зависимой от советской империи, а это означало бы неограниченный советский доступ к европейской науке и технике. Собственно говоря, такой доступ был у Сталина в Германии до 1933 года уже хотя бы потому, что Германия не считала советскую империю врагом, угрозой, опасностью. Сталин желал вернуться к блаженному состоянию до 1933 года, и его «борьба за мир во всем мире» преследовала ту же цель.

Сталин готов был пожертвовать Восточной Европой (в шахматном смысле слова «пожертвовать») ради неограниченного доступа к науке и технике всей Европы, что означало для него (и означает для Горбачева или для Пупкина, который придет Горбачеву на смену) власть над миром. Глобальная шахматная партия. Западный истеблишмент смотрит на нее, как баран на новые ворота, ничего не понимая или не желая ничего понимать и даже никогда не вспоминая того, что Горбачев повторяет ходы Сталина, хотя сам же Горбачев об этом твердит (без упоминания имени Сталина, разумеется).

Предотвратить создание НАТО Сталину не удалось, ибо в военном отношении он был бессилен по отношению к Соединенным Штатам, а западный истеблишмент с бессильными не считается. Впрочем, не говорил ли еще дедушка Крылов в нашей советской начальной школе, что у сильного всегда бессильный виноват? Европейско-американский союз НАТО был создан. Опасаясь, что Восточная Европа к нему присоединится, Сталин запретил ей продолжать устраивать у себя буржуазную демократию. Зато в 1948 году он предоставил «полную независимость» Финляндии. С тем лишь условием, что Финляндия никогда не ста-

нет членом НАТО. Это условие означает, что Финляндия так же независима (или так же свободна), как человек, на которого направлен револьвер, но которому разрешено жить в свое полное удовольствие и делать все, что ему заблагорассудится, кроме как пытаться защитить себя от направленного на него револьвера.

Буржуазная Финляндия с 1948 года — это идеал союза Кремля с западной буржуазией: мечта советской стратегии по отношению к Западу. Сорокалетнее пребывание Финляндии в условиях внешне безупречной независимости, свободы и демократии с направленным на нее советским револьвером подсказало Кремлю, что, возможно, подавляющее большинство населения Запада не интересуется абстракциями вроде независимости, свободы и демократии, да и не понимает, что, собственно говоря, они означают. То есть подавляющее большинство населения Запада — обыватели, которых заботит лишь сохранение их образа жизни на ближайшее будущее. Образ жизни в Финляндии не отличается от образа жизни в Норвегии, стране — члене НАТО. Очевидно, что этот образ жизни сохранится, пока не будет финляндизирована по крайней мере вся Европа (включая, возможно, и Прибалтику). Но когда-то это еще будет! А пока что финны будут жить-поживать да добра наживать. Ведь уже сорок лет прожили дай Бог всякому. Почему же всем странам Запада не последовать их примеру? К этому призывает «Правда», причем употребляя слово «финляндизация».

Несмотря на то, что Сталину не удалось предотвратить создание НАТО, он продолжал бороться за финляндизацию Европы и, в частности, против «раскола Германии». Ни о какой Берлинской стене или Варшавском пакте он и слышать не хотел. В 1950 и 1952 годах Сталин предложил те же условия воссоединения Германии, которые предлагаются Кремлем на февраль 1990 года. Германия не должна быть членом НАТО, то есть никаких иностранных войск на территории воссоединенной Германии. Эти же условия были повторены в 1954, 1955, 1957 и 1959 годах. С другой стороны, в отличие от Финляндии, вооруженные силы которой ограничены до размеров, годных разве что для парада, воссоединенной Германии предоставлялось право иметь «вооруженные силы, достаточные для ее обороны». Но дело в том, что, не будучи членом НАТО и, следовательно, не имея атомного щита

США, Германия была бы так же беззащитна и, следовательно, зависима от Кремля, как и Финляндия. То есть Крупп и Мессершмитт работали бы на создание необратимого советского военного превосходства над США. Что, вероятно, и произойдет в 90-е годы. Однако в 50-е годы советские предложения Сталина были отвергнуты без всяких переговоров, ибо советская империя была еще слаба. А в 1990 году переговоры идут, и на эти переговоры окажет решающее влияние население Германии, большинство которого, возможно, готово последовать примеру Финляндии, Австрии, Швеции и Швейцарии, то есть «нейтральных стран», процветающих под дулом советского револьвера.

В 1952 году Сталин назначил Андропова, связанного с финляндизацией Финляндии, руководителем отдела ЦК, а в 1954 году Андропов начал финляндизировать Венгрию. Попытка оказалась неудачной, ибо произошло вооруженное восстание, Венгрия вышла из Варшавского пакта и возникла опасность ее присоединения к НАТО, то есть опасность подлинной, а не формальной независимости. Простофили из западного истеблишмента мне говорят на это, что и в Румынии-де произошло в конце прошлого года вооруженное восстание. Нет, в Румынии произошел вооруженный переворот, о котором Кремлю было известно по крайней мере за шесть месяцев до того, как он произошел\*.

Несмотря на неудачу, Андропов получил гигантское повышение: он стал руководить в ЦК всеми «братскими странами». Двигаясь по трупам брежневцев, Андропов стал генсеком в 1982 году и поднял Горбачева за два года (1978-1980) из ставропольской грязи в московские князи. Нам известно из показаний эмигрантов и перебежчиков, что уже к 1978 году глава КГБ Андропов был за буржуазность — за всемирный НЭП, при котором у КГБ и ГРУ будет мировое раздолье. Советские вооруженные силы должны лишь создавать на Западе подсознательное ощу-

---

\* Относительно чего имеются неопровержимые документальные данные. Таких данных о конкретном участии КГБ и ГРУ в этом перевороте в удобнейших рамках Варшавского договора пока на Западе нет.

щение неотвратимого или уже необратимого советского военного превосходства (это личное ощущение должно сопровождаться публично выраженной уверенностью, что советская империя погибает или уже погибла, ибо Иваны — смешные никчемные недочеловеки). Остальное довершат КГБ и ГРУ.

Да и к 1978 году у Кремля не было иного выхода, кроме как броска ко всемирному НЭПу: Китай начал вводить буржуазность еще в 1978 году — соперник всасывал западную науку и технику благодаря своей буржуазности. Гласность и перестройка буйно расцвели в материковом Китае уже к 1982 году, а весной 1986 года американский журналист Орвилл Шелл писал:

«Нигде эта новая гласность не ощущается сильнее, чем в официальных средствах массовой информации, переполненных дискуссиями на еще недавно запретные темы, как, например, права человека, разделение законодательной, судебной и исполнительной власти, а также свобода слова и свобода самой прессы. Даже «Женьминь жибао» до такой степени набита комментариями (часто написанными анонимно высокопоставленными руководителями), что она читается как дискуссионная страница американской газеты, а не как партийный орган печати» (Orville Shell. *Discos and Democracy: China in the Throes of Reform*. Pantheon Books, 1988, p.29).

Гласность и перестройка в Китае уже весной 1986 года опережали во всех отношениях советскую гласность и перестройку на февраль 1990 года. Например, в Китае официально существовало семь некоммунистических политических партий, а число китайских студентов в одних лишь Соединенных Штатах составляло 40 тысяч. Цитируемый выше американский корреспондент пишет, что в 1986 году он уже не мог жить в Китае из-за «американской музыки». В Америке ее можно и не слышать. В Китае это было невозможно. «Западная» пошлость стала в Китае вездесущей. Китай стал как бы сверхдемократической сверхбуржуазной сверх-Америкой, в которой американец не мог жить.

Крупная буржуазия любой экономически развитой страны должна работать на необратимую советскую глобальную военную мощь даже до финляндизации этой страны. Наоборот, чем больше крупная буржуазия будет втянута в советскую экономику, тем успешнее пойдет финляндизация данной страны. Круп-

ный буржуа, у которого совместное предприятие с советской империей и доходы которого от нее зависят, не будет потворствовать ничему, на что Кремль может посмотреть косо: он сам уже лично финляндизирован — он принес жертву в защиту Запада ради своего личного преуспеяния. Всемирный НЭП должен повести к финляндизации ручных или цивилизованных народов Запада. В то же время наука и техника этих народов позволит покорить (или истребить) дикие народы: разве грузовики самого большого в мире завода, производящего дизельные моторы и построенного крупной буржуазией США на Каме, не внесли свою лепту в покорение дикого Афганистана?

Воля Кремля к власти и воля крупной буржуазии к богатству стремятся друг к другу: их союз, всемирный НЭП, поведет к росту богатства крупной буржуазии и к росту власти Кремля (в частности, над крупной буржуазией). Так стремятся друг к другу рыбак и рыбка: рыбка стремится съесть наживку, а рыбак рыбку. Неудивительно, что советским средствам массовой информации позволено быть западно-буржуазными в порядке всемирного НЭПа. Советские средства массовой информации должны сравниться со средствами массовой информации западного истеблишмента вроде буржуазной газеты «Нью-Йорк таймс». Благо, она является, между прочим, более лживой, чем «Правда». Виталий Коротич тут заявит, что этого не может быть, ибо если Маршак все еще считал, что буржуазность — это мать всех пороков, то Коротич наверняка считает ее матерью всех добродетелей, включая правдивость. Тем не менее, в сообщениях газеты «Нью-Йорк таймс» из Москвы нет даже тех крупиц правды, которые «Правда» иногда невольно роняет в количестве одной фразы на пять-десять номеров пустопорожней болтовни. Если выбирать между продажей в Москве органа ЦК «Правда» и буржуазной газетой «Нью-Йорк таймс» в русском переводе, советский цензор всегда предпочтет газету «Нью-Йорк таймс»: вот уж химически чистая мещанская болтовня — никакой цензуры не надо!

Всемирный НЭП не означает ликвидации сталинской сверхмонополии в пользу частного предпринимательства типа нацистской Германии. Тут вопрос достижения максимальной военной мощи. Если городское частное предпринимательство оттягивает ресурсы от сверхмонополии, его следует удерживать в состо-

янии, близком к нулю, лишь создавая видимость «капитализма». А если частное предпринимательство в сельском хозяйстве позволит освободить людские ресурсы для сверхмонополии, то следует его поощрять. На мировом рынке выступает в основном сверхмонополия, как сверхкапиталист-триллионер.

Если Кремль считает, что он справится с любой страной Запада, не являющейся членом НАТО, то что же говорить о советском жителе, которому позволено быть, так сказать, буржуазной Финляндией? Ведь нацистская Германия была западная буржуазная страна, а диктатор прекрасно справлялся со всеми западными буржуа в своем государстве. Чем же хуже «сильный лидер» Горбачев или некто Пупкин, который Горбачева сменит?

Выше я постарался дать представление о том, насколько «гласность и перестройка» в Китае превосходили уже в 1986 году советское им подражание на февраль 1990 года. Поражает та легкость, с которой олигархия Китая, сочтя 4 июня прошлого года дальнейшую позволительность опасной, смогла мгновенно «восстановить порядок» включая культ Мао, чтобы поставить своих расшалившихся госрабов на место. Без сомнения, десятилетие гласности укрепило империю, ибо многие в Китае выявили себя для пользы госбезопасности.

Точно так же советский режим 1990 года несопоставимо сильнее благодаря «гласности», чем он был, скажем, в 1940 году, когда Сталин не мог еще себе позволить роскошь такой всенародной провокации-инсценировки. Какой кустарщиной занимался НКВД в 1940 году! Приходилось подсылать к каждому подозреваемому провокатора, который сам притворялся врагом Кремля, чтобы побудить подозреваемого «раскрыть душу» и сообщить ему, что в случае войны Сталина с Гитлером он перейдет на сторону Гитлера. При нынешней «гласности» миллионы советских жителей «раскрывают душу», а для КГБ, чьи компьютеры занимают целиком одно из трех зданий на Лубянке, не представляет труда вести компьютерный учет поведения *всего* советского населения (а также стратегически важной части населения Запада). По сравнению с кустарщиной Сталина — это как постоянная космическая станция «Мир» по сравнению с велосипедной мастерской где-нибудь в Тифлисе в начале столетия. Отстальный революционный романтик был этот Сталин. Подсылал провокатора

к подозреваемому, чтобы разоблачить его и расстрелять как врага народа. Компьютеры отыщут действительно опасных врагов Кремля. Уже Андропов занимался социологией и социальной психологией. Компьютер — это орудие госрабства, по сравнению с которым наган сталинского чекиста — это детская игрушка: пугач для самоуспокоения Сталина. Компьютеры на Лубянке такой порядок наведут, что Орвеллу не снилось вместе с Хаксли и Замятиным.

Строители империй еще в древние времена намеренно провоцировали восстания в мирное время, чтобы уничтожить живую силу подобных восстаний заблаговременно, а не в военное время, когда подавление может оказаться трудным, а то и невозможным. Если бы у них были еще и компьютеры! Какой великолепный срез всего общества восстание обнажает! Успевай только компьютеризировать, пока восстание не подавлено, после чего финляндизируй всех финляндизируемых врагов. А уж над непримиримыми, неисправимыми, нефинляндизируемыми надо отдельно поработать, благо сколько их? Смешно, конечно, их заранее вылавливать и отстреливать. На Западе узнают и всполошатся раньше времени. Права человека пока надо соблюдать. Зачем же врагов расстреливать, если их можно уморить голодом, например? Ведь есть же и в Нью-Йорке бездомные нищие. Отказаться в прописке в крупных городах — и пусть побиваются там, где нет для них работы. Никакого нарушения прав человека. Всё, как в Нью-Йорке.

На Западе много социальных пороков, несправедливостей, «власти денежного мешка», как это было некогда известно «Правде», а еще раньше Карлу Марксу. Но ведь у Кремля денежный мешок тянет на триллионы долларов в год, чего не отрицает и ЦРУ. Почему же не использовать западные социальные пороки, несправедливости, власть денежного мешка ради власти Кремля-триллионера? И крупная буржуазия Запада будет довольна (никаких нарушений прав человека), и власть Кремля отнюдь не будет слабее, чем она была в результате сталинских расстрелов, которые, разумеется, всегда можно, если это необходимо, пустить в ход, вместе с атомным оружием, если такое потребует. Социализм (то бишь тирания) с порочным лицом западного буржуа, но с ленинским нутром, которое не остановится

ни перед чем, если дело идет о власти. Власть! Какое головокружительное существительное от слова «владеть». Недаром оно рифмуется с «власть», «красть» и (звериная) «пасть».

Вероятно, Горбачев будет Лениным (каким тот мечтал стать), Сталиным (на законном основании), Гитлером (каким тот был вплоть до мюнхенского соглашения 1938 года включительно). Но, главное, он будет Горбачевым, диктатором компьютерного XXI века, если, конечно, его не сменит столь же великий светоч Кремля Пупкин, которого на Западе будут явно обожать, тайно страшиться и прочить в председатели или президенты земного шара в согласии с советским гербом, изображающим земной шар, а отнюдь не только шестую часть его суши.



# ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Яков Айзенштадт

## О БОРИСЕ СЛУЦКОМ

В 1989 году исполнилось 70 лет со дня рождения Бориса Слуцкого. В связи с этой датой на родине поэта и за ее пределами было опубликовано много статей и воспоминаний о нем, много ранее не опубликованных его стихов, которые писались в стол, до лучших времен.

Я внимательно следил за этими публикациями, ибо в свое время учился вместе с Борисом Слуцким в Московском юридическом институте (1937-1941 г.), дружил с ним в период совместной учебы и долгие годы после этого; помню многое о нем такое, о чем никто не написал, помню некоторые его неопубликованные стихи, которые не вошли и в самые последние посмертные публикации, и не знаю, были ли они вообще записаны.

В Московском юридическом институте в довоенные годы существовал литературный кружок, которым руководил Осип Брик. В этом кружке занималось много студентов, и в нем активную роль играл Слуцкий, хотя на протяжении первых трех лет учебы в юридическом институте скрывал от всех, что пишет стихи. Но было известно, что он прекрасно знает русскую и английскую поэзию. Когда мы с ним в студенческие годы гуляли по Москве, он читал мне часами стихи разных поэтов, порой незнакомых мне и не публиковавшихся тогда. Очень любил читать мне Пастернака и не скрывал своего восхищения перед этим великим поэтом. Тогда ни он, ни я не могли предвидеть, что этот поэт станет роковым для Слуцкого, что Борис опозорит себя выступлением против Пастернака в мрачные для того дни, никогда не простит себе этого и эта трагедия приведет Слуцкого к тяжелой болезни и ускорит его уход из жизни.

В студенческие годы, скрывая, что пишет стихи, Борис Слуцкий в то же самое время хотел услышать мнение товарищей о своих стихах. Поэтому он читал их мне и в институтском литературном кружке у Осипа Брика как стихи своего друга,

присылаемые из военного училища, а сам внимательно прислушивался к реакции на них, к их оценке. Борис читал мне свои стихи не только при прогулках по Москве, но и когда мы вместе с ним были на практике в прокуратуре и разыскивали в Марьиной роще «абортмакершу», когда работали вместе в бригаде агитаторов по первым выборам в Верховный Совет СССР.

Слуцкий жил в общежитии нашего института в Козицком переулке, что на улице Горького возле Елисеевского гастронома. Студенческая стипендия была весьма скромной. Поэтому Слуцкий подрабатывал тем, что преподавал историю в вечерней школе рабочей молодежи. Помню, что Слуцкий признался мне, что пишет стихи, в 1939 году, когда я получил премию на конкурсе научных студенческих работ в размере 300 рублей и мы с ним пошли тратить эти небольшие деньги в кафе-мороженое на Никитском бульваре. Ходили мы с ним в ресторан «Центральный» на улице Горького, где он любил бывать, когда у него были деньги. Он признался, что не только пишет стихи, но и подал документы в творческий институт Союза писателей и представил туда две записные книжки со своими стихами. Когда в 1940 г. он начал там заниматься, то я услышал от него восторженные слова о семинарах, которые проводили такие поэты, как Павел Антокольский, Илья Сельвинский и другие.

Когда я и он возвратились после войны с фронта, я увидел у Бориса на груди ордена, и он рассказал мне о своей работе на фронте – на передовой по агитации среди войск противника. Ему помогло знание немецкого. Но об этом есть достаточно в его опубликованных стихах.

В послевоенное время я помог Борису снять комнату в доме №16 по улице Чайковского в Москве, где я тогда жил. Мы очень часто встречались. В 60-70-е годы Слуцкий с интересом следил за моей адвокатской деятельностью. Посылал ко мне различных людей, чтобы я оказывал им юридическую помощь.

В 1967 году, вскоре после смерти Ильи Григорьевича Эренбурга, Борис Слуцкий передал мне просьбу наследников Эренбурга – его жены Любови Михайловны Эренбург-Козинцевой и его дочери Ирины Эрбург – заняться их сложным наследственным делом. Когда я начал заниматься этим делом, то провел

много часов в кабинете И.Г.Эренбурга в беседах с вдовой писателя Любовью Михайловной. Она мне, среди прочего, рассказывала о том, каким уважением в семье Эренбурга пользовался Слуцкий, каким он был для них своим человеком, как он долго жил и работал на даче Эренбурга в Новом Иерусалиме. Здесь следует отметить один важный момент в поведении Слуцкого. Когда он сам в послевоенное время занял определенное общественное положение, когда многие бывшие однокашники по юридическому институту заняли видное место в столичной адвокатуре, в науке, в различных учреждениях, Слуцкий искал встреч не с этими преуспевающими людьми, а прежде всего с нашим однокашником, судьба которого сложилась крайне неудачно. Это был Зейда Фрейдин. После окончания Московского юридического института в начале войны он стал военным следователем в действующей армии, во время отступления оказался на оккупированной территории, пришел в свой родной, но занятый немцами Курск, позже подвергся суровым преследованиям со стороны советских властей и в результате не мог уже работать юристом, стал бухгалтером-ревизором в потребительской кооперации. Вот на его квартиру в Москве, в Кузьминках, близ Лесной академии, часто приезжал Борис Слуцкий, и наши благополучные однокашники, хотевшие видеть своего товарища, ставшего известным поэтом, должны были собираться у Зейды Фрейдина, чтобы повидать Бориса. Так Слуцкий хотел поддержать нашего общего товарища, которому досталось в жизни много горя. Это было доброе дело Бориса. Но не этим и другими добрыми делами останется Слуцкий в памяти людей, а прежде всего стихами.

Когда он умер, то оказалось, что у него неопубликованных стихов было больше, чем опубликованных.

Сейчас напечатано много его ранее неопубликованных стихов, но далеко не все. Например, он читал мне в свое время свои детские стихи. И там были такие строки:

Я не делал для лука стрел,  
Не сидел над Эдгаром По,  
Я на голые ноги глядел  
Девушки, мывшей пол.

Эти стихи нигде не опубликованы. Помню и его взрослые серьезные, тоже нигде не опубликованные стихи, в которых есть такие строки:

Я ненавижу рабскую мечту о коммунизме  
в виде магазина,  
где всё дают,  
где льются вина,  
где на деревьях пончики растут...

Я десятки лет был адвокатом. Выслушал и сам произнес сотни защитительных речей. Выслушал сотни обвинительных прокурорских речей.

Заканчивая воспоминания о Борисе Слуцком и мыслями возвращаясь к пастернаковской трагедии, я мог бы произнести и слова обвинения в адрес моего товарища, и слова в его защиту. Слова защиты мне произнести легче, ибо это моя профессия; весь строй моих мыслей всегда направлен на защиту человека. Но я боюсь произнести речь в защиту Бориса Слуцкого, так как уверен, что прежде всего этим был бы недоволен Борис. Он не оправдывал себя в этой трагедии. И испил чашу горьких переживаний по этому поводу до конца.

Только высокий суд времени вынесет свой справедливый приговор.

Натан Эйдельман

## ОБ ОТЦЕ

Неизвестный мне художник в Воркутинском лагере запечатлел товарища по заключению №И-1-758, которым был мой отец – журналист, театральный и литературный критик Яков Наумович Эйдельман (1896-1978).

Портрет восхитил друга, профессионального художника Бориса Жутовского, хорошо помнившего моего отца: он поговорил с «издателями», следствием чего и появляется на свет этот очерк в распространенном теперь жанре «сын об отце».

Когда-то П.А.Вяземский доказывал, что – не в состоянии писать мемуары о друге-родственнике Карамзине: «Ведь не напишешь же биографии, например, горячо любимого отца».

Позже всякое бывало меж предками и потомками. Отец любил цитировать «Конармию» Бабеля: о том, как сын (красный) расправляется с белым папашей.

– Хорошо вам, папаша, в моих руках?

– Нет, – сказали папаша, – худо мне.

– А теперь, папаша, мы будем вас кончать...

«В этом эпизоде, – восклицал мой отец, – уже запрограммирован будущий Павлик Морозов. Впрочем, герой Бабеля действует более открыто и честно...»

Глубоко уважаемый и любимый мною писатель-ученый (ныне покойный) Владислав Михайлович Глинка написал мне, что, хотя его собственный отец умер много десятилетий назад, – это все равно главная печаль его жизни.

То же и со мною; но не дело выносить на публику внутренние, интимные мотивы. Поэтому, если все же берусь за рассказ – то надеюсь, что через личные подробности (по мере возможности документированные) сумею рассказать нечто общее, типически интересное, характеризующее не столько одну семью, сколько одну или несколько эпох.

Отец родился в Житомире в 1896 году, то есть успел вполне вырасти до революции – но еще недостаточно «утвердиться», чтобы революция не могла на него повлиять, многое в нем переменить.

В большой, как обычно, еврейской семье среднего достатка он один пристрастился к чтению, вследствие чего, преодолев процентную норму, попал в гимназию и получал от своей матери, моей бабушки Тамары Савельевны, те гривенники, которые следовало внести в местную библиотеку за право читать книги, газеты и журналы.

Сколько восклицаний о росте советской провинциальной культуры!

Это верно примерно в том смысле, в каком разделение книг, картин, скульптур одной помещичьей усадьбы между несколькими сотнями сжигающих ее мужиков увеличивает «средний культурный уровень народа».

Житомирская гимназия, запечатленная Короленко в «Истории моего современника» (отца обучали еще некоторые описанные там педагоги), сумела навсегда подарить гимназисту недурные немецкий и французский языки, историю, словесность...

Ах, нынешние школы Житомира и сотен других некогда уездных и губернских городов! Ах, Житомирский пединститут, размещающийся ныне в той самой гимназии, где обучали моего отца...

Несколько лет назад я посетил вместе с дочерью «родину предка» – и, зайдя в областную детскую библиотеку (прежде в ее здании была городская, *та самая*), увидел двух мальчишек, читавших друг у друга через плечо одну книгу – «Квентин Дорвард» Вальтер Скотта.

Вот так же некогда и гимназист с гривенником листал здесь Лермонтова, Толстого, приложения к «Ниве», сочинения капитана Мариэтта и Луи Жаколио...

В гимназии удалось продержаться до 6-го класса: учитель-черносотенец Горяинов возвращался с урока, ученик Яков Эйдельман, дежурный, нес за педагогом, как полагалось, клас-

сний журнал, а в учительской осмелился усомниться в только что полученной «тройке» за совершенно правильный ответ.

– Эйдельман, бросьте ваши еврейские штучки!

В учительской присутствовала юная дама-француженка (что, конечно, было безразлично для обоих «собеседников»): шестиклассник тем журналом, что был у него в руках, угощает учителя по морде – раз, два, три...

Волчий билет, спасение из города от полиции, перепалка по этому поводу между либеральной и черносотенной газетами, выходившими на Волыни (удивительное для провинции разнообразие, не правда ли?).

Недавно ленинградские друзья подарили мне копию циркуляра, требующего не принимать имярека ни в какое медицинское заведение страны, ибо – нанес педагогу «оскорбление действием». Очевидно, точно такие же бумаги были сочинены не только для медицинского ведомства (куда отец и не думал приближаться), но и по всем другим отраслям просвещения. Однако старая власть «мышей не ловила»: циркуляры не были отправлены в составную часть империи, Царство Польское, где отец как раз и окончил гимназию экстерном.

1-я мировая война, ранение в ногу, Киев, революция, смены властей, первый опыт в журналистике, увлечение театром, еврейская студия «Аманут», которую опекает выдающийся украинский режиссер Лесь Курбас, а также московские актеры из «Габимы» и ваханговцы. Именно там, в молодежных студиях, отец нашел радость, профессию и жену.

О театре мои родители и их сверстники рассказывали так, как теперь никто не рассказывает.

Что такое театр 1920-40-х?

Не было телевидения, но уже существовало и набирало силу кино. И тем не менее, театр занимал совсем особое место в жизни поколения. С раннего детства я постоянно слышал: Лесь Курбас, МХАТ, Мейерхольд, Таиров, «Рычи, Китай!», ГОСЕТ, Турбины, Турандот...

Наверное, театр был естественным продолжением той театральности, которая была растворена в тогдашней жизни – с ее риторикой, трагикомичностью, ожиданием счастья.

Не берусь судить. По случайным, не очень отчетливым киносьемкам некоторых тогдашних спектаклей, многое сегодня, в конце столетия, «не смотрится»; кое-что странно и даже смешно – однако не берусь судить...

Отца и мать сверх того влекло в театр национальное: многие близкие, хорошо знакомые остались в театре «Габима», уехавшем сначала в Европу, а затем в Палестину (откуда до недавних пор еще шли приветы).

Отец – пламенный еврей, и оттого, что умел так любить свой народ, подчеркиваю, *оттого!* – он был настоящим русским патриотом (и еще однажды признался, что и украинским).

Оттого, что любил и знал «Габиму», был вахтанговцем (абсолютно не подошла бы формула: *хотя* любил "Габиму", поклонялся Вахтангову»).

Впрочем, был абсолютным атеистом; всегда бешено бросаясь в драку, более всего на свете презирал трусость и подозревал в чужой религиозности «недостойный мужчины» страх смерти. Эта безрелигиозность была своего рода верой «с обратным знаком» и часто даже вела к несправедливости по отношению к единоплеменникам, облачающимся в ермолку и талес: «Жалкие людишки, слабые душонки!»

В концлагере, в первый же день (рассказ приятеля-очевидца) отец проходил мимо группы бандеровцев:

– Вот еще одного пархатого пригнали!

Отец схватил тяжеленный дрын и рванулся вперед: друзья удержали, оттащили, объяснили, что грозила верная гибель; на утро посланец от украинцев: кто такой? откуда? Узнав, что с Вольни, спросили: как относится к Тарасу Шевченко? Отец в ответ наизусть, по-русски и по-украински. Бандеровцы удивились, прислали поесть, после не раз приходили побеседовать...

### *Из позднейшего дневника отца*

«30 июня 1974 года.

Один мой собеседник вдруг возымел желание "ошеломить" меня вопросом: Кто вам ближе: еврейский писатель Менделеев или русский поэт Пушкин?



Что-то нехорошее, дурнопахнущее я почувствовал в этом вопросе, какую-то скрытую иронию: может ли у евреев быть гениальный поэт, художник, мыслитель? Такого, например, масштаба, как Пушкин, Лермонтов, Толстой, Герцен?

Я уж не говорю о неправомерности, абсурдности сопоставления таких *разных* писателей, как Менделеев и Пушкин. Можно с таким же успехом спросить – кто мне ближе: Эсхил или Шолохов? Флобер или Михалков, Гейне или Софронов?

Менделеев – это, конечно, не Софронов и не Михалков. Это еврейский *классик*, замечательный, первоклассный мастер, но в его творчестве отражен *иной* мир, *иные* проблемы, живут и заражают нас *иные* люди, страсти, идеалы, он художник *иного* типа, характера, чем Пушкин, и все это не мешает мне любить его так же, как я люблю Пушкина, – может быть, как-то *по-другому*, как люблю по-другому Бальзака и Байрона, Мопассана и Свифта, Беранже и Лакснесса. Да, в силу многих обстоятельств Пушкин мне ближе многих и многих великих художников. Ведь встретил же я немало людей, выросших на русской поэзии, страстно любящих ее, живущих ею и откровенно признающих, что Лермонтов им роднее, ближе, чем Пушкин. Что в этом предосудительного?

Вот если бы человек сказал, что ему ближе *третьестепенный* еврейский поэт, чем какой-нибудь *великий* русский, французский или немецкий писатель, то над этим человеком можно было бы так же посмеяться, как если бы он стал утверждать, что ему дороже малоталантливый, тусклый, серый русский писатель, чем гениальный еврейский или какой-нибудь другой нерусский художник; дороже только потому, что названный им серый поэт или беллетрист – русский, т.е. "сопливый, да свой", да над таким читателем можно *только* посмеяться, но не вступать в дискуссию с ним».

Другая запись сделана 22 сентября 1976 года:

«Бродил я однажды по большой американской выставке, демонстрировавшейся на территории ВДНХ. Забрел в книжный отдел выставки. Стал перелистывать книгу за книгой. Попался мне в руки том Еврейской энциклопедии, изданной в США. И вдруг наткнулся на фамилию – Хаим Гринберг. Вздрогнул от

радостной неожиданности. Талантливейший публицист, литературный критик, оратор, человек, глубоко связанный с лучшими традициями еврейской литературы, пламенный сионист, автор целого ряда блестящих статей о творчестве мировых и еврейских писателей в русских журналах, о важнейших эпохах еврейской истории. Я не знал, что он уже умер (он эмигрировал в годы Октябрьской революции). А ведь он был не стар. Я не имел понятия о его политической деятельности за рубежом, о его многочисленных лекторских выступлениях в разных странах мира, на разных языках, которыми он владел в совершенстве. Совершенной новостью явился для меня тот сообщаемый энциклопедией факт, что Гринберг был долгое время личным советником первого президента Израиля – Бен-Гуриона.

И вот читаю в статье, посвященной Гринбергу: в своем предсмертном завещании он наказал близким ему людям – не совершать над его могилой никаких еврейских религиозных обрядов, а исполнить только русскую песню на слова Лермонтова "Выхожу один я на дорогу".

Отец, как увидим, кое-что себе тут напророчил...

Литературные и еще больше театральные рецензии; интервью, между прочим, с Гербертом Уэллсом и Лионом Фейхтвангером (кроме немецкого и французского, свободно по-английски); рядовая и «полукомандная» в меру (отцовской беспартийности) работа в «Красной газете», «Комсомольской правде», «Литературке», «Московском большевике».

В сфере искусства, театра было вроде бы меньше политики, но с каждым годом – все больше, все труднее: не спрятаться.

Позже, уже в хрущевские, брежневские десятилетия отец (и многие другие) утверждали, будто тогда, в 1930-х, они «всё понимали», смеялись над безумным культом Сталина, не верили в громкие политические процессы.

Верю, что отец не верил; помню – что смеялся. И всё же – из 1960-70-х годов, после лагеря – можно сказать, отчасти опрокидывал на те времена свой поздний опыт.

Всё понимал – да не всё, и не так, как сегодня. Ведь существовал гитлеровский фашизм, борьба с которым вроде бы многое оправдывала; на любого, даже убежденного скептика,

действовали также всеобщий массовый психоз, инерция революционных надежд.

Впрочем, отец, сохранивший часть своих старинных газетных рецензий, спустя сорок-пятьдесят лет успел еще вступить в любопытный диалог с самим собой.

Вот – хлесткая рецензия на постановку «Пугачевщины» во МХАТе («Комсомольская правда», 1925 год). После довольно строгого разбора «актерских неудач» Москвина, Тарасовой и других (в ту пору МХАТ еще не был «запретной зоной» для критики) следует финал:

«Спектакль оставляет тяжелое чувство тревоги за будущее судьбы МХАТ. Товарищ Луначарский как-то писал, что Станиславский жаждет подлинной пьесы о новых людях, о новых днях, – по словам Станиславского, эта пьеса будет написана не раньше, чем через 10 лет.

А если будет написана – справится ли с ней Московский Художественный театр?»

8 мая 1968 года автор рецензии написал на полях «письмо» самому себе: «Нахальное, легковесное суждение!»

На полях рецензии, посвященной спектаклю «Гапон» (театр имени МГСПС), самооценка: «Черт его знает, до чего развязно!» Прочитав в собственном тексте 1925 года об «изумительно сделанной актером Топорковым роли наркома», о том, «кажется, впервые приходится видеть на сцене настоящего старого большевика, человека одной идеи. За один этот образ спектакль заслуживает того, чтобы он был показан широкой рабочей аудитории», – Я.Н. восклицает (все в том же 1968 году): «Ой, как глупо!»

Отец, как мне говорили многие старые газетчики, неплохо «котировался» в театральном и журналистском мире, писал, что думал (как сам признавался позже – стремясь ко лжи не словом, а молчанием), иногда вступая в опасные конфликты, например, раскритиковав бездарную повесть о Буденном, которую сам маршал одобрил), нажил себе много врагов, особенно с помощью свойственного ему жанра иронии и разноса. Ряд его наблюдений, разборов сделаны со вкусом, глубоким пониманием; таковы, например, статьи о спектакле «Поток» в театре «Габима», о

«Пиковой даме» в постановке Мейерхольда и ряде других. Однако эпоха, эпоха наступала, требуя послушания. Подводя итоги той старинной деятельности, 72-летний отец вынес вердикт себе, тридцати- и сорокалетнему: «В общем – газетное лихачество, рецензентские скороспелки, страшная поверхностность, при наличии некоторых правильных суждений и оценок!»

Время бежало. От 1937-го спасла, наверное, беспартийность: на жалование и гонорары жила семья. «У нас с тобой была счастливая молодость», – напишет он матери из лагеря. Это правда: жили они хорошо, ибо очень любили друг друга; добавим – счастливая молодость в жуткие времена – при частичном даже понимании той жути...

Война, 46-летний, мучимый ревматизмом отец уходит добровольцем. Служивший с ним вместе замечательный человек, яркий самородок из города Павлова на Оке Горьковской области Анатолий Николаевич Карочистов (о нем еще вспомним) записывал все деревни и городки, встретившиеся на военных дорогах: от Синявинских высот и болот на Волховском фронте, через Донские степи (внешнее кольцо Сталинградского котла), затем Смоленщина; при Корсунь-Шевченковском особенно отличились и чудом спаслись от гибели, а оттуда со 2-м Украинским фронтом (маршала Малиновского) – на юго-запад, через Украину, Молдавию, через Бухарест, Будапешт, Прагу; а в Праге погрузились в теплушки и на Дальний Восток – в Маньчжурию, Порт-Артур. Декабрьским днем 1945 года капитан танковых войск, увешанный 15 орденами и медалями, вернулся домой. Надеялся, как и многие, что теперь будет хорошо: террор не нужен, ибо главный враг разбит; можно жить богаче и счастливее, ибо война окончена...

Фронтовика, да еще с 1942 года члена партии (под Сталинградом принесли партбилет, что как бы само собой разумелось), – ждала карьера: радиокомитет, вещание на Запад, опять же об искусстве, театре. Надежды...

Пройдет немного времени – и грянут удары по театральным критикам-космополитам, начнется новый «ледниковый период». Отца быстро исключают из партии за «недопустимые разговоры» о слабости многих официально признанных произведений.

Сейчас каждый, наверное, засмеется, а в ту пору как-то никто не смеялся, что среди обвинений были громко, в довольно широкой компании, произнесенные слова: «Да, Софронов – это не Чехов!» На собрании, где лидерствовали тогдашние столпы радиовещания Чернышев и Шелашников, было сказано: «Да, мы знаем, что Чехов выше многих советских писателей, но злопытательство по этому поводу имеет вражеский характер».

Изгнанный с работы (при жене-учительнице, сыне-студенте), отец полтора года пытался устроиться без всякой удачи. Печататься было, естественно, негде – оставалось делать выписки из классиков, которые помогали даже в худшие минуты.

«Хороший стиль стал предметом нападок как нечто аристократическое, и нам много раз приходилось слышать утверждение: "Истинный демократ пишет как народ – искренне, просто и скверно"» (*Генрих Гейне*).

«Если один человек себя рассматривает как блюдо, а другой хочет его съесть – пусть ест; они стоят того – один, чтобы быть людоедом, другой, чтобы быть кушаньем» (*Герцен*).

«Кто не хочет страдать за убеждения, тот пострадает за недостаток их» (*Лесков*).

«Я не доверяю словам с большой буквы: Человек, Искусство, Личность, Природа, Душа... Я не знаю, что такое Свобода; я знаю, что такое свободные люди» (*Ромен Роллан*).

«Государство наше велико и обильно, граждане же оно соблюдают себя так, будто все под монгольским игмом содержатся» (*Салтыков-Щедрин*).

Отец протестовал, сумел даже кое-какому начальству доказать, что его «вычистили» без соблюдения даже тогдашних законов...

В ту пору в гостях у «опального» стал появляться «товарищ по несчастью», тоже изгнанный с работы Сергей Григорьевич Лещинский. Один на один отец отводил с ним душу насчет космополитизма, антисемитизма и прочих прелестей тогдашней политики, а Лещинский все аккуратно передавал куда следует...

В ночь с 3 на 4 ноября 1950 года –

Увижу верх фуражки голубой  
И бледного от страха оправдома...

Вместе с перепуганной дворничихой Верой Ивановной – майор Коптелов, капитан Шмельков, младший лейтенант Лебедев. Бывалые люди, с лицами очень усталыми от обычной ночной работы.

Предъявлен ордер, отец быстро собирает вещи, прощается: наверное, никогда не увидимся. Мать в слезах – «Он не виноват» (наверное, более распространенный в ту пору российский вопль, нежели цветаевское: «Мой милый, что тебе я сделала?»).

Майор: «Посмотрите, чья подпись под ордером, народный комиссар Абакумов. Разве такие люди ошибаются?» Мать, конечно, не возражает насчет таких людей.

Затем 15-часовой обыск, в ходе которого найдены и изъяты сочинения В.В.Шульгина (советские издания 1920-х годов), а также... «Курс русской истории» В.О.Ключевского.

Исчезли не внесенные в протокол мелочи: золотые часики, флакон французских духов...

54-летний человек отправлен на Лубянку, через 8 месяцев – в Бутырки, получает 10 лет по статье 58-10 и отправляется в лагерь, «студентом Воркутинской академии имени И.В.Сталина». Позже отец скажет, что, если бы существовала невозможная гарантия выйти живым и здоровым, обязательно следовало бы посидеть в лагере.

Много лет спустя, объясняя, отчего он больше не пишет о театре, Я.Н. воскликнет: «Какой там к черту театр по сравнению с тем, который я видел в Воркуте!»

Наверное, вся театральность 1920-30-х годов переместилась туда, в «Архипелаг».

### *Из дневников и рассказов отца*

В Бутырках оказался вместе со знаменитым руководителем советского цирка Данкманом, арестованным во второй раз, умирающим. Тот просит изобрести для него какую-нибудь вину, чтобы прекратились пытки, скорее отправили в лагерь, – но вину такую, за которую не расстреляют. «Фантазии нет у вас, а еще литератор».

«Во время очередного допроса меня следователем Братяковым (отвратительный циник, кстати, кандидат исторических наук) я нарочно, чтобы немного подразнить его, процитировал строфы Маяковского, где поэт говорит, что забросал бы бомбами Кремль, если бы революция пошла по пути обожествления вождей (томик Маяковского с поэмой «В.И. Ленин», издание 1928 года, дали из огромной, может быть, лучшей в те годы библиотеки МГБ).

– Как же вы недосмотрели, выдаете заключенным такие книги?

– Да, – протянул следователь, – за такие строки мы бы сейчас подвели Маяковского под статью 58-19 (то есть террористические призывы, намерения)».

«Финал следствия, у прокурора Дорона. Маленький, упитанный, разовощекий, явно – самодовольный. Допрос несколько раз прерывается телефонными звонками. Звонит жена прокурора. Из его ответов видно, что у них гости, что его ждут с нетерпением. Он поглядывает все время на часы. На очередной звонок отвечает: – Скоро, скоро... А пока возьми то, что стоит под столом. Откройте там...»

«Вызвали "с вещами". Значит – финал: будут зачитывать приговор. Прощаюсь с товарищами по камере (в Бутырской тюрьме). Дружественно настроенный Геннадий Быков (знаменитый баянист), пожимая руку, говорит:

– Желаю вам семь лет!

Это мечта тех, кто боится осуждения на 25 лет».

Много позже, незадолго до смерти, отец все-таки еще раз вернулся воспоминанием в ту бутырскую камеру.

«7 апреля 1975 г.

Сегодня, перечитывая некоторые главы в книге сына "Лунин", наткнулся на то место, где сообщается, что когда группу декабристов отправляли в Свеаборг, на каторгу, двое из группы – Громницкий и Киреев – заплакали.

Не знаю, почему я при первом чтении не обратил внимания на эти строки. А сейчас мое сердце невольно стеснилось. Я вспомнил, как и я впервые заплакал после моего ареста, состоявшегося в ночь на 4-е (или 5-е) ноября 1950 г.

Это случилось 5 мая 1951 года. До этого дня ни отчаянная тоска по семье, ни мучительные переживания при мысли о ее положении, о ее будущем, ни сознание безнадежности моего положения не могли вызвать у менч хотя бы слезинку.

Но вот 5 мая меня перевезли на "черном вороне" из МГБ в Бутырку. Первым потрясением в полном смысле слова было зрелище Бутырского двора – чистого, опрятного, залитого ярким солнечным светом и покрытого множеством цветочных клумб: поразило такое обилие цветов в начале мая. Вошел в камеру в подавленном состоянии. Стемнело. Все мы лежали на железных койках, на которых еще не было тюремного белья.

И вдруг разразился весенний ливень – бурный, веселый, неукротимый, длительный – и все, что смутно томило мою душу в эти мгновения, все, что отложилось в ней за прошедшие полгода, внезапно прорвалось у меня неудержимым потоком слез. Мне уже не было стыдно перед товарищами по камере. Я повернулся лицом к стене – и долго рыдал, а непрекращающийся гром как бы сопровождал меня: он был так силен, что я даже подумал, что мой сосед Геннадий Быков не слышит моих рыданий.

Но утром, во время нашего скудного завтрака Геннадий тихо и грустно сказал:

– Я слышал вчера, как вы плакали».

1950-1954

И вот лагерь, и тот портрет.

*Заключенный И-1-758.* По возрасту и ревматизму – не в шахту, а на вспомогательные работы: чистить снег, топить печи, хоронить мертвецов, выписывать номера, которые все лагерники обязаны были носить на правом колене и левой руке:

«Один заключенный поднял шум. Ему не понравилось, как я вывел тушью его номер:

– Это же черт знает что! Я хочу, чтобы номер выглядел красиво, а вы что сделали?

Забота о красивом клейме!»

Здесь приказано провести десять лет, а потом дожидаться исполнения напутствия, сделанного следователем Братяковым,



– что после десяти добавят еще десять и еще: «Вы же озлобитесь: как можно возвращать в столицу?»

Ну что ж, *театр*: место действия ясно, время действия – десять и более лет; действующие лица: некоторых из них, соседей по бараку, отец припомнил много лет спустя и записал по памяти.

«Мои товарищи (Воркута 1951-54)

- 1) Андрушкин – полицай.
- 2) Черчук – западный украинец.
- 3) Рабкин – завмаг в Николаеве.
- 4) Жук Ст. – безногий "мельниковец"
- 5) Банников – якобы "студент".
- 6) Санько – бригадир, уголовник (ведал раздачей посылок, взимая большую дань).
- 7) Васильев – молдаванин, уголовник.
- 8) Скворцов – белогвардеец.
- 9) Петровский – белогвардеец, из Югославии.
- 10) Клоченко Ив. – бригадир.
- 11) Шломс – гитлеровский офицер.
- 12) Зиверт – эсэсовец.
- 13) Голландец – из "Викинга", безногий.
- 14) Голландец – жулик.
- 15) Ковик – вор.
- 16) Бричка – бандеровец.
- 17) Шахнис – инженер.
- 18) Серегин – артист из театра Радлова.
- 19) Горбунков – художник-белогвардеец.
- 20) Девятов – завмаг из Тулы.
- 21) Фронзей – западный украинец, без руки.
- 22) Грузин (молодой).
- 23) Ленгарт – гитлеровец, убит уголовником.
- 24) Татарин – зам. Санько.
- 25) Литовец – "аврей" (именно так дразнил евреев и за то получил прозвище).
- 26) Носарев – музыкант.
- 27) Синицын – певец Большого театра.

- 28) Морозов – вор, тоже певец.
- 29) Зарубин – евангелист, бывш. комсомолец.
- 30) Художник-москвич, евангелист.
- 31) Иванов Жора – спортсмен.
- 32) Маслов 1-й – вор.
- 33) Маслов 2-й – вор.
- 34) Эрлих – австриец, работник гитлер. посольства в Сербии.
- 35) Козлов – врач из Литвы, теософ.
- 36) Вильде – врач, латыш.
- 37) Павлинов – полицей, ленинградец.
- 38) Усач – тамбовец.
- 39) Еременко – бригадир “пожарной команды”, бывш. штурман авиации.
- 40) Его друг – ленинградский инженер.
- 41) Музыка – западный украинец.
- 42) Цирк – эстонец (симпатичный парень).
- 43) Октябрьский – адмирал (бывший командующий Черноморским флотом).
- 44) Гейман – якобы поляк, выдающий себя за студента ленингр. университета».

Теперь можно заглянуть на бесконечное *представление*.

Для высшего начальства устраивались спектакли-концерты с участием неплохих сил всесоюзного и международного класса. На одном лагпункте начальник приказал, чтобы конферансье (естественно, тоже каторжник) объявлял номера так: «Рахманинов. Полька. Исполняет Иванов, международный шпион, статья такая-то. Маяковский. Стихи о советском паспорте. Исполняет Рабинович, статья 58-10. Моцарт. Турецкий марш. Исполняет фон Экке, штурмбанфюрер войск СС, статья такая-то...»

В этом худшем из мест хохотали куда больше, чем на воле, иногда объясняя это отсутствием страха попасть в тюрьму и лагерь.

«Лагерные “развлечения”:

Молодой, но довольно уже “опытный” вор, находившийся в одном со мною бараке, предложил мне пари (в присутствии

многочисленных свидетелей): он утверждал, что ему удастся днем, когда я прилягу после работы, снять с меня ремень, даже если я буду лежать на спине. В случае удачи – я обязуюсь отдать мой ремень навсегда, а сам обвязать себя какой-нибудь веревкой, чтобы "не падали штаны". Ну а он, в случае неудачи, мне ничего не даст. Воры, мол, таких "пари" не принимают.

Я согласился. Гордость заговорила. И вот на следующий же день состоялась первая попытка "разременить" меня. Я прилег, от усталости вздремнул. Но каким-то особым чутьем угадал приближение вора: он подполз на коленях. Как только он приподнялся, приподнял руку, я, не открывая глаз, произнес: "Ну, ладно, ладно, катись, братишка!" В бараке грянул хохот. Вор был немного смущен, но сказал:

– Вот крест святой, в один из ближайших трех дней ремень перейдет ко мне.

Две новые попытки прошли для него неудачно. Я был начеку, не дремал, но притворялся дремлющим.

А на третий день все же задремал. И открыл глаза, когда услышал хохот. Воришка стоял возле моей нары и, победоносно улыбаясь, демонстрировал мой ремень. Не могу понять, как он вытащил его из-под меня, но вытащил.

Я признал себя побежденным и сказал:

– Ничего не поделаешь. Ты мастер. Что ж, ремень твой.

Но победитель оказался великодушным.

– Нет, батя, – сказал он, весь сияя от удовольствия. – Раз ты не стал торговаться, сразу признал себя побежденным – возьми свое добро. Вот кабы ты стал юлить, не видать бы тебе ремня.

У нас тоже своя психика!»

*Театр слухов:* например, клянутся, что сами слышали, как радио передавало, будто американцы сбросили на Корею маршала Жукова: оказалось – «колорадского жука» (который, впрочем, в Корее не более правдоподобен, чем маршал Жуков).

*Театр одного актёра:* начальник вызывает отца и отправляет его надолго в БУР (то есть барак усиленного режима), кажется, за то, что дал из посылки меньше, чем тот рассчитывал.

– За что?

– Запишем, что в два часа ночи ты играл в барак на скрипке!

Оставалось только спросить, скрипка была Страдивари или Гварнери?

БУР в том лагере состоял из множества секций, «пеналов», так что можно было через верхнее крохотное окошко услышать соседнюю секцию. Вскоре оттуда донеслось:

- Фраер, Есенина знаешь?
- Есенина не знаю, Блока знаю.
- Валяй Блока.

И отец начал:

По вечерам над ресторанами...

Блатной сосед повторил; затем то же самое в третьей секции, в четвертой, и так до самого конца, всего, кажется, было 15 или 20 пеналов. Можно вообразить, как искажалась строка, пока доходила до конца, а меж тем вслед за первой так же по цепочке шла вторая, третья, четвертая.

Горячий воздух дих и глух,  
И правит окриками пьяными  
Весенний и тлетворный дух.

Вслед за первым стихотворением Блока второе, третье: «Еще, еще и еще!» – требовали секции, и отец читал, читал: «Девушка пела в церковном хоре», «Скифы», «Я закрою голову белым», и снова требовали: «Давай "По вечерам над ресторанами"...»

А в другой раз, под Новый год, когда всем особенно тяжело, в бараке попросили прочитать. На этот раз было:

А мне, Онегин, пышность эта,  
Постылой жизни мишура,  
Мои успехи в вихре света,  
Мой модный дом и вечера,  
Что в них? Я все отдать бы рада,  
Всю эту ветошь маскарада,  
Весь этот шум и блеск и чад  
За полку книг, за дикий сад,  
За наше бедное жилище,  
За те места, где в первый раз,

Онегин, видела я вас,  
Да за смиренное кладбище,  
Где нынче крест и тень ветвей

Над бедной нянею моей...

Все молчали, и вдруг высказался простой, не очень грамотный человек, если не ошибаюсь, – плотник из Ленинграда:

– А все-таки мы все отсюда выйдем и будет хорошо.

– Почему же, откуда знаешь?

Рабочий стал объяснять, что если есть на свете такие вот стихи, то, значит, есть правда, и все окончится хорошо. Многие смеялись, ибо правда в ту сталинскую новогоднюю ночь казалась недостижимым миражом – через сто или двести лет...

Еще и еще невыдуманные сцены, записанные или рассказанные отцом – актером и зрителем того дьявольского театра.

У костра бешено спорят «твердокаменные» с троцкистами, все уверены в своей правоте, хотя каждый сидит не меньше семнадцати лет. Пожилой еврей, послушав, говорит моему отцу: «Яков Наумович, наконец я понял, в чем разница между Сталиным и Троцким. Вот вы – сколько имеете право посылать писем домой?»

– Два письма в год (штрафной лагерь).

– Так вот, я вам скажу, что если бы победил Троцкий, то вы посылали бы три письма в год: все-таки Лев Давидович был образованный человек.

Кстати, об этих письмах: некоторые приходили неофициальными каналами; за взятку выносила за зону охрана или блатные, иногда нас достигали удивительные треугольнички «фронтového типа», чудом на ходу где-то сложенные и брошенные: как-то в одном из них читаем: «Просьба прислать голубую сорочку-безрукавку, это мне нужно для одного человека, которому я кое-чем обязан». После этого в тексте карандашом, подделываясь под почерк отца, пояснение: «Шолковую, синяю» (именно так!). Отец жалел мать, выбивавшуюся из сил на работе, опасавшуюся, что вот-вот заберут опечатанную комнату, собиравшую из последних средств продуктовые посылки в Воркуту. Отец писал бодрые послания, лишь изредка расслабляясь:

«Вспоминаю почему-то нашу последнюю прогулку в Александровском саду, заходили есть мороженое на улице Калинина, медленно брели по Арбату... Как мало таких минут было в нашей жизни...»

Всего лишь третий лагерный год. Продуктовые посылки из Москвы посылать нельзя – только с загородных почт. Спасибо, огромное спасибо тому чиновнику почтамта, которого нам указали бывалые люди и кто за десятку соглашался принять на улице Кирова.

Как не вспомнить Герцена, заметившего, что, если бы в России не брали взяток – жить было бы совсем невозможно!

Сын за это время окончил университет и с «такой биографией» с трудом устроился в отдаленной школе; отец в письмах желал ему в будущем «только творческих страданий» и справлялся, как там «Спартак» идет в первенстве СССР?

В очередную новогоднюю ночь, 1 января 1953-го, в бараке вспоминали, кто и где был ровно десять лет назад. Отец довольно точно назвал Дубовое и Нестерки в Донских степях, во время Сталинградской операции. Вдруг ээсовец с соседних нар оживился и начал перечислять те же места, сопоставляя топографию, пейзаж: друг против друга, почти как сейчас.

И вдруг – забрезжило. 14 мая 1953-го отец пишет:

«Славные, милые мои!

Как я невыразимо счастлив, жenuшка, что у тебя наконец-то чувствуется просветление настроения! Происходят замечательные вещи, и правильно один мой знакомый сказал, что кроме "Необыкновенного лета" Федина мы обогатились сейчас и "необыкновенной весной" 1953 года! Неслучайно статья Эренбурга в "Правде" от 1 мая называется "Надежда". Сейчас и в моем сердце вспыхнула какая-то надежда... У меня инстинкт глубоко оптимистический – и он всегда в конце концов побеждал. Я не знал, как и сейчас в сущности не знаю, откуда придет счастье, но я в него верю, верил часто, "рассудку вопреки"».

7 июля 1953 года (сразу после ликвидации Берии): «Почти три года не хотел читать, сейчас просыпается старая страсть». Тут же просьба прислать «Литературную газету» и «Советское искусство»: эти газеты очень нужны, во-первых, для «техниче-

ской потребности», во-вторых – в помощь курящим товарищам и, наконец, в-третьих, конечно же, чтобы быть «в курсе»...

Генерал Масленников приезжает в Воркуту, обращается к заключенным: «Товарищи!», говорит, что все будет исправлено, – а из толпы ему кричат: «И 17 лет наших каторжных нам вернешь?»

Генерал уезжает, готовится стачка, отца избирают в стачком, он выдан стукачами и увезен (успел предупредить, чтобы мы не удивлялись долгому отсутствию писем) – стачка расстреляна, генерал Масленников в Москве кончает самоубийством; и тут вдруг начинают выпускать...

Начинали с тех, у кого в деле был какой-то документ, прошение родных или близких.

Уже упоминавшийся Анатолий Николаевич Карачистов (так в оригинале. Ср. выше: Карочистов. – Ред.), узнав у себя на заводе, в Павлове на Оке, что его фронтового друга арестовали, написал наверх, в прокуратуру (еще при Сталине, в 1951 году!), что он лучше других, по фронту, знает арестованного и ручается за него как за самого себя: «если он виноват, то и я виноват» (давал под Сталинградом партрекомендацию). Мужественному человеку необычайно повезло, что он числился по рабочему классу и жил в провинции, где сумели замять дело (чрезвычайно дорожили золотыми руками этого мастера).

Очевидно, это письмо вместе с заявлением матери сократило отцовский лагерный срок на год или больше.

Сейчас, на расстоянии, почти не различима разница – 1954-й или 1956-й; но если эту разницу отсидеть в бараке за проволокой...

Передо мной лежит справка (часть ее заранее оформлена типографски):

«СССР. Министерство внутренних дел. Форма "А". Видом на жительство не служит. При утере не возобновляется. ИТЛ "Ж" №0015825. 12 июля 1954 г. Выдана гражданину Эйдельман Якову Наумовичу..., в том, что он (она) отбывал (ла) наказание в местах заключения МВД и решением прокурора МВД СССР срок снижен до пяти лет и в силу ст. 1 указа от 27 марта 1952 со снятием судимости освобожден (на) и следует к избранному месту жительства гор. Москва до ст. Москва.

Подписи: начальник лагеря (зачеркнуто – *ИТК*) Прокопьев.

Начальник отдела (зачеркнуто – *части*) Рыбкина.

Паспорт выдан. Билет на проезд выдан до ст. Москва».

Следует «подпись осужденного».

Дали несколько рублей, посадили в поезд Воркута–Москва, и снова, как в 1945-м, – безмерная радость встречи, надежды на будущее.

### 1954-1978

Возвратившись – в партии не стал восстанавливаться, и это сразу отрезало возможность вернуться в печать: беспартийный – одно дело, а исключенный – другое.

Когда-то был заметной фигурой в центральных газетах – теперь поработал корректором в одной из типографий и заслужил 58 рублей пенсии. Воспитывал внучку, но и она быстро вырастает; несколько раз съездил в любимое Михайловское; кое-где подрабатывал, все больше под чужим именем. Да и переменялся после лагеря – статейки, рецензии на «театральную продукцию» совсем не увлекали.

Уехать? Но – семья, да и в те годы не очень-то уедешь.

Сил было еще много, они требовали выхода, душили, напоминая пушкинское –

Кипит в бездействии пустом...

И снова – спасительный дневник (кажется, третий или четвертый по счету: предыдущие пришлось уничтожить на войне, пропали при обыске). Снова – старинные собеседники Бунин, Герцен, Салтыков-Щедрин, Чехов, Пушкин.

«2 февраля 1974 года.

Чем дольше я живу – тем больше понимаю – как бессмысленно *спорить* об искусстве, как нелепы и безрезультатны все попытки *объяснить* суть искусства. Это – *необъяснимо*. Почему то или иное произведение *ранит*, волнует, вторгается в тебя *на всю жизнь*, рождает в тебе сладостную дрожь? Не объяснить – как красноречиво ни говори об этом. Ведь иногда маленький отрывок, фраза, два-три слова становятся *ключом* к рассказу,



стихотворению, целой поэме, ко всему творчеству художника, *тоном*, определяющим всю музыку!..

Мне было 15-16 лет, когда я впервые прочитал рассказ Чехова "Дом с мезонином". Рассказ с самого начала пленил поэтичностью, тонкостью, целомудренной чистотой. И вдруг – последний, заключительный аккорд:

– Мисюсь, где ты?

Не знаю, что сделалось со мною. Словно ударило что-то в сердце, молния блеснула, по-новому осветились лица героев рассказа, все его содержание. Во мне зазвучала какая-то чудесная, нездешняя – я не сочиняю! – музыка, и с тех пор, вот уже 60 лет, не умолкая, поют во мне эти слова: "Мисюсь, где ты?"; поют часто во сне, в минуты трудных, горьких переживаний, более того – на всю жизнь поселился во мне *весь Чехов*, раскрылся передо мною весь лучезарный, сияющий, волшебнно-поэтический, вдохновенно-грустный и музыкальный мир его творчества!

И то же повторилось при чтении "Евгения Онегина".

Казалось бы, вдоволь уже наслаждался чарующей красотой, глубиной, поэтической мудростью поэмы. И вдруг –

А мне, Онегин, пышность эта...

Разве мог бы я выстоять на фронте, в тюрьме и в лагерях, если бы не Чехов и Пушкин? Помогает истинно верующим молитва!»

«8 апреля 1974 г.

Как часто и настойчиво преследует мысль о самоубийстве...

Почему? Разве не смешно: и без этого жизнь вплотную подошла к концу. Через 3 дня исполнится 78 лет – и вдруг мысли о самоубийстве! Как это объяснить? Но разве все можно объяснить до конца? В лагере были случаи попыток к бегству за 2-3 месяца до окончания срока – людей, отсидевших уже 10-15 лет. Разве холодным рассудком это поймешь? А я не осуждал этих людей. Им давали новые "сроки", но я не был в числе тех, кто выражал свое страстное недоумение. Хотя не до конца "понимал"».

«2 августа 1974 г.

"Все люди одиноки".

Это я услышал не от культурного, "эрудированного" человека, а от простой, малограмотной женщины, дворничихи, во время случайного нашего разговора. Сказала она это грустно, задумчиво – и я почувствовал за этими ее словами большую боль, груз тяжелых переживаний. "Все люди одиноки". Можно жить, "как все", читать книги, посещать концерты, театры, проводить часы у телевизора, ездить на курорты, принимать гостей, смеяться, слушая нелепейшие анекдоты, – можно жить, "как все", и ни на минуту не расставаться с мучительным чувством одиночества, душевной пустоты, с горьким сознанием бессмысленности своего существования, своей ненужности».

Падал духом, погибал – но не умел сдаться: закалка, что ли, была у этого странного поколения, с его тихой провинциальной юностью, позволившей пережить войны, революции, лагеря?

В августе 1975-го отметил «золотую свадьбу» с женою, сыном и внучкой в псковском Пушкинском заповеднике: на 80-м году жизни, с больным сердцем, обошел Пушкинские горы, Михайловское, Тригорское и сказал на прощание: «Вот и все, прощай, Пушкин, больше не увидимся».

Последняя выписка из классиков незадолго до смерти:

«Нет большего раба, чем тот, кто считает себя свободным, не являясь таковым» (*Гёте*).

Последняя запись в дневнике (1978 г.):

«И лишь изредка снова ощущаю в себе приметы нормального человека: вспышки ярости, ненависти, боевой страсти, любви, пылкой веры во что-то, желания действовать»...

Умирал мучительно (рак желудка), стараясь как можно меньше беспокоить столь привычную к горестям жену; не допускал внучку, чтобы она, не дай Бог, запомнила его таким, а не прежним. Выходя из забытья, пытался острить: «Видно, мало пьете за мое здоровье!» Я спросил: «Ты что, не хочешь выздороветь?»

– Нет, иначе придется все это пережить еще раз.

Дня за два до смерти вдруг прошептал (говорить уже было трудно) любимые строки из Саши Черного:

Есть горячее солнце, наивные дети,  
Драгоценная радость мелодий и книг.  
Если нет – то ведь были, ведь были на свете  
И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ...

Когда его молодые приятели, уехавшие в Израиль, узнали о смерти друга-учителя, – они посадили в заповедной роще десять деревьев в память ушедшего и прислали о том документ, хранящийся у моей мамы.

Рядом с сотнями тысяч деревьев, единственных памятников тем, кто сожжен в Треблинке и убит в гетто, – растут, шумят десять деревьев, маленькая рощица «Яков Эйдельман».

Он был бы доволен, мой отец, веривший в природу, в живое и мечтавший, как один давно умерший единомышленник, строками Лермонтова:

Надо мной, чтоб вечно зеленея,  
Темный дуб склонялся и шумел...

**ЭЙДЕЛЬМАН** Натан Яковлевич (1930-1989). Писатель, историк, кандидат исторических наук. Автор книг «Лунин», «Тайные корреспонденты "Полярной звезды"», «Герцен против самодержавия», «Ищу предка», «Герценовский "Колокол"», «Путешествие в страну летописей», а также нескольких десятков литературоведческих работ, документальных очерков, исторических исследований.

## **Кассеты артистки В Е Р Ы Е Н Ю Т И Н О Й**

Всем, кто любит русскую литературу, кому дорог русский язык, кому трудно самому читать по возрасту или по состоянию здоровья, — советуем приобрести кассеты артистки Веры Енютинной.

Обширный каталог состоит из 300 кассет.

**Детский отдел:** Русские народные и современные сказки, сказки Пушкина, Толстого, Мамина-Сибиряка. Библия для малышей. Рассказы из русской истории. Уроки русского языка для начинающих и иностранцев.

**Отдел прозы:** Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Лесков, Чехов, Куприн, Андреев, Бунин, Набоков, Ремизов, Гоголь, Достоевский, Замятин, Зощенко, Аверченко.

**Поэзия:** Все русские поэты, начиная с Баратынского и кончая Пастернаком и Цветаевой.

**Для любителей театра:** Кассеты с отдельными сценами из пьес Шекспира, Чехова, Островского, Ибсена.

**Цена кассеты — 5 ам. долл. плюс пересылка.**

**Каталог — бесплатно.**

**Чеки, заказы и вопросы посылайте по адресу:**

**A.Tregoubov. 3 Pillsbury St.,  
Claremont, New Hampshire 03743 USA.**

Михаил Лемхин

## ЭКРАН-89

Один московский кинокритик недавно сказал, что символом нынешнего советского кино могла бы быть голая девица, которая, сидя нога на ногу под портретом Сталина, курит марихуану.

Понятно, что критик хотел подчеркнуть, насколько серьезно он относится к потоку кинохалтуры, захватившему экраны кинотеатров и видеосалонов, но есть в этих словах, согласитесь, и некоторое кокетство. Мол, ай да мы!

Рассуждения о том, какие впечатляющие изменения произошли в советском кинематографе, нормальные люди уже проглядывают не читая. Ну, разумеется, трудностей много. И бюрократы сопротивляются, и хитрые ретрограды притормаживают, и сами новые прогрессивные начальники тоже не во всем оказались объективны и не ко всем беспристрастны. Но дело идет. А уж если достичь компромисса между эстетамы вроде Сокурова и коммерциалистами вроде Говорухина, то можно будет бросить все силы против конъюнктурщиков. Их не волнуют боли народные, они ухмыляются, услышав об интеллектуальных каких-то исканиях (внутренне, понятно, ухмыляются, пощелкивая внутренними зубами), а сами гонят и гонят метраж – и на один интеллектуальный фильм Сокурова и один коммерческий Михалкова производят сотни «Воров в законе» и прочей пошлятины (см. первый абзац: девица, Сталин, марихуана).

Более или менее гладко, готовыми фразами говорить об этом можно довольно долго. Хуже, если смотреть фильмы. Стоит прокрутить их десяток, и уже будет непонятно, где честная беллетристика, а где конъюнктурная халтура, где искренний импульс, а где беззастенчивое шарлатанство (тоже, кстати, вполне конъюнктурное).

В прошлом году по Штатам была провезена большая программа новой советской кинодокументалистики. Программа называлась широковещательно – «Кино гласности».

Припомните догорбачевские времена. Количество сюжетов, немислимых, «закрытых» для документалистов, исчислялось сотнями. Вероятно, даже проще было перебрать сюжеты, тогда дозволенные, чем исключенные. Так вот, документальные фильмы, показанные в США, затрагивали различные сюжеты из бывшего списка запретов. Но много ли было нового в этих новых фильмах? Боюсь, что нет.

Самый простой случай – ленты вроде «Маршала Блюхера» (режиссер Владимир Эйсер), сработанные без особенных затей. Задача таких картин – просто подновить официальные святцы, удержать зрителя во власти старой мифологии, герои и боги которой – кристально чистые пламенные революционеры от Блюхера и Тухачевского до Бухарина. Думаю, не очень-то много найдется сейчас тех, кто продолжает верить подобным историям о рыцарях революции с чистыми руками.

Сложнее с картиной Герца Франка «Высший суд». В камере смертников, притащив туда свою аппаратуру, магнитофон, окруженный командой сотрудников и ассистентов, пожилой режиссер беседует с юношей-убийцей, ожидающим казни. «Откуда у тебя такая жестокость?» – восклицает Герц Франк. (Характерно, что они не собеседники здесь, они не на равных: ментор, наставник говорит «Валерий» и «ты», и юноша, которому вскоре предстоит умереть, говорит «Герц Львович» и «вы»).

Откуда у него такая жестокость? Юноша мягок и податлив в руках опытного режиссера; он не то чтобы подыгрывает Герцу Франку, он не знает себя, а режиссер умело подталкивает его, заставляя работать на свою схему. Учитывая разницу в возрасте, образовании (посмотрите, какие книжки читает этот парень в камере), учитывая состояние человека, приговоренного к смерти, сознательно ли или бессознательно цепляющегося за Герца Франка как за последнюю надежду, – разве это трудно подтолкнуть легонько в нужном направлении? И слова про потребительство, бездуховность и даже про армию – которая, разумеется, сыграла не последнюю роль в воспитании жестокости, – лишь

крохотные мазки, расцветивающие уже заготовленную схему. Дети, если вы будете плохо себя вести, как этот дядя, худо кончите; глядите, дядя даже сам не заметил, как стал убийцей.

Чем похож Валерий на своих сверстников и чем не похож? Как сложились качества, присущие многим, с чертами, свойственными лишь одному ему? Ничего подобного мы из этой картины не узнаем<sup>1)</sup>.

По-моему, например, гораздо страшнее армейского воспитания – мать героя, советский юрист, женщина, которая требует смерти для собственного сына.

«Мама была для меня кумиром...»

Откуда у него такая жестокость? Действительно – откуда? Когда жестокость насаждалась и культивировалась как доблесть и принципиальность.

Или непримиримость – тоже хорошее слово.

На мой взгляд, картина Герца Франка – имитация. Это имитация анализа, а не анализ.

Еще один, совсем печальный пример – фильм украинского режиссера Владимира Шевченко «Чернобыль – хроника трудных недель». Шевченко заплатил жизнью за эту картину. Он умер от лучевой болезни; уже после смерти режиссера фильм с трудом, со скандалом прорвался на экраны.

А смотреть этот фильм невозможно. Он снят, чтобы занять свое место под пресловутой рубрикой «Трудовые подвиги и великие свершения советского народа». Подобных картин мы видели множество: где-то сооружали крупнейший в мире завод, где-то гигантской длины канал, потом железную дорогу, трубопровод. А тут ликвидируют последствия крупнейшей в мире атомной аварии. Поражает, однако, то, что образцы, на которые равнялся режиссер, – это даже не шаблоны брежневских семидесятых, – схема позаимствована из еще более одиозных времен, из пятидесятых. Всё, начиная от манеры съемки и кончая дикторским текстом, произносимым с патетическим подъемом, буквально всё работает на то, чтобы лишить нас возможности поверить хотя бы одному слову, хотя бы одному кадру.

Я вовсе не хочу сказать, что режиссеры этих фильмов – во всяком случае, последних двух – халтурщики или беспринципные люди, исполняющие волю каких-то идеологических хозяев. Про-

блема скорее внутри них, чем вовне. Проблема всегда внутри. Извне возможно только давление. Никто не может заставить художника сделать лживый фильм. Художнику можно помешать сделать фильм, можно не дать фильму выйти за пределы студии – это всё другое. Это власти могут. Но за любую ложь, большую и маленькую, сознательную и неосознанную, – отвечает автор.

Язык, которым говорит Шевченко, – это и х язык, это своеобразный новояз, грезившийся орвелловскому О'Брайену, – на этом языке по определению не может быть сказано ни слова правды. Язык Герца Франка – язык более гибкий, я бы сказал, позволяющий почти каждую фразу, произнесенную в нем, толковать и в духе верноподданничества, и в духе ручного диссидентства.

И вот это-то самое трудное – вырваться за пределы т о г о языка. В программе советских документальных фильмов была небольшая картина Александра Сокурова «Жертва вечерняя», пожалуй, единственная свободная от старых смысловых (идеологических) шаблонов. То есть свободная в той степени, в которой подобная свобода вообще возможна. В том и дело, что, даже если завтра все О'Брайены уйдут, останется созданный ими язык, то есть сознание миллионов людей, в значительной степени на конструкциях этого языка основанное и практически только ими вербализуемое.

Путь, которым идет Сокуров, представляется мне единственно плодотворным: не отказ от старого языка, что невозможно и осуществимо лишь одним способом – самоубийством, а расширение границ, захватывание областей, раньше, при помощи старого языка – новояза – совершенно невыразимых. Ибо лишение новояза его универсальности, всеохватности автоматически уничтожает его императивность.

(Замечу в скобках, что такое именно отношение к языку целиком укладывается в рамки постмодернистской эстетики, доминирующей в современном искусстве. Другими словами, неизбежная эстетическая зависимость до некоторой степени помогает художнику освободиться от зависимости идеологической).

К сожалению, авторы наиболее интересных работ, представленных в рамках этой программы: Дмитрий Дилов («Против



течения»), Владимир Мирзоян («Портной»), Сергей Мирошниченко («А прошлое кажется сном»), Борис Кустов («Леший») – ощутимо лимитированы возможностями языка, на котором они говорят.

Впрочем, документальный фильм зачастую может быть любопытен просто как источник информации (понятно, с введением некоего коэффициента). Проще говоря, не веря автору, не соглашаясь или сомневаясь в его концепции, видишь изображение – картинку, некоторый кусочек реальности. Даже из такого фильма, как «Хроника трудных недель», мыслимо почерпнуть какую-то информацию. Игровое кино лишено подобной подпорки. Первым делом автор должен заставить нас поверить в существование мира, созданного им на экране (а еще перед этим тот экранный мир нужно создать). Только зритель с совершенно девственным сознанием, вроде годаровского карабинера, готов воспринимать всякое движение на натянутом белом полотне непосредственно как живую жизнь.

Может быть, в прошедшем году сюда, в Сан-Франциско, не добралось что-то важное; возможно, я что-то существенное пропустил, но, должен сказать честно, нередким чувством – при выходе из зала, при выключении видеомагнитофона – было сожаление о потерянных полутора часах.

Вот, например, «Защитник Седов» Евгения Цимбала.

1937 год. Домой к адвокату Владимиру Николаевичу Седову являются три женщины, жены арестованных и приговоренных к расстрелу агрономов из небольшого городка Энска. Агрономов обвинили во вредительстве. Поколебавшись, Седов берется за это дело, отправляется в путешествие по кабинетам прокуратуры, а затем и в путешествие по стране, в этот самый Энск. Развязка истории – неожиданна. Агрономы спасены, но не столько благодаря усилиям Седова, сколько благодаря смене начальства наверху.

Стрибуны некоей конференции генеральный прокурор (разумеется, загримированный под Вышинского) сообщает, что «троцкистские и бухаринские агенты, польские и японские шпионы» пробрались в различные жизненно важные центры советской юридической системы (тут следует список всех тех, с кем адвокату Седову пришлось столкнуться во время его путеше-

ствий). Вот вам, продолжает генеральный прокурор, пример их деятельности: в городе Энке они обвинили в чудовищных преступлениях ни в чем не повинных агрономов. «Все эти враги народа разоблачены и расстреляны, как бешеные собаки! Они получили то, что заслужили, благодаря самоотверженности товарища Седова, адвоката, который находится сейчас здесь, в этом зале. Давайте поприветствуем его, товарищи!»

Старый рассказ Ильи Зверева, камерный, локальный и психологически достоверный, – убеждал. Рассказ Зверева позволял воображению, опираясь на него, нарисовать картину целого, во всяком случае образ целого.

Режиссер же, благо время нынче другое, с первого кадра вознамерился создать нечто символическое, иероглиф под названием «1937 год». Эстетские мизансцены, нарочитая игра с оптикой, вмонтированная хроника, перемежение черно-белого и цветного изображений – все это, что с большим, что с меньшим успехом, подчинено простой задаче: подать случай адвоката Седова как символ времени. В результате убедительная, заставляющая сжаться история Ильи Зверева превратилась в некий этюд про «марсианскую жизнь». Ибо за всем этим формальным разгулом фильм лишен минимального фундамента чувств, а персонажи его не претендуют ни на что большее, кроме роли фигур на шахматной доске.

Еще один модный фильм, попавший к нам сюда в прошлом году, – «Город Зеро» Карена Шахназарова. Казалось бы, этот фильм, сделанный режиссером с иными пристрастиями, иным опытом, ни в чем с картиной Цимбала пересечься не может. Однако ленты похожи, словно сошли с одного конвейера.

Фильм начинается, как тысячи фильмов до него: инженер Варакин, типичный бесцветный мелкий московский чиновник, прибывает в какую-то дыру. Вокзал. Городишко. Завод. Однако не все так просто. Шахназаров вознамерился показать нам кунсткамеру советской истории. Здесь фигурки не шахматные, а восковые. Жители города Зеро плюс персонажи местного краеведческого музея – каждый олицетворяет собою то или иное явление или событие 1917-1988 годов. Из этой многозначительной и одновременно незамысловатой мозаики якобы должна сложиться картина абсурдной советской жизни. Как же ввести

нас, зрителей, в тот мир символов, который хочет сконструировать Карен Шахназаров? Как? Средства, которыми пользуется автор, не отличаются изобретательностью. Варакин открывает дверь в приемную директора завода – что, вы думаете, он видит? Совершенно голую (ну, понятно, в туфлях на шпильках) секретаршу. Режиссер поворачивает ее и так, и сяк, а через пару минут экранного времени мы опять попадаем в приемную, и секретарша встает, прохаживается – не столько для дела, сколько для того, чтобы мы имели возможность осмотреть ее и сзади, и спереди. И это, так сказать, ключ. Прием. Это нам хотят сказать: вы попали в необычный мир. «Прием» вполне характеризует интеллектуальный уровень ленты Шахназарова.

Высосанные из пальца – если хотите другое слово, символические, – эти города Энски и города Зеро должны будто бы рассказать нам о чем-то очень существенном, открыть какую-то универсальную правду.

Я взял два незаурядных – судя по интересу к ним советской кинокритики – фильма. Затрудняюсь сказать, чего в них больше – сознательной конъюнктурности или же неспособности выйти за границы элементарных шаблонов; ясно одно, что на этом пути удач ждать не приходится.

Не приходится их ждать и на пути, которым пошел актер Кайдановский (замечательно сыгравший когда-то в «Сталкере») в снятой им картине «Жена керосинщика». Умилительны в связи с этим фильмом рассуждения о постмодернизме в советском кино и о прочих подобных материях, с которыми лента ни в какой связи не находится. Искусство постмодернизма – совсем не бутафорские груди из папье-маше, демонстрируемые нам в «Жене керосинщика», и художники, чье творчество принято ассоциировать с постмодернизмом, – вовсе не холодные рационалисты. По существу постмодернизм, наоборот, весьма эмоционален и горяч. Настолько, что слова, при помощи которых предшественники говорили о своем сокровенном, представляются художникам постмодернизма уже затертыми и залапанными, но и схематичный стерильный универсализм без сентиментов не может их удовлетворить. Для постмодернизма характерно повествование, ведущееся как бы одновременно в двух ключах. Это дает возможность использовать уже отягощенные, нагруженные оп-

ределенным содержанием приемы в новом контексте. Грубо говоря, можно быть открытым и держать дистанцию, можно рассказывать бытовую историю и одновременно толковать о ее универсальном, метафизическом существе. Изображение может быть отчетливо резким, может двоиться, одни и те же персонажи могут играть как бы в двух разных пьесах: в театре Станиславского и в театре Брехта.

Очень наглядно механика постмодернистского повествования продемонстрирована Фасбиндером в ленте «Год 13 лун» (1978) или Тео Ангелополусом в фильме «Пейзаж в тумане» (1988). Полагаю, так пытался построить Вадим Абдрашитов свою последнюю картину «Слуга». Попытка, на мой взгляд, успехом не увенчалась – слияния не произошло, и каждый переход от одной манеры повествования к другой, оставаясь открытым швом, вызывает оторопь у зрителя.

Что же касается «Жены керосинщика», здесь гораздо уместнее не рассуждения о постмодернизме, а соображения Ахматовой об одном современном поэте, В-ском: «Я говорю со всей ответственностью, ни одно из слов своих стихов он не пропустил через сердце»<sup>2)</sup>.

Разумеется, были в прошлом году замечательные игровые и документальные фильмы Александра Сокурова, на Сан-Францисском фестивале была показана потрясающая картина Георгия Гаврилова «Исповедь. Хроника отчуждения», в прошлом году появилась в Штатах, сначала в эмигрантских видеотеках, а потом вышла в прокат «Маленькая Вера» Василия Пичула. Но это, пожалуй, и всё<sup>3)</sup>.

## 2.

Открыв «Советскую культуру» от 3 октября 1989, я прочитал любопытную заметку Ю.Гейко «Кто украл советский фильм?»:

Представьте себе, что вы молодой режиссер и поэтому сняли свой первый фильм. Представьте себе, что вы талантливы, что фильм получился и вас вместе с ним посылают на кинофестиваль в Нью-Йорке. Представьте, что все там предвещает успех – и пресса, и отзывы зрителей, но... незадолго до конкурс-

ного показа вашу единственную копию с английскими субтитрами похищают вместе с машиной.

Я не знаю, сочувствовать молодому выпускнику ВГИКа Георгию Гаврилову или радоваться за него – прекрасную он получил рекламу из-за этого курьезного происшествия: случайно включив телевизор в гостинице на углу Бродвея и 23-й стрит, я увидел кадр из его фильма «Исповедь. Хроника отчуждения» и такой текст: «Если вы что-то знаете об украденном фильме, позвоните по телефону 552-9271. Нашедший получит вознаграждение». [...]

Мне очень хотелось разыскать Георгия Гаврилова, спросить его и помочь ему хотя бы сочувствием, но я в тот день из Нью-Йорка улетал. Купил по дороге в аэропорт газету наших эмигрантов «Новое русское слово» и увидел в ней фотографию Гаврилова, кадр из его фильма и заголовок «Будет ли "Исповедь" показана в Нью-Йорке?» Газета в этом сильно сомневалась: «Конечно, Георгий сообщил о случившемся на "Мосфильм". Чем они могут помочь? Напечатать новую копию с английскими субтитрами? Это при советской архаичной системе титрования за оставшиеся дни просто нереально. Прислать новую копию хотя бы и без титров? Об этом сейчас и ведутся переговоры».

Конечно, в Москве я не мог удержаться от того, чтобы узнать, чем же эти переговоры закончились. Тем более, что конкурсный показ в Нью-Йорке 3 октября.

На «Мосфильме» ничего не знают о том, отправлена ли копия: «Фильм вышел, им уже занимается Госкино СССР». В Госкино разыскать человека, обладающего полной информацией по этому вопросу, мне не удалось.

Что ж, будем надеяться на нью-йоркскую полицию...

Перед нами материал, написанный в современном стиле. Лет пять назад, случись такое, нам бы рассказали об ужасах жизни в капиталистическом аду: каждую минуту два убийства, двести ограблений, две тысячи изнасилований. Или – двадцать тысяч. Очень вероятно, наш политически грамотный репортер попытался бы заглянуть и поглубже. Возможно, он намекнул бы на причастность к этой истории ЦРУ и ФБР, а уж бывалый журналист, скажем, какой-нибудь Иона Андронов, помянул бы и израильскую разведку «Мосад».

Нынче – все ровно наоборот: у нас ни на «Мосфильме», ни в Госкино никто ничего не знает, газета «наших» эмигрантов даже не уверена, пришлют ли хоть какую-то копию взамен украденной, и если уж на кого надеяться, то на ихнюю, американскую полицию.

И все же эта прогрессивная заметка Ю.Гейко – «случай так называемого вранья» (как говорил Коровьев). Причем вранья, мне кажется, какого-то патологического, совершенно бессмысленного. Ну что изменилось бы, если бы Гейко рассказал правду!

Заметку в «НРС», которую упоминает Гейко, написал я, и она была опубликована в газете 23 сентября. Из этой заметки, а не из телепередачи, и почерпнул корреспондент свою информацию. Об угоне автомобиля и пропаже копии действительно говорили в теленовостях, но не в нью-йоркских. Правда, что Гаврилов должен был показывать свой фильм на Нью-Йоркском кинофестивале, но все вышеописанное произошло не в Нью-Йорке, а на противоположном берегу, в Сан-Франциско.

Абсолютно не могу взять в толк, для чего понадобилось это вранье.

Между прочим, я оказался неправ – новую копию с английскими субтитрами напечатать успели. Насколько я понимаю, благодаря стараниям Ролана Быкова, руководителя объединения «Юность», в котором «Исповедь» была сделана. 29 сентября журналисты смотрели скверного качества видеопленку, но 3 октября, в день публикации заметки Ю.Гейко, титрованная копия фильма была уже в Нью-Йорке.

Могут просто сказать, что Гейко – просто журналист, не киновед, и его писания – это сочинения дилетанта. Конечно. Однако совсем не редкость, что о кино, особенно зарубежном, о кинофестивалях пишут именно такие, как он, дилетанты.

Но давайте посмотрим, что и как пишут профессионалы.

То, что общий уровень киножурналистики серьезно изменился, – несомненно. И изменился он, по-моему, благодаря появлению новых имен, таких, как Ерохин, Тимофеевский, Матизен. Конечно, продолжают работать Майя Туровская, Лев Аннинский, Нея Зоркая. Все это так. Но, с другой стороны, так было и раньше – открываешь журнал и одну, а то и пару статей там находишь... Речь о другом: как выглядит остальное. В изве-

стном смысле уровень средних материалов характеризует состояние киноведения даже вернее, чем отдельные яркие публикации.

Вот передо мною ежегодник «Экран», подготовленный ВНИИ киноискусства и выпущенный издательством «Искусство» в прошлом году.

Случайно я начал читать этот сборник с конца, открыв его на статье И. Беленького об одном из любимейших моих режиссеров Бобе Фоссе.

«За четыре года, разделившие оба фильма («Нежная Чарити», 1968, и «Кабаре», 1972. – М.Л.) Фосс, помимо чисто экранного видения мира, обретенного им на съемках первой картины, получил, как и многие его современники, еще и социальную закалку. Да и как ее в ту пору было избежать, если что ни год, то массовые расстрелы, аресты, убийства? Они и стали фоном, на котором происходили съемки "Кабаре". [...] в "Кабаре" атмосфера напряженности, даже паники, тяжелым смогом повисшая над страной, сгустилась в виде двуединого ощущения-идеи – страха перед фашизмом, перед реальной готовностью (американского. – М.Л.) обывателя следовать нацистским социальным концепциям»<sup>4)</sup>.

Массовые расстрелы? Атмосфера паники? Готовность американского общества к фашизму? Неужели человек своей волей – кажется, сейчас никто не подталкивает – может писать подобную, простите, ахинею?

Надо сказать, я бы почувствовал себя значительно лучше, если бы узнал, что такие сочинения все еще предпочтительнее либеральных и автор цинично выдал и м то, что прошено.

Но если он действительно во что-то этакое верит? Жутковатый уровень сознания! По мне, такой человек пострашнее пресловутого Шеховцова, который, помните, подал в суд на Алеся Адамовича, оскорбившего память Сталина.

Кстати, прораб перестройки антисталинист Адамович – как раз директор этого самого ВНИИ киноискусства, подготовившего книгу «Экран-89». Вот он где, пожалуй, советский абсурд! За ним вовсе не нужно ездить в город Зеро.

Между прочим, в «Экране-89» имеется материал, дающий представление о взглядах самого Адамовича, – обширное интер-

вью, взятое у него журналистом Л.Павлючиком<sup>5</sup>). На это интервью стоит обратить внимание хотя бы потому, что Адамович в означенном ВНИИ не просто свадебный генерал, он полагает себя настоящим специалистом. «Руководжу ВНИИ киноискусства, – говорит он интервьюеру, – занимаюсь наукой о кино». В этих словах звучит директорская твердость, не правда ли?

«Войну на экране, в литературе, – говорит директор ВНИИ, – надо показывать войной, а не слезливой мелодрамой. Потому что никогда правда – даже жестокая – не была во вред людям, а на полуправде или лжи замешаны все трагедии человеческой истории. [...] И в этом смысле задача нашего фильма<sup>6</sup> была еще и в том, чтобы, показывая жестокость и насилие, обнажить их, развенчать на глазах у зрителей, разоблачить тех, кто несет страдание и боль в наш мир. Не все считают, что это может быть предметом и целью искусства...»

И дальше он призывает делать антифашистские фильмы, «вызывающие отвращение к персонажам и явлениям».

Неловко говорить, но, кажется, директору киноведов не случилось познакомиться с книжками всяких Аристотелей и Гегелей (Бог с ними, с остальными мелкими сочинителями), трактующими науку, называемую эстетикой. По его логике, степень правдивости определяется количеством крови и жестокости.

Что-то есть базаровское в механистичности и примитивных этих рассуждениях: единственный способ сказать правду о жестокости – быть жестоким по отношению к тем, к кому обращаешься; единственный правильный путь разговора о фашизме – возбуждать отвращение к явлению и к «персонажам».

Еще один – попутно – «теоретический» вопрос: называется ли благородная деятельность, целью которой является разоблачение и развенчание чего-либо, искусством? Я лично не убежден в этом.

Но, кроме теоретических, возникают и некоторые совершенно практические вопросы.

«Кто может поручиться, что полное отсутствие знания о таком зле не повернется беззащитностью, беспомощностью перед ним?» – прокламирует Адамович. И в другом месте: «На полуправде или лжи замешаны все трагедии человеческой истории».



Свою повесть «Каратели» Алесь Адамович закончил таким пассажем:

Из газет – осень 1982 года:

«Как сообщил корреспондент лондонской газеты "Таймс", утром 16 сентября на израильских военно-транспортных самолетах американского производства "Геркулес С-130" на взлетно-посадочную полосу №1 Бейрутского аэропорта с израильской базы Ансар был доставлен большой отряд командос, состоящий из профессиональных убийц. В тот же день началась кровавая расправа в лагерях палестинских беженцев.

Один из очевидцев рассказал корреспонденту "Таймс", что каратели ворвались утром в четверг на 30 автомашинах в лагерь Шатила. Вначале они действовали штыком и прикладом. Хватали женщин и детей, перерезали им горло. Затем начали стрелять по каждому палестинцу...»

«Уже достоверно известно, что самолеты "Геркулес С-130" доставили головорезов Шарона к месту событий для блокирования лагерей палестинских беженцев, после чего в них были угодливо впущены фалангистские банды Хаддады вкупе с наемниками из Западной Германии, Англии и молодчиками из Южной Африки»<sup>7)</sup>.

У Фридриха Ницше: «...на различных территориях земного шара и среди различных культур удается проявление того, что фактически представляет собой высший тип, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда были и всегда могут быть возможны».

Цитатка из Ницше обрамляет книгу Адамовича, этакое рондо. В начале речь идет о Гитлере, в конце о Шароне, и – цитатка там и тут..

Повесть «Каратели» вышла несколькими изданиями. В последний раз уже после того, как суд засвидетельствовал невиновность Шарона.

Напомню, что массовую бойню в палестинских лагерях учинили ливанские фалангисты (а не израильские командос, или «профессиональные убийцы», или «головорезы Шарона»). И на суде речь шла о возможном попустительстве им Шарона. Так

вот, суд решил: с точки зрения закона Ариэль Шарон не виновен. Может быть, это не снимает с него моральной ответственности – не знаю, не берусь судить, это дело совести генерала. Но Адамович толкует не о совести.

«Каратели» – книга о преступлениях нацистов. Еще шире – об озверении. В то самое время, когда Адамович за собственным письменным столом обдумывал «Карателей», «писатель-подпольщик» Солженицын работал над «Архипелагом». Я не хочу как-либо уязвить Адамовича. Тут все кристально ясно. Адамович замахнулся на обобщение, но не хватило духа. Хорошо. Это его дело. В таком случае, вероятно, он бы мог ограничиться рассказом о войне (хотя и здесь довольно сложно обойти некоторые вещи). Но в книге нашлось место и для страниц о Пол Потте, и для вот этого выпада против израильтян. И всё, ах, наверное, случайно, так удачно совпадало с представлениями начальства. Ровно так же «Хатынская повесть», экранизацией которой является лента «Иди и смотри», начинается с абзаца о лейтенанте Уильяме Кейли, напомним, американском офицере, повинном в расстреле гражданских жителей во Вьетнаме. Уильям Келли, правда, был осужден американским судом, и его история, прошедшая по страницам десятков тысяч газет, стала известна всему миру. И Адамовичу. А тысячи советских карателей в погонах и без, чьими историями не интересовались тогда ни газеты, ни нынешний директор ВНИИ, важно кивали, перелистывали книги Адамовича: Пол Пот, американские империалисты, израильские сионисты, да, да, конечно, вызывают отвращение у всего прогрессивного человечества. Как там у вас, Ницше, сверхчеловеки, гипербореи, хе-хе. Правильно, гипербореи.

Какое слово здесь уместнее, «полуправда» или «ложь», – вопрос, по-моему, чисто академический.

Генерал Шарон судился с журналом «Ньюсуик»; думаю, он без труда выиграл бы дело, подай он в суд на Адамовича. Но я не о том. Я об Адамовиче. Непросто верить человеку, которому случалось стряпать подобные блюда.

Да разве он хоть раскаялся в этом?

Вот он говорит с интервьюером, и опять, и опять, уже сейчас, те же навязшие в зубах фразы:

«Конечно, у западногерманской пропаганды сегодня предостаточно средств, чтобы загнать молодежь в бундесвер, возбудить ненависть к нам...»

Уже не понять, рассуждения ли это рядового киноведа И.Беленького или самого директора А.Адамовича. Довольно грустное однообразие.

### 3.

В канун 1988 года в Москве вышла книга стихов и прозы Андрея Вознесенского «Ров». Любопытствующие могли прочитать на страницах 18-21 новый опус поэта, посвященный Андрею Тарковскому. Составители сборника «Экран-89», вероятно, нашли это сочинение нуждающимся в дальнейшем распространении и перепечатали его целиком, включив в подборку материалов о покойном режиссере.

Странный вирус, неведомый доселе науке, обнаружил себя в нашем отечестве. Те, кого он зацепил, забывают вдруг прошлое. Причем не все подряд забывают, а так, выборочно, кое-что. Но одновременно пространство выпавших эпизодов занимают другие, героические. Заразившись, человек начинает вспоминать о своих подвигах, о коих почему-то раньше умалчивал, о героизме и собственной самоотверженности. И даже о самопожертвовании. То есть когда именно он сам жертвовал собой.

Например, литературный чиновник Аркадий Сахнин рассказал о том, как трудно было «Новому миру». Как он, Аркадий Сахнин, лично и вместе со всеми новомирцами, пробивал дорогу настоящей литературе.

«Смущает лишь одна маленькая подробность, – откомментировал статью Сахнина Владимир Лакшин. – Твардовский, лишенный любимого дела, умер, его “соредакторы”, как он нас неизменно величал, изгнанные из “Нового мира”, на многие годы были принуждены к молчанию, а Сахнин, вошедший в редколлегия с Косолаповым, стал “свято хранить и приумножать традиции Твардовского”, публикуя, в частности, мемуары Брежнева»<sup>8</sup>).

Кинорежиссер Александр Митта вдруг признался, что его фильм «Экипаж» – какое-то там иносказание о войне в Афгани-

стане. Конечно, истинный художник не мог промолчать и так сказанул во весь голос, что «Экипаж» бросились смотреть немислимые миллионы сограждан. Но, правда, ничего не поняли. И мне теперь стыдно своей непонятливости, утешает немного лишь то, что и сейчас героический режиссер не в силах объяснить нам смысл своего творения. Видно, такое зачерпнул, что словами не выразишь. «А почему огонь преследует людей? – восклицает он. – А дядьки в халатах? А горы? Горы-то кругом, ображаете?»<sup>9)</sup>

Совсем недавно бывший начальник советского кинематографа – то есть бывший председатель Госкино СССР – товарищ Ермаш поведал нам о теплых и доверительных дружеских отношениях, которые он годами поддерживал с Андреем Тарковским. Тарковского он, оказывается, глубоко уважал, помогал ему, и Тарковский ценил эту заботу<sup>10)</sup>.

Не так пространно – к сожалению, не часто приходилось сталкиваться, – но с нескрываемым почтением рассказал о своих встречах с Тарковским и заместитель Ермаша тов. Павлѐнок. Он тоже был поклонником таланта великого режиссера<sup>11)</sup>.

Множество интересных историй сообщил читателям в последнее время и Андрей Вознесенский. О том, например, что его стихотворение «Памяти Толстого», написанное в 1960 году в специальном толстовском выпуске «Литературы и жизни», посвящено вовсе не Толстому, а Борису Пастернаку. И если бы раскусили это тогда, плохо пришлось бы Андрею Андреевичу. Слава Богу, никому за прошедшие почти три десятилетия ничего подобного в голову не пришло. Но зато теперь не стыдно признаться в своем героизме.

Вообще-то случай Вознесенского представляется мне одним из самых тяжелых (я толкую о новом странном заболевании). Складывается впечатление, что поэт вообще не в состоянии адекватно реагировать на окружающую его действительность.

Интервьюер спрашивает у него о Лидии Корнеевне Чуковской. Он отвечает:

– В июне прошлого года, открывая Пастернаковские чтения, я предоставил слово Л.К.Чуковской. Это было ее первое публичное выступление за многие годы.

Чуковская не просто выступила – Вознесенский предоставил ей слово. Может быть, даже – рисковал?

У него спрашивают о Бродском:

– Я писал, что рад за него, теперь рад, что он печатается в «Новом мире» тиражом в сотни тысяч экземпляров. О моем отношении к его творчеству говорит тот факт, что давно еще, когда он не был лауреатом, я выступал на заседании американской Академии искусств и литературы, в поддержку его кандидатуры, когда он баллотировался в ее члены.

Мэтр похлопывает по плечу. Я рад за него. Я выступал. Теперь он даже печатается тиражами, какими печатаюсь я.

Но мы отвлеклись от кино.

В одной своей заметке<sup>12)</sup> я напоминал, но не грех будет напомнить и еще раз о том, как при очередной публикации эссе Вознесенского «Мне четырнадцать лет...» оттуда выпал абзац, посвященный Андрею Тарковскому. Тарковский остался на Западе, цензура, понятно, вычеркивала его имя отовсюду, но вопрос – почему Вознесенский согласился? Почему вообще не отказался печатать свой текст в таком виде?

Теперь про Тарковского можно и модно писать, и вот уже готово стихотворно-прозаическое сочинение «Белый свитер», украшающее «Экран-89».

Я не стану рассуждать о поэтических достоинствах этого сочинения. Оно состоит из глубокомысленных (и каких-то двусмысленных) построений, типа вот такого:

«Вся грязь и поэзия наших подворотен, угрюмость недетского детства, уличное геройство, вошедшее в кровь, выстраданность так называемой эпохи культа, отпечатавшись в сетчатке его, стала "Зеркалом" времени, мутным и непонятным для непосвященных. Это и сделало его великим кинорежиссером века»<sup>13)</sup>.

Но Вознесенский не был бы Вознесенским, если бы и в этом случае он забыл поставить мету – кто здесь главный. Если у вас, читатели, крепкие нервы и вы одолеете указанное сочинение, вы узнаете в подробностях историю, как однажды Вознесенский ни больше ни меньше спас жизнь Андрею Тарковскому, которого некий дядя для смеху поставил вратарем, а потом этот дядя (с

уголовным прошлым), лично Андрей Андреевич и андрейандреевич какой-то кореш принялись бить по воротам.

«Да вы же убьете его, суки!» – вдруг воскликнул (вероятно, мысленно) Андрей Андреевич.

Поскольку действующих лиц – согласно тексту Вознесенского – только трое, причем один из троих – сам Андрей Вознесенский, данное восклицание (мысленное) имеет скорее всего какой-то метафизический смысл. Но и дальше что-то происходит странное. Возможно, опять дает о себе знать та самая болезнь, безжалостно изуродовавшая память поэта.

«Да они (кто «они»? – М.Л.) и правда убьют его! Я переглянулся с корешем – тот понимает меня, и мы выбиваем мяч на проезжую часть переулка под грузовики. Мячик испускает дух».

Таким образом, рискуя рассердить страшного уголовника, Андрей Вознесенский спас жизнь будущего режиссера.

Я не настаиваю на том, что сочинение Андрея Вознесенского стоит рассматривать как характерный образец киноведения. Но вот сборник «Экран-89» оно определенным образом характеризует.

#### 4.

Нужно ли подводить итоги? Опять повторять, что многое изменилось? Что можно теперь говорить о том, о чем раньше говорить не позволялось? Этих ругать, тех хвалить. Использовать ненормативную лексику.

Можно, изменилось, и проч., и проч.

Труднее изменить тех, кто делает кино, использует ненормативную лексику, ругает и хвалит. И, похоже, этого-то как раз и не приходится ждать в ближайшем будущем.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1)</sup> Отвлекусь на секунду. Хочу заметить, что именно показав своего героя-наркомана на фоне поколения, органической частью поколения, добился замечательного успеха автор документального фильма «Исповедь. Хроника отчуждения» Георгий Гаврилов.

2) А.Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. М., «Художественная литература», 1989, с. 20.

3) Я не задавался целью написать развернутый обзор советской кинопродукции, да это и невозможно из Сан-Франциско, не живя в той атмосфере и, к тому же, не имея возможности увидеть вовремя то, что обещает быть интересным. К примеру, я читал сценарии новых работ Сергея Овчарова «Мякинный вихрь» (картина, снятая по этому сценарию, называется «Оно») и Василия Пичула «В городе Сочи темные ночи», но фильмов еще не видел. Не видел я и «Астенический синдром» Киры Муратовой, по отзывам из Москвы, фильм выдающийся.

Картины, о которых я рассуждаю, – это не фильмы 1989 года, это фильмы, показанные в Штатах в 1989 году, то есть образ кинематографического 1989 года.

4) Экран-89. М., «Искусство», 1989, с. 291-292.

5) Там же, с. 24.

6) «Иди и смотри», реж. Э.Климов, сценарий А.Адамовича.

7) А.Адамович. Хатынская повесть. Каратели. М., «Советский писатель», 1984, с. 414.

8) Статья А.Сахнина «Не бросаться словами» и статья В.Лакшина «На трибуне и дома» помещены рядом, на одной полосе, в газете «Московские новости», 1988, №17.

9) «Советская культура», 16 апреля 1988.

10) Ф.Ермаш. Он был художник. – «Советская культура», 9, 12 сентября 1989.

11) В.Павленок. Только работа... – «Искусство кино», 1988, №8, с. 69-71.

12) «Новое русское слово», 22 апреля 1989.

13) Экран-89. М., «Искусство», 1989, с. 81.

## ПАМЯТИ ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА



Скончался Венедикт Ерофеев, удивительный человек, уникальный, ни на кого не похожий писатель, породивший массу подражателей, но сам так и оставшийся неподражаемым.

Для читателей он всегда будет Веничкой — причудливой смесью реального автора и героя-рассказчика «Москвы — Петушков», этой во всех смыслах упоительной поэмы русско-советской середины века. Но создавшаяся вокруг него легендой не исчерпывается ни человек, ни писатель.

То немногое, что еще было опубликовано из произведений Венедикта Ерофеева, вызывает жгучую надежду на то, что его литературное наследие нам еще предстоит открыть. Он испытывал себя в разных жанрах: философского эссе, драматургии, политического памфлета. Может быть, отыщется наконец пропавшая рукопись его романа.

Последние годы его жизни были годами сотрудничества с «Континентом» — затем лишь последовало его «открытие» печатью в СССР, все еще неполное: опубликованная у нас «Маленькая лениниана» (уже переведенная на несколько языков) на родине писателя перепечатывалась только в независимой прессе.

Во время своего недавнего пребывания в Москве главный редактор «Континента» повидался с Венедиктом Ерофеевым, находившимся уже на пороге смерти, получил текст интервью, которое было взято у писателя для «Континента». Мы опубликуем его в следующем номере журнала. Но как горько: мы надеялись, что оно будет напечатано при жизни автора...

«КОНТИНЕНТ»



# ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

## К 90-летию со дня рождения Андрея Платонова

Николай Т ю л ь п и н о в

### ДУША ПРОЗЫ

*ОТ АВТОРА. Эта статья написана в семидесятых годах, когда в СССР еще не были опубликованы главные произведения Платонова: «Чевенгур», «Котлован» и «Ювенильное море». Поскольку она готовилась для одного из советских журналов (но не была напечатана), в ней, естественно, не могли рассматриваться эти произведения.*

Лет десять или пятнадцать назад произошло открытие писателя, которого мир уже давно знает. То было второе, посмертное открытие. Этот писатель – Андрей Платонов.

Случилось нечто удивительное: имя Платонова как бы из пепла, из праха возродилось, из небытия. Оно выросло неожиданно тогда, когда должно было, казалось бы, окончательно угаснуть. Никто о нем уже почти не помнил. Он умер в 1951 году, и лишь семь лет спустя после его смерти вышла небольшая книжка рассказов в «Воениздате». Это была та искра, которая должна была тут же немедленно погаснуть на сильном ветру жизни. Но вдруг она вспыхнула.

Книгу заметили. Имя Платонова, словно магнит, притянуло к себе внимание. И тут увидели то, чего не видели раньше. Какая в нем оказалась глубина, какая сила! Читательский мир был буквально ошеломлен. О Платонове заговорили!.. Миру увидел Платонова! Что же это за писатель? В чем, если на этот вопрос возможно ответить, секрет того забвения, которому преданы были его произведения при его жизни, и того успеха, каким они пользуются сейчас.

Если попытаться взглядом обежать по канве его жизни, то никакого ответа на этот вопрос мы не найдем. Его жизнь, его творческая судьба мало что объяснит, а в произведениях, создан-

ных им, в которых, на первый взгляд, так много примет личной биографии писателя, тем не менее, собственная его судьба никак не отразилась. Родился Андрей Платонов (настоящая его фамилия Андрей Платонович Клементов) на сто лет позже Пушкина – в 1899 году, в рабочей семье, в рабочей слободе под Воронежем. И в произведениях его мы найдем названия реальных воронежских деревень и мест. В повестях и рассказах его действуют герои из той среды, в которой сам он прожил большую часть жизни. Это рабочие, машинисты паровозов, учителя. Сам Платонов, став инженером, в двадцатые годы строил маленькие электростанции, водоемы для орошения... А в конце двадцатых годов, выпустив первую книгу прозы, Андрей Платонов не только заявил о себе как о писателе, но и выделил себя из среды своих современников. В нее вошла великолепная и глубокая повесть из истории петровских времен о британском инженере Бертроне Перри – «Епифанские шлюзы». В нее вошла остросатирическая, пронизанная убийственным сарказмом повесть «Город Градов». В нее вошла и повесть «Сокровенный человек», редкая по глубине проникновения и потрясающая по силе воздействия.

В конце тех же двадцатых годов и на протяжении тридцатых Платонов в разное время, с разными промежутками и в различных изданиях опубликовал немало вещей, которые затем, после его смерти, лишь переиздавались. Напечатана была повесть «Происхождение мастера». Появились такие великолепные рассказы, как «Река Потудань», «Третий сын», «Фро», «В прекрасном и яростном мире», «Семен» и т.д. и т.п. В годы войны Платонов выпустил пять сборников рассказов. Если назвать то, что печаталось при жизни Платонова, пришлось бы назвать все, что вышло и спустя 15 лет после его смерти.

Конечно, одно дело, когда Платонов печатался разрозненно, с большими интервалами, на протяжении длительного времени, другое – когда лучшие его вещи были собраны под одну обложку и в короткое время, сборник за сборником, вышло всё или почти всё, что публиковалось разрозненно, случайно и бессистемно. Так он, конечно, больше обращает на себя внимание. Так он еще видней. Но факт все-таки остается фактом: Платонов был, а время его не заметило. Не заметило так, как заметило наше время.

Сейчас Платонова издают большими тиражами. Он печатается и переводится за рубежом. О том, насколько доступен он в переводе, – можно сочинять трактаты. Пришло подлинное признание, мировое признание. Что же, миру недоступны были прежде его рассказы и повести, которые увидели свет при его жизни? Нет, причина причин в существовании творчества Платонова.

Душа прозы – мысль, пульс прозы – ее ритм, плоть прозы – ее слово, дыхание прозы – ее настроение. Род платоновской прозы – совершенно особенный и исключительный. Она настолько выходит из привычных представлений наших о прозе, что пытаться рассматривать ее в контексте общего литературного развития или течения представляется почти невозможным. Она необычна в самом своем существовании, в самой основе. Платонов ни на кого не похож. Но таким и должен быть писатель. Чтение ее – тоже не совсем привычное чтение, когда мы в силу природы литературы должны следить за действием, за тем, что там происходит или должно произойти. Чтение Платонова – это, скорее, движение не по линии сюжета, а созерцание подробностей, деталей, малозначащих, на первый взгляд, штрихов. Это созерцание жизни слова, фразы, мысли. Каждый платоновский рассказ или повесть – в строго традиционном смысле не рассказ или повесть. Но вместе с тем Платонов соединил в себе то, что должен соединять в себе прозаик: дар поэта и дар философа. Да, безусловно, Платонов – не только блистательный прозаик, но и не менее блистательный поэт и философ.

Когда берешь в руки книгу Платонова, всегда готовишься что-то записать и запомнить: так хочется запомнить поразивший воображение вид природы, цветок, дерево. Потому что ты знаешь, что то, что ты там увидел, никогда и нигде не увидишь, что это существует в единственном числе, что это, как в жизни, неповторимо. В «прекрасном и яростном мире» Платонова нельзя быть невнимательным, нельзя быть рассеянным или поверхностным. Нельзя не только потому, что это было бы кощунственным по отношению к созерцаемому нами миру, а еще и потому, что сам этот мир не позволит поверхностного взгляда. Здесь ничего нельзя пропустить, здесь ничто не существует просто так, случайно.

Платонов пробуждает скрытую и затаенную в нас самих свежесть восприятия, не осознанную нами. Читая его, мы открываем не в нем, не в Платонове, а в самих себе способность поражаться, способность, которой наделены от природы все, но забыли. Он открывает нам самих себя. Его способность видеть мир иначе, чем все мы его видим, для нас несомненна. Но оказывается, что и мы можем взглянуть на мир иначе, а не так, как обычно привыкли смотреть! Это, наверное, самое главное достоинство Платонова, и немногие обладают такой силой воздействия.

Я так и не берусь сказать, правда или вымысел то, что произошло с героем рассказа «В прекрасном и яростном мире» машинистом Мальцевым: Мальцев ослеп от мгновенного удара молнии. Причем даже не от удара молнии, а от опередившей ее электромагнитной волны. Любопытно, что Мальцев самой молнии не видел, хотя все, кто находился в кабине паровоза, видели ее вспышку, но грома не слышали. «Гром мы проехали, – объяснил кочегар, – гром всегда после бьет. Пока он ударил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слышали – они сзади...»

Не знаю, бывает ли так в жизни, может ли быть, но объяснение кочегара, а заодно и автора, не вызывает недоверия: оно сильно и убедительно и наводит на мысль о том, что познания Платонова в физике, его догадки о действующих в ней законах были чрезвычайно высоки. Значит, можно подозревать, что познания писателя о природе вещей сродни по духу и силе познанию ученого. И это, разумеется, относится не только к Платонову.

Излагать рассказы Платонова – дело не то чтобы трудное, а попросту невозможное и бессмысленное. В изложении ничего не удастся передать. Все останется за пределами изложения. Это приблизительно то же самое, что пытаться пересказывать музыку. Но чувство, которое вызывают его рассказы, попробовать передать можно. С той или иной долей риска.

Временами у Платонова до того потрясающе, до того густо написано, что даже читать становится невозможно. Ты продираешься сквозь текст медленно, словно сквозь чашу, да притом как будто несешь на себе тяжкий и неудобный груз. Он становит-

ся порой невыносим. Его хочется отбросить прочь и не прикасаться, сознавая, что это гениально, что это, быть может, недоступно никакому читателю, что это, может быть, вообще не для читателя. Может, это только для одного человека на свете – для Платонова. Как это ни парадоксально, каким грубым вымыслом это ни кажется (а это – сущий вымысел!) – тем не менее, это так: Платонов писал для себя, а мы стали читателями лишь постольку-поскольку, лишь потому, что это оказалось в наших руках, т.е. по чистой случайности.

Чтение Платонова – это работа, к которой не всякий готов.

Прекрасно, великолепно, изумительно косноязычие Платонова. Он пишет так, как не только не может писать литератор, но и не говорят в устной речи. Его язык неестественен. Он кажется совершенно убогим, нарочитым, изломанным. Выбрать пример косноязычия Платонова и убожества его языка проще простого. Возьмем для этого любую фразу из любого рассказа. Разложим ее, попробуем разобраться, по каким законам она составлена, какое слово и для чего в ней служит, и... ничего не поймем.

Я открыл повесть «Джан» на первом попавшемся месте и ужаснулся нелепости фразы, которая бросилась мне сразу в глаза: «Чагатаев почувствовал боль от своей печали: его народу нужно забвение, пока ветер не остудит и не расточит постепенно его тело в пространстве».

Что здесь к чему? Чье тело может расточить ветер, Чагатаева или народа? И разве есть тело у народа?! Что это?! Это же элементарно неграмотная фраза! Так нельзя писать, и любой сколько-нибудь добросовестный редактор подчеркнет эту фразу, поставит на полях против нее жирный вопросительный знак. Нужно писать, скажет он, проще! И удивительнее всего, что на такого редактора трудно будет обидеться. Разумеется, его надо будет простить и пожалеть!

Мы любимся красотой платоновского стиля, удивляемся необычности его фразы, оттенкам, которые благодаря неправильности ее в ней открываются.

Но если неестественен язык, каким Платонов писал, то надо подумать и о том, откуда могла произойти эта неестественность. Значит, в том, о чем он писал, была своя перво-

родная неестественность. А идя дальше, мы должны будем в конце концов достигнуть мысли о том, что неестественна прежде всего сама жизнь. И никакой крамолы в таком утверждении нет, поскольку все, что правильно и гладко, – бесцветно и безжизненно. В изломе ветки нет и не может быть правильности. Жизнь в своем многообразии составляется из множества неправильностей.

Платонов знает природу слова: что происхождение его таинственно. Он знает, что оно свободно в своем существе и что оно само по себе – олицетворение свободы. Малейшее насилие над ним, и оно обескровливается, непостижимым образом жизнь улетучивается из него, и оно уже ничего не выражает. Оно становится немо и неподвижно.

Свобода и слово – нераздельны. Но свобода в данном случае – совсем иное понятие, нежели то, с чем привыкли мы его связывать. Писатель – тот, кто не боится собственной свободы.

Платонов свободен в выборе слова. Платонов волен нарушать его законы, и благодаря этому он создает собственный стиль. Для литератора, который боится свободы, литературный труд перестает быть тем, чем он должен быть, т.е. творчеством.

Надо быть предельно честным с самим собой, надо смотреть себе прямо в душу, надо быть бесстрашным, чтобы писать жизнь такой, какой ты ее видишь и представляешь.

Свобода писателя – это прежде всего свобода от собственного страха. Это свобода от колебаний и сомнений. Так можно писать или нельзя – вопроса для писателя не существует.

Многие, очень многие страшатся свободы выражения, и потому их творчество неподлинно. Происходит подмена творчества литературной «мастеровитостью». Чувство меры должно постоянно изменять писателю, а вернее, оно должно отсутствовать, отсутствовать напрочь. Ничто не должно сдерживать силы фантазии, ее полета, ничто не должно сковывать ее движения. Ограничить ее в выборе слова, в средствах выражения или в чем-либо еще – значит погубить ее и таким образом сделать и процесс и цель творчества бессмысленными и бесполезными. Отсутствие или нарушение писателем свободы есть логическое следствие нечестного отношения его к своему труду, к самому себе. Это – разрушение его как личности, его духовная смерть.

Воля его не может соподчиняться внешнему побуждению. Она подчиняется только побуждению совести и сознанию, которому неведомы никакие причины, кроме причин высших. И тогда писатель перестает быть самостоятельным. Он становится (все-го лишь) посредником в процессе творчества: пишет не он сам, а исполняет волю того, в чьи руки он в момент творчества отдает себя. Он записывает то, что диктуется, внушается ему...

Каждый писатель помимо своей воли боится себя, собственной свободы, боится того, что он может и на что способен, и в той или иной мере он подавляет свою свободу. Платонов в этом смысле редкое исключение. Стил, каким писал Платонов, нельзя выработать. Он не поддается обработке, оттачиванию, искусственному возделыванию. Платонов нарушает всяческие правила, и получается прекрасно. Он нарушает всяческие законы формы, но это идет не во вред, а на пользу повествованию. Оно от этого только глубже и осмысленней, чем при какой бы то ни было правильности. Он не стремится найти ритм повествования – ритм сам, помимо воли автора, зарождается в стихии его прозы. О композиции он тоже не заботится. Никакого плавного, постепенного вхождения в материал. Он сразу забирается в глубину и ведет рассказ на одном, но предельном накале. Композиция, построение рассказов в большинстве своем у Платонова не выдерживают никакой критики. Отличное тому подтверждение «Семен» – один из лучших рассказов Платонова. Если разложить его сюжет, если попытаться взглянуть критически на его составляющие, то окажется, что трагическое событие, смерть матери в большом рабочем семействе, окружено ходульными, неестественными и в высшей степени надуманными эпизодами. Чего стоит одна лишь сцена переодевания мальчика в женскую одежду, в одежду умершей своей матери! Он делает это для того, чтобы быть похожим на мать, он хочет заменить ее в семье. Кажется, трудно придумать ситуацию более нежизненную и неправдоподобную, но мы ни разу на протяжении всего повествования не усомнимся в достоверности всего, что в рассказе происходит. Об этой семье сказано, что отец и мать «были люди добрые, поэтому мать постоянно рожала детей». Но это была бедная семья, у них не хватало хлеба, и каждый новый ребенок

был «лишний рот». Потрясает трагизмом, чудовищной правдой сцена, когда маленький четырехлетний мальчик, оставшись один с «еще более маленькими, чем он», братом и сестрой, вытаскивает сестру из тележки, пытается задушить ее в курятнике. «У, гадина такая, ты зачем рожалась!» – говорит он.

Слезы подступают к горлу, дышать становится трудно, когда читаешь эти строки. Это страшно, потому что мы и не подозреваем о том, до какой степени может поражать людей в годы бедствий болезнь вражды и ненависти, так что она перекидывается даже и на тех, кого мы в нашем представлении считаем олицетворением невинности и чистоты, – детей.

Практически сюжета в «Семене» нет. Нет и развития действия, так же как нет и характеров: они кажутся статичными, и, тем не менее, несмотря на это, вернее, даже вопреки этому, русло рассказа раздвигается, оно оказывается заполненным движущейся энергией какой-то загадочной, удивительной силы!

То, что у других запрячется, скрывается тщательнейшим образом в подтекст, – у Андрея Платонова на самом видном месте. То, к чему в произведениях любого писателя нужно пробираться и идти через все повествование и нужно поработать читательской душой ради того, чтобы извлечь из глубин, из недр прозаической массы, у Платонова – на первых же страницах, зачастую в первых же строчках. Он очень неэкономен, не похозяйски расточителен с точки зрения разумного рассудительного литератора, а с другой точки зрения, он щедр, и тот заряд эмоций, тот сгусток мыслей, ту энергию, которых иному литератору хватило бы, скажем, на повесть или даже на роман, – Платонов вкладывает в один абзац и не жалеет об этом. И он добирается до таких глубин человеческой души, до которых не всякий, даже очень проницательный литератор достанет взглядом.

Порой повествование его становится мрачно и черно настолько, что мы, кажется, ощущаем смрад тления. Рисуемые им картины физиологичны, а нередко отталкивающие. Так, в рассказе «Семен» бабка Капишка подвязывает тесемкой рот, когда спит, чтобы в него не заползали мухи. Он касается таких скрытых от обычного взгляда сторон души, от которых с отвращением отвернулся бы другой писатель. Он обращает свой взгляд



к таким неожиданным и мрачным сторонам человеческой психики, к таким ее проявлениям, что мы склонны ее, психику, считать не проявлением характера, а скорее проявлением инстинкта, низменного и чудовищного инстинкта. Часто страницы его произведений населяют уже почти не люди: это уже какие-то полупещерные существа, на телах которых начинает появляться «защитная растительность». Но удивительное и странное дело – не оставляет платоновская проза ощущения тяжести и мрака, а наоборот, как бы ни были черны его страницы, всегда читатель ощущает в них присутствие надежды и света. Во всей платоновской прозе я не знаю ни одного персонажа, ни одного героя, к которому не было бы со стороны автора сострадания или участия или к которому он был бы просто равнодушен! Даже тем полупещерным существам сострадает Платонов. Он сострадает растениям, ветру, земле, животным и насекомым, предметам, всему, что окружает человека, неживой, неодушевленной природе. И вот уже нет больше неживой природы, нет больше природы неодушевленной – она вся у него одушевлена, вся живет, вся наделена способностью мучиться и страдать, способностью чувствовать и жить.

Душой платоновской прозы становится бесконечное добро. Мир у него замкнут воедино. Он, Платонов, дарует жизнь созданному усилием своего воображения миру. Если он и смеется, даже если смеется, казалось бы, совсем беспощадно, то смеется он не над людьми. Он жалеет людей. Он сострадает им, и в его смехе – скорбь сожаления и муки, которые сам же он готов разделить и делит с теми, кого создали мудрая фантазия его ума и любовь доброго сердца.

Это загадочный талант. Это таинственный дар.

Он свободен в своих писаниях, этот Платонов. О чем ему хочется, о том и говорит. Как хочется, так и пишет. Он ни на кого не оглядывается и, кажется, ни о ком и ни о чем не думает. Будет ли это понятно кому-либо, будет ли интересно, красиво это или безобразно. Выйдет ли из этого что-нибудь хоть сколько-нибудь доступное или нечто настолько невразумительное, что воспитанный на традиционной реалистической литературе читатель сочтет это бредом. И за этим не заметит главного – неповторимого своеобразия его стиля, глубины его мыслей и чувства.

Чувство меры Платонову изменяет, вернее, оно у него начисто отсутствует. Порой даже боязно становится за него. Кажется, еще малость, и то, что он напишет, будет действительно похоже на бред. Но и эту малость он переступает, и еще дальше переступает. И это уже точно похоже на бред. Фантазия заигрывает его. И дело уже не в словах и не в средствах выражения, не в средствах изобразительности, не в том, как можно или нельзя писать, а в том, что он стремится, что пытается изобразить этими, уже невозможными средствами: в действии, в поступках героев, в логике, а в данном случае лучше сказать, в отсутствии логики их характеров, ибо многие его произведения – это сплошное нагромождение сумбурных, кажется, ни для кого и ни для чего не нужных поступков героев, поступков, странных с точки зрения здравого смысла и ничем не мотивированных с точки зрения законов художественного творчества.

Именно таким бредом можно было бы считать рассказ «Мусорный ветер» – рассказ, в котором речь идет о фашизме, о том, что наше нормальное человеческое сознание отказывается понимать.

Платонов говорит о самой сущности этого явления! Этот рассказ, между прочим, написан в самом начале тридцатых годов, когда из глубины Европы, из Германии еще только потянуло гарью. И мы вправе говорить о пророческом даре прозы Платонова, о том, что она наделена способностью проникать в глубь зарождающегося явления. И указать его истоки! А это – высший дар литературы и высочайшее ее предназначение. Собственно, то предназначение, которое она далеко не всегда знает, и в этом ее благо! Да, я не оговорился: благо то, что она не знает своего предназначения! Благо то, что она не осознает своего главного дара – дара предвидения! Это позволяет ей сохранить в себе душу...

Я никак не могу понять, почему к Платонову, к его прозе до сих пор никто не обратился из кинематографистов. Почему никто серьезно не обратился. Попытки делались. Но то были всего-навсего попытки. И сам Платонов в свое время пытался писать киносценарии. Но, во-первых, техника кино тогда была не на том уровне, на каком она находится сейчас, а во-вторых, и

сам Платонов, надо думать, при всей серьезности, с какой он брался за всякое дело, не относился к этому занятию серьезно.

Проза Платонова потрясающе кинематографична, хотя (и в этом надо отдавать себе отчет!) безумно трудна для кинематографа – тут нужен дар не меньший, чем у Платонова! Возьмите «Джан», прочтите эту повесть так, как будто вы видите перед собой экран, – и вы увидите великолепный, сильнейший фильм, созданный воображением писателя и вашим, да, вашим собственным читательским воображением. Этот материал достоин самых больших, мировых мастеров кино.

Посмотрите, как красиво и ярко выписана встреча Чагатаева, героя этой повести, с детством. Он, Чагатаев, о котором в начале повести Платонов сообщает, что этот молодой нерусский человек долго учился в Москве и после многолетнего отсутствия возвратился в свой край. Спокойно, неторопливо и подробно описывает Платонов его встречу со своей забытой уже землей: «В одну ночь поезд остановился в темной степи. Чагатаев вышел в тамбур вагона. Было тихо, вдали сипел паровоз, пассажиры спали в покое. Вдруг в степной темноте вскрикнула одна птичка, ее что-то напугало. Чагатаев вспомнил этот голос через многие годы, как будто его детство прокричало из безмолвной тьмы. Он прислушался: еще какая-то птица что-то быстро проговорила и умолкла, он тоже помнил ее голос, но сейчас забыл ее имя: может быть, пустынная славка, может быть, пустельга. Чагатаев вышел из вагона. Невдалеке он заметил кустарник и, дойдя до него, взял его за ветвь и сказал ему: "Здравствуй, куян-суюк!" Куян-суюк слегка пошевелился от прикосновения человека и опять остался как был – равнодушный и спящий».

Это прекрасная картина!

Я задумываюсь над тем, что же в этой сцене особенного и почему она так трогает меня, как будто не он, Чагатаев, встречается со своим детством, а я, наблюдающий за ним со стороны читатель, вместо него прикасаюсь к кусту неведомого мне куян-суюка, вслушиваясь в голоса птиц. Ничего особенного – все просто и обычно. Но потом вспоминаю, что я тоже помню из своего детства птиц по голосам, птиц, имена которых я тоже уже

забыл. Мне в моем воображении слышится шорох спящих трав и прикосновение ветвей других кустарников, в других краях!

Вся эта повесть зрима. Каждая ее страница, каждый ее эпизод – кинокадр, очень точно отснятый и запечатленный. Платонов здесь живописует не словом, вернее, не только словом, – каким-то исключительным, ему одному присущим и известным средством он оживляет картину, делает ее зримой, наполняет ее особым дыханием.

Опять-таки я не знаю, на самом ли деле существует то, что описывает Платонов, или же все это он придумал. Не знаю, есть ли куян-суюк, есть ли птицы, голоса которых вспоминал Чагатаев, есть ли, наконец, тот народ джан, немногочисленный и исчезающий с лица земли. Но и это не важно. Все это существует для Чагатаева, существует и для Платонова, а значит, посредством его прозы утверждено и в жизни.

«Джан – это означает душу или милую жизнь, – говорит его герой. – У народа ничего не было, кроме души и милой жизни, которую ему дали матери-женщины, потому что они родили его». Этот маленький народ потерялся в пустыне. Он находится между силами жизни и силами смерти. В тех же горячих песках, где кочует этот народ, бродит забывшее своего пастыря стадо. Овцы отвыкли от человека. Но они не одичали. Наоборот: они соскучились по нему. Они истосковались по нему. Им нужен Добрый Пастырь! И сцена, которую нам предлагает Платонов, поражает глубиной правды и трагичностью смысла. Почему-то именно эту сцену я легче всего представляю в движении, на экране, в кино. Чагатаев долго бежал по овечьей дороге. Он искал это стадо.

«От усталости и горя Чагатаев потерял память на ходу – он заснул, упал и не мог подняться. Он спал глубоко, один в пустыне, в бедной тишине, где нечему шевелиться. Черные стебли, как сироты, стояли вокруг спящего, точно жалея, что он встанет и уйдет, а им придется быть здесь опять одним.

На рассвете Чагатаев открыл глаза, его сознание чуть зашевелилось и опять погасло, он снова заснул, чувствуя тепло и забвение. Даже овцы лежали по бокам Чагатаева и согревали его своим теплом. Другие овцы стояли вокруг в ожидании, когда

человек поднимет лицо. Их было голов сорок, они давно со-  
сгучились по пастуху и теперь нашли его. Старый баран время  
от времени подходил к лежащему Чагатаеву и осторожно лизал  
его шею и волосы на затылке. Баран поворачивался туловищем  
во все стороны, желая увидеть собаку пастуха, но ее не было. Он  
устал водить овец, мирить их на водопое, сторожить по ночам от  
одинокого зверя – он помнил доброе прежнее время, когда пастух  
и его собаки сами управлялись со всеми заботами».

Эта сцена должна быть центром фильма. В ней весь смысл,  
вся энергия добра и любви. Да ведь изобразить на экране, как  
заснувший в пустыне человек просыпается и по бокам его, со-  
гревая его своим теплом, лежат две овцы, истосковавшиеся по  
пастуху, – это значит достигнуть высшей точки в кинемато-  
графии, это значит достигнуть того, к чему, вероятно, стреми-  
лось все мировое киноискусство! Хорошо, конечно, прекрасно,  
что она существует в литературе, в книге, но изобразить ее, эту  
сцену в кино, на экране – было бы уже событием, равного кото-  
рому не было в мире!

В этой повести есть одновременно что-то мифическое и  
вместе с тем удивительно жизненное! Она достоверна, правдива,  
убедительна, а ко всему прочему на редкость поэтична!

Там дальше появятся мифические птицы (это орлы!). Падая  
с небес, они будут нападать на Чагатаева. По силе воздействия  
эта сцена равна той, что была прежде с овцами. По смыслу – она  
прямо противоположна ей. Уже не мир и согласие между челове-  
ком и природой, а непримиримая вражда. Орлы в этом эпизоде –  
олицетворение сил зла. Более могущественного символа для  
этого нельзя было найти.

Схватка с птицами оставляет в душе ощущение ужаса. Пока  
падают птицы с неба, мы успеем рассмотреть и белую чистую  
грудь, и серые расчетливо-ясные глаза, почувствуем ветер в  
лицо, а затем, после того, как Назар Чагатаев выстрелит в птицу  
из револьвера, заметим, что в белом ее пуху, задуваемом скоро-  
стью полета, появилось темное пятно. Но этим не кончится  
схватка! Она продлится еще некоторое время. А затем, через  
несколько кадров, повторится вновь. Птицы будут рвать Ча-  
гатаева клювом – и это будут самые страшные, самые жуткие  
кадры!

Я убежден, что фильм «Джан» будет прекрасен. Только где найти таких актеров, которые смогли бы сыграть Чагатаева и девочку Ай-Дым, старую женщину, мать Чагатаева и вероломного Нур-Мухаммеда? Где найти средства, с помощью которых можно было бы выразить языком кино все эти восточные картины, которые с таким блеском описал Платонов?! Как снять этих мифических птиц?! Но как же все-таки хочется, чтобы фильм этот был!

Нет, я, конечно же, понимаю и сознаю, что не все, далеко не все, написанное Платоновым, кинематографично. Я знаю, что в большинстве своем она, его проза, кинематографу совсем не по зубам. Но есть у Платонова вещи, в которых, кажется, режиссеру уже просто нечего делать – только снимать. Там, кажется, можно уже обойтись и без режиссера, с помощью одного лишь оператора и камеры.

Все дело в том, что Платонов может показать такую картину, какую читатель с его обычным зрением сам не в состоянии увидеть. Он может показать то, что происходит не на поверхности, не явно, а тайно, в душе. Не то, какое движение сделал его герой, не то, скажем, что он, будучи «не одарен чувствительностью», на гробе жены резал колбасу, а то, что происходило в этот момент в его душе. Он видит существо в движении и жесте. Например, человек, которому выстрелили в голову, у него не просто погибает, а «отворачивается лицом вниз от всех».

То, что у других скрыто, – у Платонова обнажено. И, таким образом, у него оказывается зримым незримое: сущность, т.е. происходящие в душе явления.

Своеобразие видения мира у Платонова ни с чем не сравнимо.

У платоновских героев всегда что-то горит в душе. Какой-то огонь. Он сжигает их. Они мучаются этим горением, страдают, тоскуют, ищут утешения.

Платонов не вмешивается в их поступки, своим героям он позволяет жить, и действовать, и думать так, как им хочется, не нарушая их свободы, не навязывая ничего, никаких законов и установлений. Алогичность их поступков нередко ставит читателя в тупик, приводит в недоумение, но читатель понимает, что в непоследовательности, в немотивированности, в логиче-

ской неподготовленности их действий есть своя закономерность, стихийная. Платонов – это стихия. Но стихия жизненная. Нелогичность и непоследовательность их поступков диктуется непоследовательностью и нелогичностью жизненной. Жизнь – хаос, но хаос, в котором, по мысли Достоевского, есть свой порядок, своя гармония.

Мы уже говорили, что психологически ни один из поступков героев Платонова предусмотреть, равно как и предугадать, нельзя. Его герои движимы каким-то скрытым (в жизни далеко не всегда заметным, почти непроявленным) инстинктом. Мы знаем, что в наших мыслях и в наших поступках много такого, что надо постоянно обуздывать, постоянно держать под контролем, чтобы не выглядеть чудаком, чтобы не выглядеть теми, кем являются герои Платонова. Так вот, герои Платонова – те, кто свободен в своей первозданной стихии, от природы, от рождения. Они естественны, хотя и их естественность кажется в высшей степени странной. Они, может быть, более естественны, чем нам кажется, и уж во всяком случае более естественны, нежели мы.

Вслед за утверждением о том, что понятия свобода и слово нераздельны, теперь мы можем утверждать уже другое: любовь и свобода – понятия нераздельные, и сама по себе любовь – это олицетворение любви, и там, где есть любовь, там есть и свобода, а где любви нет, там нет и не может быть свободы, потому что любовь – это свободное произволение чувства, свободное от всякой нечистоты. Любовь не может быть насильственной.

.....

Я попробовал написать о Платонове. Но получилось не о нем. Получилось о ком угодно, но только не о Платонове. И очень возможно, что о Платонове написать нельзя – все равно это будет не о нем. О себе он написал все сам.

Если вообразить русскую литературу в виде древа, на котором произрастают плоды одного рода, то ветви, которая по древу должна быть названа именем Платонова, мы здесь не найдем. У него как будто нет никаких корней. Он настолько своеобразен, настолько ни на кого не похож, что, кажется, существует сам по

себе. Ему нет в ней места, и рассматривать его творчество в течении общего литературного процесса не представляется возможным. То, что подходит для других, – к Платонову неприменимо. Порой кажется, что это уже какой-то новый вид литературы.

Платонов вне традиций. Если на примере творчества других русских писателей XX века легко проследить влияние всей русской классики – от Пушкина до Толстого и Достоевского, – то о Платонове можно сказать, что от классики он ничего не унаследовал. Кажется, никаких предшественников у Платонова не было, и, тем не менее, это только видимость: он возрос на благодатной почве русской действительности, творчество его не инородная ветвь, а прямо исходит от корня древа русской классики.

Читать Платонова – наслаждение.

Мы наслаждаемся плотью его прозы, как массой зрелого плода.

Платонов трудно жил. Об этом обычно говорят, когда пишут о его жизни и творчестве. Ему сочувствуют, и это вполне понятно, ибо мало кому из писателей жилось так трудно, как ему. Об этом мы знаем теперь все. Но есть в нашем сочувствии к давно умершему писателю и нечто лицемерное. Нам представляется, что, живи он в наше время или мы с вами живи в его время, – мы поступали бы иначе: мы берегли бы его от нападков и травли, оказались бы, одним словом, более благодарными, более признательными, более внимательными его современниками...



Андрей Николаев

## СТИХОТВОРЕНИЯ

*Публикация и предисловие Глеба Морева (Ленинград)*

При жизни Андрея Николаевича Егунова (1895-1968), с 1928 года писавшего под псевдонимом «Андрей Николаев» (по словам самого Егунова, указывающим на один из истоков его поэтики – стихотворную сатиру XVIII века), его стихи были опубликованы лишь единожды – в составленном Б. Филипповым сборнике «Советская потаенная музыка» (Мюнхен, 1961). Думается, это огаревское определение, модифицированное Б. Филипповым, точнее всего указывает как на характер творчества Николаева, так и на его место в том процессе, который применительно к большей части жизни Егунова весьма условно можно назвать литературным.

Судьба Егунова (как и судьба его ровесника Бахтина) типична для представителей последнего поколения петербургских гуманитариев: Тенишевское училище, прерванная в начале 20-х годов (когда, по словам современника, «высшая власть разрешала науку постольку, поскольку она приложима к педагогике и технике<sup>1)</sup>), блестящая университетская карьера филолога-классика, вынужденные занятия преподавательской деятельностью, кружковая активность, псевдонимные публикации, высылка в Томскую область в 1933 году, депортация в Германию в 1942-м (из оккупированного Новгорода), арест в Берлине в 1946-м, освобождение (реабилитация!) за несколько дней до окончания десятилетнего срока, работа в Пушкинском Доме, выход итогового научного труда «Гомер в русских переводах XVIII-XIX веков» (М.–Л., 1964), книги, ставшей классической, и жизнь в окружении нескольких уцелевших друзей и появляющихся почитателей из числа любопытствующей молодежи.

Литературное наследие, оставленное Николевым, невелико: всю жизнь он писал одну книгу стихов – «Елисейские радости» (около 50 стихотворений), издан и сохранился один роман – «По ту сторону Тулы» (Л., 1931) – «советская пастораль», по авторскому определению; не издан и пропал другой – «Василий остров»; написана, потеряна и восстановлена в ссылке по памяти поэма «Беспредметная юность» (по счастью, первый вариант сохранился в составе переданных в Гос. Литературный музей бумаг М.А.Кузмина – таким образом, существуют две – весьма различающиеся – редакции поэмы).

Возникновение имени М.Кузмина здесь не случайно: он и Константин Вагинов были ближайшими друзьями и (по)читателями Николева. Именно Кузмин, Вагинов и Николев (наряду с Ахматовой и Мандельштамом) разрабатывали в своем творчестве некоторые важнейшие элементы «русской семантической поэтики» (установка на «вскрытие и уловление метафизики, таящейся в недрах языка» – из авторского предисловия к «Беспредметной юности», общая историософская модель, в центре которой – античность, тяга к сюрреалистическому – в широком понимании – видению мира), которые – часто «в редакции» работавших в те годы Элиота, Кавафиса, Йитса – оказали определяющее воздействие на новейшую русскую поэзию. Хотя иногда (например, при чтении последних вещей Иосифа Бродского) кажется, что не обошлось и без прямых отечественных влияний. К Николеву это относится, видимо, в первую очередь. Подготовленная покойным Г.Шмаковым для сборника «Часть речи» (Нью-Йорк, 1980), посвященного 40-летию Бродского, публикация Николева, возможно, санкционированная юбилеем, – прямое тому свидетельство. Поэзии Николева не свойственна мировоззренческая динамика, характерная, например, для Вагинова с его периодами отталкивания и притяжения действительности, попытками преодолеть трагическое раздвоение души, разнь с самим собой. Поэтический мир Николева, мир «одушевленнейших предметов и речи неодушевленной» «грешит» отмеченным еще Г.Адамовичем (применительно к петербургской поэзии 1920-х годов) «легким дыханием, легким смущением жизни – да, легким, несмотря на цензуру, гнет и все остальное»<sup>2)</sup>. Ключевой

образ, ипостась «осуществленного наяву» Элизиума – Елисейского поля (восходящий, очевидно, к кузминскому перечню: «Элизиум, Элиза, Елисей...»), недаром утвердился в заглавии стихотворной книги в несколько оксюморонном сочетании – «Елисейские радости». Эта мрачноватая усмешка (в близкой Николеву среде свойственная обэриутам, а в эмигрантской поэзии заставляющая вспомнить Георгия Иванова) таит, однако, «мучительность переживаний». Это и составляет сущность творчества Николева, которое, как и всякое истинное творчество (здесь кажется уместным снова процитировать Кузмина) «не может не быть современным, иногда заглядывая в будущее»<sup>3)</sup>.

1) См.: Память. Исторический сборник. Париж, 1982. Вып. 5, с. 422.

2) «Звено». 1927, 1 августа, №2, с. 72.

3) М.Кузмин. Условности. Статьи об искусстве. Пг, 1923, с.162. Пользуясь случаем, выражаем глубокую благодарность М.Б.Мейлаху и В.И.Сосикову, любезно содействовавшим в наших разысканиях о Николеве.

Вот и кончились эти летние улады,  
ах, зачем же же не вечны вздоры!  
Я читал, что увядший листик  
загорится золотом в песнопеньи,  
так и наши боренья, паренья,  
развлеченья, влеченья, волненья  
лишь материал для стилистик,  
как и вялые на заборе афиши –  
найдется потом, кто их опишет,  
эти ахи да охи, вздохи  
занимательнейшей, увы, эпохи.

1929

## *Из книги «Елисейские радости»*

Мечтатели уселись, слышат,  
как талый снег, сию минуту  
замешенный на солнце и вине,  
клокочет, булькает у голубей  
в коротких горлышках раздутых,  
переливаясь через край,  
когда про недалекий рай  
уверенные голуби воркуют.  
Которую весну или какую  
творят они? Но солнце голубей  
становится прозрачнее и выше.  
Наверное, там хорошо, на крыше.

1933

Путник замечает ненужное вполне:  
лошадиную кость и брошенный сапог,  
в расщелине двух ящериц и мох  
и припек более жаркий, чем извне.  
Пахнет незатейливостью такой мирок  
и пылью, и чтобы сюда спуститься,  
совсем маленьким должен сделаться рок,  
словно насекомое или птица.  
Не отсюда ли вечером возникает мошкара,  
когда трубит назойливая детвора:  
«пора, пора, пора и тебе смириться».

1933

За чаепитием воскресным  
мне интересны и прелестны  
равно и крендель и хозяйин.  
Одушевленнейших предметов

и речи неодушевленной  
благожелательный свидетель,  
сизжу, простое изваянье,  
с наружностью мнимо-грустной,  
напиток попиваю вкусный,  
и белым голуби пометом  
мне плечи твердые марают,  
и ветви с ветерком играют.

1933

И шейный срез, пахучий и сырой,  
от делать нечего он трогает порой,  
по слойке круговой закон моей природы  
стараясь разгадать, пережитые годы  
обводит пальцем он без всякого усилия,  
скользит по связкам и по сухожилиям,  
упорствует в насвистываемом марше:  
«О, больше тридцати? Так ты меня постарше» –  
откинулся, прилег, и лес стоит над ним,  
над неказненным, неказистым, никаким.

1934

В тот день, когда меня не станет,  
ты утром встанешь и умоешься,  
в прозрачной комнате удвоишься  
среди пейзажа воздуха и стен:  
моей души здесь завалилось зданье,  
есть лень и свежесть, нет воспоминанья.

1935

«Эридисе, Эридисе!» –  
я фальшивлю, не сердися:  
слух остался в преисподней,  
мне не по себе сегодня –  
всюду в каше люди, груди,  
залпы тысячи орудий.  
Неужель это не будет,  
чтобы мир, не вовсе дикий,  
вспоминал об Евридике?

Что это так, согласен, но  
выбор не мал и без запроса –  
так предлагает нам земля  
заелисейские поля,  
туманные, как папироза  
Туда, в простор без измерений!  
Там эти счастливые тени,  
мои шуты, сержанты, дуры  
и им подобные фигуры  
твердят бывалым небесам:  
Себя достоин будь ты сам,  
небытие уж стало былью,  
все звездною покрылось пылью,  
так скидавай свою мантилью  
навстречу ветренным красам.

1936

*Из поэмы «Беспредметная юность»  
(редакция 1918-1933)*

Для жизни новой он почти готов,  
но здесь побыть приходится немножко,  
среди искусственных садов,  
где в воздухе густом запутались дорожки,

а на плодах, прикушенных немножко,  
следы искусственных зубов.  
Здесь глиною обмазаны стволы,  
и улеглись на пажитях воли,  
и с зеркалом молодая обезьяна  
повержена у верного фонтана.  
Подстать подстриженным деревьям, мерно  
подстрижена его печаль.  
А сверху старенький амур,  
пухлой конечностью хватая облака,  
дает понять, что он уж умер,  
и смотрит на него через века, века.

Мир воздвигнут и разрушен,  
мир разрушен и воздвигнут,  
безглагольственные души  
не заметят и не пикнут.  
Насекомых череда,  
переливная слюда,  
и несется и мелькает,  
сетку мелкую твоя  
неосмысленно и зря.  
Сквозь нее лучом косым  
солнце бьет наперерыв.  
Этот от земли отрыв  
голоштанникам босым  
посреди дворцов и башен  
и не нужен и не страшен,  
и неважен, и не нов,  
но зато весьма украшен,  
как поток бывалых слов,  
смысл которых не погашен.  
Слов и снов – дает слонов  
появленье между пашен.  
О, куда с тобой зашли мы,  
в край чужой на край земли,  
всё становится вдали.

## **Вниманию читателей немецкого «Континента»**

Издание «Континента» на немецком языке с самого начала было задумано покойным Акселем Шпрингером как немецкий вариант русского «Континента» (хотя и не полный перевод его — с учетом специфики читателей в Германии). В 1977 году, когда встал вопрос о смене немецкого редактора, главный редактор «Континента» предложил г-ну Шпрингеру назначить на этот пост члена нашей редколлегии Корнелию Герстенмайер. Устно с ней были оговорены условия будущего сотрудничества, по которым немецкое издание обязано было помещать не менее 50% материалов из основного, русского издания «Континента». И действительно, в течение ряда лет это условие выполнялось.

К сожалению, чем дальше, тем меньше немецкий «Континент» напоминал свой русский прообраз, особенно отойдя от него в последние годы — во времена «гласности» и «перестройки». В целом ряде последних номеров нет уже и следа связи немецкого «Континента» с журналом, давшим ему название и, собственно, породившим его.

Дошло до того, что, когда наш журнал оказался в трудном, почти катастрофическом положении, главный редактор немецкого «Континента» — как мы считали, наш друг и естественная союзница — отказалась поместить призыв в поддержку «Континента», подписанный Иосифом Бродским, Милованом Джиласом, Эженом Ионеско, Чеславом Милошем и ныне покойным Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Эта горькая капля переполнила чашу, и мы вынуждены заявить следующее.

Согласно полученным нами разъяснениям, юридические тонкости издательского контракта не позволяют нам добиваться снятия нашего названия с обложки немецкого «Континента». Однако мы хотели бы предупредить всех, кто продолжает верить в близкое родство двух изданий: ныне выходящий немецкий «Континент» не имеет к нам никакого отношения, мы не несем ответственности ни за его политическую линию, ни за его литературные вкусы.

**Редакция журнала «Континент»**



## КОЛОНКА РЕДАКТОРА

### В МОСКВУ ЗА ПЕСНЯМИ

Честно говоря, я ехал на родину с тревожным чувством. Шутка ли сказать, шестнадцать лет чужбины: выросло целое поколение людей, если не два, которые обо мне слыхом не слыхали. Нужен ли я, мои опусы, мое дело стране, переживающей сегодня, может быть, наиболее судьбоносный период своей истории? Тем более, что совсем недавно в эмиграции один выдающийся ценитель нашей словесности, горячий сторонник величайшего драматурга современности Михаила Шатрова, с высоты своего безупречного вкуса уже печатно констатировал: «бесцензурная русская проза третьей эмиграции не произвела ничего, кроме жалкого подобия литературы». Разумеется, я понимаю, когда Бог обошел человека умом и талантом, он – человек то есть – и не такое скажет, но все же, казалось мне, доля истины в сетованиях этого взыскательного господина есть.

К счастью, уже первая встреча с читателями в Доме культуры Московского университета на Ленинских горах развеяла мои опасения: зал был полон, контакт практически абсолютный, состоялся заинтересованный разговор, что называется, обо всем, но главным образом о нашем эмигрантском житье-бытье и русской словесности дома и в Зарубежье. И так продолжалось на протяжении всего моего двухнедельного пребывания в Москве, во время многочисленных встреч в самых разных аудиториях, в редакциях литературных журналов, а также с газетами, друзьями и частными лицами.

Что же касается бесцензурной русской прозы третьей эмиграции, не произведшей, по мнению нашего здешнего знатока, «ничего, кроме жалкого подобия литературы», то она на равных с отечественной широко заполняет сегодня страницы советской периодики и планы издательств, отодвинув в тень читательского внимания любезных чуткому сердцу этого знатока литературных кумиров. Имена Александра Солженицына, Георгия Владимова, Виктора Некрасова, Василия Аксенова, Владимира Войновича, Фридриха Горенштейна, не говоря уже о добром

десятке авторов из второго ряда, буквально пестрят в оглавлениях чуть ли не всех ведущих советских изданий. О них пишут рецензии, статьи, диссертации, о них говорят и спорят.

Не обошли вниманием и вашего покорного слугу. Не успел я оглядеться в родной столице, как многие (и, прямо скажем, не из самых последних) журналы предложили мне свои страницы, театры – сцену, киностудии – экран. Причем заинтересованность была проявлена в первую очередь к вещам, написанным мною в эмиграции. Диву даюсь, неужто читательский вкус в нашей стране так низко пал, что перестал ощущать головокружительные высоты в творческих взлетах литературных богов вышеупомянутого ценителя, отдавая предпочтение «подобию» литературы Солженицына, Владимова, Некрасова, Аксенова, Войновича и целого ряда других эмигрантских авторов?

Дело, мне представляется, обстоит гораздо проще. В свое время покойный ныне Александр Галич растолковал мне, что у полицейских служб всех времен и народов существует одно основополагающее правило: если ты хочешь сломать человека, ты должен доказать ему, что дело, которое он делает, никому не нужно. Вот в русле этого правила и действуют наши околотитературные и околополитические ценители, устраивая на Западе погромные шабаши вокруг Александра Солженицына и организуя инсинуации против Иосифа Бродского, Георгия Владимова, Василия Аксенова и (даже!) Андрея Сахарова. Судя по всему, не только комплекс неполноценности движет ими в их кипучей деятельности в русскоязычной периодике Зарубежья, на русскоязычных радио, в политических организациях, где они взялись определять «кто есть кто» в отечественной культуре и общественной жизни и устанавливать в ней «табель о рангах» в полном соответствии со своими троглодитскими вкусами и указаниями своего сыскного начальства.

Я не берусь ничего заранее утверждать, время (и, надеюсь, самое ближайшее!) покажет, кто и что стояло за нею – за этой нерукопожатной публикой, одно лишь могу с уверенностью сказать уже сейчас: позора ей не миновать.

Мне трудно пока судить, насколько политически и граждански была оправданной моя поездка в Москву (подробно о ней по предварительному уговору с Сергеем Павловичем Залы-

гиным я расскажу в «Новом мире»), но она теперь уже окончательно укрепила меня в уверенности, что, вопреки всему, шестнадцать лет чужбины не прошли впустую и жизнь в эмиграции прожита не зря.

P.S. К сожалению, точку на этом мне поставить не удалось. Не успел я опомниться от поездки, как на стол ко мне впорхнула весточка «от милого дружка», тоже большого ценителя мировой литературы, горячего поклонника Вяземского и Рыбакова. В «Литературной газете» от 2.5.90 в статейке «Чего было, чего не было» критик Станислав Рассадин в присущей ему манере провинциального конферансье призывает читателей посмеяться над моими литературными и редакторскими претензиями. Этого смешливого разговорника я уже хватал за руку на откровенной лжи и литературном подлоге, когда он в «Огоньке» обвинил меня в том, что я – ни много ни мало – по указаниям В.Кочетова переделал свою повесть, опубликованную затем в «Октябре», из антисталинской в просталинскую; в повести, которую одновременно с ним прочитали такие, к примеру, всеми уважаемые люди, как Б.Окуджава, Г.Владимов, А.Берзнер, И.Борисова и ряд других, не было изменено ни одной запятой.

В помянутой выше статейке наш ценитель остается верен себе. Видимо, предыдущий урок не пошел ему (простите за невольную рифму) впрок. В связи с тем, что, по всей вероятности, «Континент» вскоре начнет выходить в Москве и я окажусь в прямой досягаемости для советской юстиции, позволю себе с полной юридической ответственностью предупредить желающих посмеяться над моей скромной особой вместе с этим литературным Гераклом полицейских наклонностей:

– Осторожно, очередной подлог!

P.P.S. Но и на этом точку мне поставить не удалось. Ровно через две недели в той же газете появилось сочинение А.Рыбакова, опять-таки посвященное моей скромной персоне. Не желая утруждать читателя публицистическими упражнениями этого литературного прохиндея (читатель сам может ознакомиться с ним – этим сочинением в «ЛГ» от 16.5.90), я позволю себе только привести здесь текст своего ответа редакции «ЛГ»:

Уважаемая редакция!

В связи со статьей А.Рыбакова в «Литературной газете» от 16.5.90 считаю необходимым сообщить следующее:

1. Об участии А.Рыбакова в травле В.Войновича мне известно от самого В.Войновича. С его же согласия я сделал этот факт достоянием гласности. Поэтому с этим я отсылаю вас непосредственно к нему. Отсылаю вас также к известному отечественному критику Б.Сарнову, который совсем недавно посвятил этой же проблеме свое выступление по радиостанции «Свобода».

2. Что касается моего опуса в «Октябре» в 1963 году, то А.Рыбаков ломится в открытые ворота: опус этот воспроизведен с соответствующими авторскими комментариями в моей автобиографической книге «Чаша ярости», опубликованной на Западе как по-русски, так и на нескольких иностранных языках. В ближайшее время издание этой книги предполагается и в СССР.

Было бы весьма полезно для процесса нравственного обновления в нашей стране, если бы авторы вроде А.Рыбакова сделали то же самое по отношению к своему прошлому, а не изображали из себя сейчас истекающих кровью святых Себастьянов.

Остальное: тон, стиль, аргументацию и прочее я оставляю на совести вашего автора, если она у него еще осталась.

С уважением,

*Владимир Максимов.*  
*17.5.90*

Удастся ли на этом кончить, не знаю: до выхода номера – полтора месяца!

## НАША ПОЧТА

Дорогой Владимир Емельянович!

Выступая 12 апреля 1990 г. в Московском университете, Вы поделились с аудиторией своими тревогами и надеждами насчет развития событий в нашей стране. То, как эти события воспринимаются здесь, на месте, вероятно, помогло бы Вам и Вашим друзьям на Западе точнее оценить их и выработать собственное к ним отношение. С начала 80-х годов я имел честь быть автором Вашего журнала. Само существование «Континента» было для меня и моих друзей незаменимой духовной поддержкой. То была улыбка здравого смысла среди перекошенных лиц Зазеркалья. Сегодня я счел своим долгом высказаться о том, что волнует и Вас, и нас. Пусть мой голос в хоре других свидетельств послужит нашему общему стремлению разобраться в происходящем.

Ваша тревога сводится к подозрению, что перестройка в конечном счете лишь очередной, хотя размахом превосходящий все прежние, политико-пропагандистский маневр коммунистического руководства. Что стратегический расчет ее – деморализация Западной Европы. Что это продолжение политики Коминтерна и доктрины Брежнева другими средствами. Что 20-е годы дали предостерегающий пример того, как экономическая либерализация и гласность уживались с угрожающими военными приготовлениями.

Надежду же свою Вы основываете на том, что общественное движение у нас обгоняет направляемый сверху политический процесс. Что развитие событий уже не определяется намерениями вождей. Что люди, вкусив свободы громко говорить то, что они думают, не вернутся с легкостью к безгласию и двоемыслию. Что насильственно можно прервать политический процесс, но навести прежний порядок в умах вряд ли кому-то под силу.

Так вот, общий ход дел видится мне в более светлых тонах, тогда как состояние нашего общества, напротив, омрачает картину. Мне близка Ваша постановка вопросов. Но, слушая Вас, я ловил себя на парадоксальной мысли: многое из того, что

тревожит Вас, меня, наоборот, обнадеживает. А то, что внушает Вам надежду, вызывает у меня тревогу.

Не могу принять сближения 90-х годов с 20-ми. Что касается гласности, несравнимо соотношение официальных и независимых точек зрения тогда и теперь. В 20-е марксистско-ленинская идеология была на крутом подъеме. Большевики рвались в бой внутри страны и за ее пределами. Даже осторожный ленинский нэп был воспринят в партии как старческая дряблость, как безвольная уступка. Волк не нуждался в овечьей шкуре. Мне пришлось держать в руках журналы не 30-го, а мирного 25-го года: в директивах тогдашним кооператорам зажиточные крестьяне именуются не иначе, как «кулачье». Советская интеллигенция склонялась если не к восторженному воспеванию социализма, то к «жертвенному» приятию его. Разногласица была лишь на периферии тогдашних изданий, и поля все уже обрезались (вспомнить литературную судьбу Мандельштама, Булгакова). Публиковали Деникина или Шульгина, но то были мемуары побежденных, и в обнародовании их сквозило злорадное чувство победителей.

«Архипелаг ГУЛАГ» не исповедь побежденного, но катехизис сопротивления. Не только интеллигенция, но и партийные вожди стесняются сегодня слова «коммунизм». Даже Ленина защищают вяло: зубы повыпадали у идеологии. Транслируемый по телевидению на всю страну парламент не разогнать матросским окриком, как заседавшее на краю огромной малограмотной страны Учредительное Собрание.

Несравнимо с 20-ми годами предстает и внешняя политика СССР. Тогда дипломатические поглаживания Наркоминдела диалектически дополнялись подкожными инъекциями Коминтерна. Сталин контролировал компартии Запада, по своему усмотрению подымая их на баррикады, подсаживая в парламенты, загоняя в подполье или уничтожая в московских стенах. Леволиберальная европейская интеллигенция молилась на Кремль, парализуя общественное мнение в своих странах. Демарши вроде ноты Керзона заглушались ревом танков. Угроза фашизма заставляла Запад выбирать между двумя тоталитарными исполинами.

Сегодня официальной внешней политике СССР не придан никакой рычаг, подобный Коминтерну. (А ведь совсем недавно брежневской «разрядке» сопутствовала ползучая мировая война в развивающихся странах.) Сталинистские компартии на Западе растворяются в воздухе, еврокоммунистические спешат переокраситься в социал-демократические цвета. Сама социал-демократия во многих странах сдает позиции консервативным и центристским партиям. Победа родственных партий в ГДР, Венгрии, Словении (скоро, очевидно, и в Словакии) ослабляет позиции западноевропейских левых. Правых диктатур почти не осталось на Земле; коммунизму больше нечем соблазнять ее обитателей.

Если все это – хитрый замысел кремлевских мечтателей, то приходится предположить, что в конце концов они перехитрили сами себя. Трудно привыкнуть к этой мысли: ведь семь с лишним десятилетий «они» всех обводили вокруг пальца и всё под себя подминали. Но факты, как говорил основатель СССР, вещь упрямая. Колеса, так сказать, истории не повернуть вспять.

В целом ход вещей выстраивается необратимо, побуждая советских руководителей к дальнейшим проявлениям доброй воли (насколько охотно они ее проявляют – не так уж важно). Что как раз и обнадеживает. Другое дело, что всё это само по себе не исключает какого-нибудь опрометчивого срыва. Сейчас, когда я сижу за машинкой, непредсказуемо развивается положение в Литве. И ведь многие в нашем руководстве сами охотно создают такие положения. Это помогает им вместо неотложных насущных реформ погрязать в пропагандистском ворчании. Это для них естественно, это их природная среда обитания. Сорвавшись же однажды в полосу чрезвычайных мер, трудно будет избежать соблазна вовсе свернуть перестройку.

Вот тут-то решающее слово было бы за обществом. Его настроение обнадеживает Вас. Но, помните, в романе Дюма Атос «был оптимистом, когда дело шло о вещах, и пессимистом, когда дело шло о людях». Вот и нынешнее положение вещей внушает куда меньше опасений, чем состояние людских умов.

Если бы общество собственным усилием вырвало у властей нынешний уровень гласности и свободы – тогда да, оно при всех поворотах страстно защищало бы свои завоевания. Но это не его завоевания. Гласность была спущена сверху, подарена обществу

в самый неожиданный для него момент. Отсюда неумеренный ребяческий восторг первых горбачевских лет. (Наперебой и взахлеб славили «свежий ветер перемен», когда этот ветер был еще полон миазмами мордовских и пермских болот.) Отсюда же растерянность и разброд теперь, когда свобода все-таки начала наконец обретать видимые очертания. Слишком укоренена в нас привычка смеяться на похоронах и плакать на свадьбе.

В брежневские годы расхожей житейской мудростью было «мира не переделаешь» (как будто речь шла о мире Божиим, а не о банде уголовников, куражащихся над шестой частью суши). «Внутренняя свобода» – другой расхожий штамп того времени – понималась как оправдание несвободы внешней и оборачивалась циничным равнодушием.

Наум Коржавин заметил, что советская интеллигенция перепутала застой с вечностью. Но история эта имеет продолжение: сегодня сплошь и рядом путают перестройку с апокалипсисом. В жестокие, унижительные времена жили, как будто ничего особенного не происходило. Теперь, когда – впервые за многие десятилетия – открылась возможность жить по-человечески, истерически взвинтился гражданский пафос, раскалились политические страсти. Что, впрочем, было бы естественно – когда бы не налет суетливости, некомпетентности, путаницы в мозгах. Прямым подарком партаппарату стал раскол общества на «левых» и «правых» – реанимация спора славянофилов и западников, утратившего жизненность еще в ходе реформ Александра II.

Всё это по-человечески понятно и оправдано. Мы остались теми же, что были, переменились только обстоятельства. Люди торопятся воздать себе за годы молчания, бездействия и пресмыкательства. По-человечески понятно – но проявившиеся таким образом человеческие свойства не позволяют чрезмерно полагаться на наше общество в случае неприятного поворота событий. Что даром досталось – то даром и отдается. А отрабатывать хоть задним числом дар свободы мы что-то не рвемся.

Хватаемся за всё неосновательно, урывками, абы как. Взять хоть вопрос о собственности – может быть, решающий для страны сегодня. Слова говорятся, дела не делаются, все раз-



дражены, что воз и ныне там. Но ведь собственность не идеал, не отвлеченный принцип, а что-то очень конкретное, с живым человеческим содержанием. Чтобы иметь собственность, надо иметь собственника. Пока собственника как социальной силы у нас нет, никакие проповеди не помогут. Пока собственника у нас нет, закон о собственности (нынешний, и следующий, и сто двадцать пятый) будет неизменно подвергаться кастрации. Пока собственника у нас нет, лучший из ста двадцати пяти принятых законов не будет работать ни дня. А кто у нас потенциальный собственник? Тот, кто имеет либо деньги, либо влияние. Т.е. это либо недобитые кооператоры, либо наиболее предприимчивая часть номенклатуры, приглядывающей к новым хозяйственным отношениям. И вот, о чудо, вопреки Госплану, вопреки ОФТ, вопреки совету ветеранов, – они находят друг друга. Соединяют усилия и создают АНТ. А мы что делаем? Набрасываемся на этот АНТ! Полубезумные партсекретари из провинции видят в нем микроб кооперативной чумы. Либеральнейшие парламентарии – правительственную коррупцию. Рады случаю свалить правительство. Если бы это было худшее, что от наших правительств исходит! Они, видите ли, продают танки. Да пусть лучше продают, чем бесплатно двигают их в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, теперь вот в Литву. Мы недовольны, что аппаратчики цепляются за власть? Так что ж мешаем им попробовать себя на другой работе? Она нарушают закон? Так ослабить поводок, пустить по следу знаменитую пару следователей! Пусть ловят за руку – но лишь исключительно за конкретное нарушение конкретного закона. Следователи добивались бы чистоты нравов, бизнесмены – роста товарно-денежной массы. Как это делается в цивилизованном мире. Глядишь, мы получили бы лучшие редакции законопроектов, больше поднятых «за» рук, живописнее – прилавки магазинов. Нет, мы загоняем деловых людей в подполье, сплачиваем их в мафию, вновь и вновь воссоздаем черный рынок, с которым так любим бороться, что жить без него не можем. Хотим мирного передела власти – а носителям этой власти не даем шанса, не оставляем пространства для отступления.

За власть вообще-то борьба идет живее, чем за собственность, землю и прочий общенародный интерес. Тут все просто и

старо как мир: вымогать обещания и ловить на невыполнении их. Но и тут немало судорожности. Требуем всего сразу – вместо того, чтобы, сосредоточившись каждый раз на какой-то одной больной точке, шаг за шагом, добиваться проведения в жизнь определенной программы. Тогда власть отдавалась бы частями всякий раз, когда оппозиция лучше власти справлялась бы с осуществлением этой программы. Требуя же всего сразу, в ближайшей перспективе ничего не добьешься, в перспективе же дальней можно вообще все развалить. А это опасно.

Все эти вопросы – о власти, о собственности и т.д. – можно решать и как-то по-другому, здесь допустимы десятки или сотни альтернатив. Но пусть эти альтернативы будут дельными, работающими, увязанными с действительным положением дел в стране, расстановкой сил в ней. А такого подхода пока не заметно.

При этом бурлит и воюет лишь верхушечная часть интеллигенции (депутаты, публицисты). Масса же интеллигентов настроена почти столь же равнодушно, как в 70-е годы. Забавно, что именно в этой среде Вы, пожалуй, найдете живую поддержку мысли о том, что перестройка – обман. Вам как дважды два докажут, что ничего в сущности не изменилось, колбасы все равно нет, гласность – как дали, так и отнимут, скоро будет еврейский погром, – и свалить бы из этой страны чем скорей, тем лучше. Эти люди так и остались при убеждении, что «мира не переделаешь»; их только раздражает, что мир ни с того ни с сего начал переделываться «сам». Энтузиазм парламентских ораторов и записных публицистов они про себя объясняют видным положением и материальным достатком (мол, им легко говорить).

Легкомысленный напор общественной верхушки вкупе с неизменно запоздалыми уступками властей наводят на параллель с мартом семнадцатого и его последствиями, тем более что солженицынская хроника под рукой. Иных это толкает к так называемым «правым». Доходит до абсурда, когда, например, антикоммунист Шафаревич подписывает письмо в поддержку отдельной российской компартии. Но недавние выборы показали полное отсутствие социальной базы у них. Претенденты на представительство великой нации не имеют права собирать

столь жалкую долю голосов. Наши «правые» еще дальше от народа, чем «левые». Они такие же интеллигенты, как все остальные, только более неудачливые и закомплексованные. Так что нет ни «партии нового типа» на горизонте, ни Ленина в Цюрихе.

Что касается широких слоев народа, то они, как всегда, ближе к естественному ходу вещей, чем к надуманным политическим установкам. Именно это второй год подряд и показывают выборы. Оба раза активисты сетовали на отсутствие интереса к предвыборной кампании, и оба раза сами выборы собрали достаточное число голосующих, которые отдали голоса за кого надо. Людей нужно понять: измотанные в очередях, они не станут бегать по собраниям, где им будут вдалбливать то, что, лежа на диване, можно прочитать в «Огоньке» или увидеть с телеэкрана. А раз в год, тайно – отчего ж не проголосовать. И ясно, что любой межрегионал все же лучше вконец изолгавшихся и провававшихся начальников. Не говоря уж о ряженых патриотах.

Так что, в отличие от 1917 года, никакой насильственный переворот снизу или сбоку нам не грозит. Возможны судорожные конвульсии верхов, и грозят нам не столько они сами, сколько угадывающаяся неспособность общества спокойно и сильно ответить на них. Не надо бояться, что Горбачев нас обманет. Как бы нам самим себя не обмануть. Пока что Горбачев – с учетом его должности, воспитания и окружения – на своем месте делает больше, чем мы на своем.

Апокалипсис не состоится, но возможна потеря времени с немалыми жертвами. Предсмертный беспредел номенклатуры шел бы против силы вещей, не имел бы опоры в народе, но успел бы натворить довольно бед. Новая диктатура расправилась бы с лучшими людьми страны, увенчала хозяйственный развал настоящим голодом, укрепила мафиозные группы, вызвала всенародное сопротивление и с треском пала. Сложились бы мощные подпольные структуры; думаю, и наша интеллигенция использовала бы время вынужденного бездействия для осмысления собственного опыта и стоящих перед страной задач. Нечто подобное произошло в годы военного положения в Польше.

Но нам пришлось бы заплатить за это много дороже.

Размер страны, уровень культуры, межнациональная резня – все указывает на эту высокую цену.

Нет никаких оснований бояться, что деятельное участие в наших переменах как-то подыграет режиму, не имеющему по большому счету исторической перспективы. Зато есть все основания всеми средствами помочь оздоровлению нашего общества, возрождающегося на развалинах тоталитаризма. В этой связи и Ваш приезд в Москву кажется чрезвычайно своевременным. Опыт «Континента» – это опыт освобождения от порчи «советского образа жизни». Этот опыт был бы драгоценным в наших условиях. Если бы стало возможным издавать «Континент» в Москве, это было бы не отклонением от вчерашней бескомпромиссной линии журнала, но ее последовательным продолжением применительно к дню сегодняшнему.

Сегодня наша страна, а в меру ее веса в мире – и весь мир, ближе, может быть, к бескровному выходу из цепи катастроф XX века, чем за все столетие. Не воспользоваться этим историческим шансом или, хуже, злоупотребить им значило бы зачеркнуть напрасно потраченные человеческие жизни, поставить крест на целой эпохе.

Желаю Вам самого доброго, и дай Бог Вам успехов во всем.

*Александр Сопровский*

15 апреля 1990

## СТАЛИНИЗМ ПОД МАСКОЙ ГОРБАЧЕВИЗМА

*(Философская критика политического опыта)*

«Диссиденты всех стран, соединяйтесь!»

Во времена Брежнева и Черненко связь бюрократической элиты с народами окончательно распалась. Это действительно распалась связь времен. Историческое пространство стало существовать в отрыве от исторического времени. Продуктом такого резкого распада во все времена являлась только революция. Разрыв исторического времени и исторического пространства превращает общественный организм в лоскутки политической

материи, и ветер истории разбрасывает их по разные стороны баррикад. Синклит противоречий разрывает СССР на куски, хотя этот процесс и назван «перестройкой». Народы СССР за последние пять лет не обрели ожидаемых прав и свобод. Так в чем же корень зла? Куда идти народам СССР, на что надеяться?

Советская госмашина работает на саму себя, аппарат ЦК КПСС выдвигает в лидеры аппаратчика и интригана, вполне подходящего для брежневской эпохи стагнации, но не для крутого и опасного поворота мировой истории. В своей социально-исторической сущности советская бюрократическая элита – не что иное, как реакционное мещанство, паразитирующее на шее советского народа. Именно по этой исторической причине советское реакционное мещанство и выдвинуло в опасный исторический момент ловкого демагога и интригана – М. Горбачева. Психологический портрет Горбачева очень своеобразный: здесь соединилось все вместе – и ленинская гибкость, а также умение маневрировать в быстро меняющейся политической обстановке, сталинский талант кабинетной интриги, умение одновременно быть великодушным и готовить покушение на своих политических оппонентов. Сравним, к примеру, комбинации Сталина против Троцкого и комбинации Горбачева против Ельцина и Сахарова. Даже не политологу станет заметна политическая преемственность во многих деталях между Сталиным и Горбачевым. А если глубоко проанализировать искусственное создание правого костыля – Лигачев – и левого костыля – Ельцин, то увидим модель, созданную Сталиным. Справа – Бухарин, Рыков, слева – Троцкий–Зиновьев. Старая схема, которая и привела Сталина на вершину деспотизма. Тем же путем идет и Горбачев. За 5 лет Горбачев урвал власти не меньше, чем Сталин за 10 лет (с 1924 по 1934 г.). Помимо всего вышесказанного, Горбачеву присущ также поверхностный либерализм Хрущева и неповерхностная терпимость Брежнева к партийной мафии и партийным взяточникам. Чем объясняется такая колоритность фигуры Горбачева? Ведь она включает в себя все, что было присуще всем лидерам советского мещанства за 70 лет советской деспотии. Это объясняется тем, что после двух революций 1917 года в России к власти пришел только один класс-универсум, он растворен во всех

остальных классах советского общества и своей психологией, идеологией и экономической неполноценностью невидимым политическим клеем связал рыхлые социально-экономические структуры СССР. Пользуясь своим положением социального клея, этот класс захватил все ключевые посты в государстве, а цвет нации – аристократию, интеллигенцию, профессиональных земледельцев – уничтожил. И стала Россия кладбищем гениев и талантов. И господствует на этом кладбище советский мещанин Горбачев и советское реакционное мещанство, до смерти напуганное словами Свобода, Демократия, Революция, Гласность. И решили кремлевские надзиратели утопить эти символы величия и несгибаемости человеческого духа в бюрократическом термине «перестройка». Только зачем «перестраивать» советскую деспотию? Не лучше ли похоронить ее? Ведь говорил Хрущев исторические слова: «Мы вас похороним!» Не зря гласит народная философия: «Не рой ближнему яму, сам туда попадешь». А ведь рыли яму кремлевские начальники – и сколько лет! И рыли ее для всего человечества. Что для них 60 млн. замученных и убитых граждан Планеты. Это не мешает!.. Вот 500 миллионов или 5 миллиардов – это масштаб, это по-ленински, по-коммунистически!!! А то раздувают некоторые газеты «мелкие ошибки» (60 млн. убитых) коммунистического строительства. С кем не бывает? Не то строили, не тех сажали? Зато теперь, при Горбачеве, будем строить то, что велит Горбачев, и сажать тех, кого прикажет Горбачев. Вот и обновится социализм! И станут советские люди строить такой же совершенный социализм, как и сам Горбачев. Витрина социализма (горбачевского типа) уже есть. Спасибо западной пропаганде, хорошую витрину нам создала – с «человеком года» посередине, осталось только к этой витрине хороший супермаркет пристроить, да где деньги взять? Запад этого не говорит... Этот вопрос посложнее, чем создание таких шедевров, как «человек года» (т.е. супер-Горбачев). Советский Союз, обескровленный Второй мировой войной, сталинским террором, хрущевской семилеткой и брежневским запоем, длившимся 18 лет, достался Горбачеву разграбленным и униженным верными сталинцами и ленинцами до неимоверности. Но это не смущает нынешнее кремлевское ру-

ководство, оно продолжает душить народы СССР в своих кремлевских объятиях. Действуя по сталинским рецептам, Горбачев не забыл и о «святом месте» в политбюро для верного ежовца и бериевца – Крючкова. Сейчас диссиденты могут лицезреть то, что лицезрел весь мир в 1938 году. На смену кровавой паре Сталин–Ежов пришла нечистая пара Горбачев–Крючков. Прокрипционные списки на народных депутатов, уличных ораторов, тихих диссидентов и неформальных лидеров давно у Крючкова в кармане, и бывший сталинский прокурор, верный ученик Вышинского, только ждет кивка своего босса Горбачева, и колесо кровавого террора КГБ завертится на предельных оборотах. Как подпольная империя – КГБ – для сохранения своих привилегий пойдет на любые преступления против человечности, а для прикрытия нового Большого террора и создан образ «человека года». История повторяется дважды – «первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса», – говорил К.Маркс. Но Маркс никогда не понимал и не знал России. В России история повторяется только в виде трагедии. Хочется верить, что настанет на Святой Руси день, когда на кишках последнего палача повесят последнего стукача! Призыв КГБ СССР к террору против демократического движения и обвинения в адрес ЦК КПСС говорят о том, что палачи из КГБ хотят уйти от ответственности за совершенные преступления против человечности и готовы совершить новые преступления против Свободы. Демократия в опасности!!!

«Демократы всех стран, соединяйтесь!»

*Анатолий Сиромаха*  
– член оппозиционной партии ДС,  
член координационного совета Республиканской партии,  
член Философского общества СССР,  
г. Ленинград

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы не разделяем крайностей этого письма, в частности, веры автора в грядущее сведение счетов далеко не юридического свойства, но, на наш взгляд, в нормальном демократическом процессе любая точка зрения должна быть выслушана.

## ЕЩЕ РАЗ О КОЛПАШЕВСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ

### *Открытое письмо в средства массовой информации*

Так кто же несет ответственность за варварское уничтожение массового захоронения жертв сталинского режима в Колпашеве в мае 1979 года?

Один из недавних номеров «Московских новостей» посвятил встрече Е.К.Лигачева со студентами и преподавателями Томского университета в декабре минувшего года едва ли не полный газетный разворот. Но и это либеральнейшее московское издание ни единой строчкой не упомянуло колпашевских событиях, хотя такой вопрос на встрече прозвучал.

Ответ Лигачева предугадать было нетрудно: да, напоминает нечто подобное, но он об этом узнал позже. И все. Понимались, правда, выкрики из зала с требованием назвать виновных, но Лигачев сделал вид, что не услышал их. В правдинском репортаже от 9.12.89 появилась фраза: «на встрече... присутствовали члены неформальных организаций города, которые вели себя активно».

Но внимательному читателю советских газет вообще может показаться странным вояж члена политбюро накануне 2-го Съезда народных депутатов куда-то в Сибирь и сама эта встреча со студентами вместо неизбежных закулисных предсъездовских хлопот в Москве (в официальном отчете сообщалось, что поездка была связана с осуществлением контроля за выполнением Постановления ЦК КПСС об итогах пребывания в Тюменской области М.С.Горбачева в... 1985 году!)

И вот ведь странное совпадение – именно в Томском университете работают и учатся многие активисты томского «Мемориала», принявшие вместе с новосибирцами заявление, которое стало теперь известно и в Прибалтике благодаря публикации «Северной молодежи» (18.01.90).

Надо страдать излишней наивностью, чтобы допустить мысль, будто Лигачев, отправляясь в Западную Сибирь, не знал и не ведал о распространяемых в Новосибирске и Томске листовках и информационных бюллетенях с текстом заявления, где было выражено недоверие ему как народному депутату и содержалось требование рассмотреть этот вопрос на съезде.



Знал – но не придал значения? В любой цивилизованной стране ответственность за подобное могильное мародерство стоила бы политическому лидеру карьеры. Г.Харту «хватило» и «пустякового» адюльтера.

Эти плоды цивилизации нам, увы, еще недоступны. И не о том слышали и не с тем свыкались. Похоже, Лигачев чувствует себя в полнейшей безопасности. И все-таки совершенно очевидно, что если бы у него была возможность назвать того, на ком лежит ответственность за это грязное дело, – не обошлось бы без коротенькой заметки в областной газете.

Так что напрашивается вывод: все-таки обеспокоен был Егор Кузьмич. Потому и «завернул» в Томск по пути из Тюмени в Москву, потому и устроил эту встречу в Томском университете. Столь же «случайна» и глухая ругань в адрес средств массовой информации в правдинском репортаже о его поездке.

Удобней на неприятные ответы отвечать в безопасном удалении от столичных и иностранных журналистов. А если на съезде кто-то слишком назойливый будет повторять его – можно и отмахнуться: исчерпывающие ответы-де были в Томске.

А заодно можно вздуть местное начальство, чтобы не очень-то распускало неформалов...

Естественно, это лишь версия. Но рассуждая здраво: разве в подобных случаях остаются в архивах подписанные кем-нибудь из сильных мира сего документы?

Но на некоторые факты я мог бы указать.

Еще в 1985 г. мне довелось говорить с бывшим первым секретарем Колпашевского горкома комсомола Виктором Ишутинным. По его рассказам, «соседи» – из горкома КПСС – сами были до смерти перепуганы и оставались растерянными сторонними наблюдателями. Решение о ликвидации захоронения принималось отнюдь не на городском уровне.

Более того, в том же августе 1979 г., то есть через несколько месяцев после уничтожения братской могилы на берегу Оби, тогдашний первый секретарь Колпашевского горкома КПСС В.Н.Шутов утверждал в присутствии пяти свидетелей (среди которых, в частности, был член редколлегии одного из лучших наших журналов), что это было личное распоряжение первого секретаря обкома КПСС товарища Лигачева.

Тогда же товарищ Шутов, кстати, заявил, что в могиле были расстрелянные в 1943 году прибалты. Даже если это правда, она не может быть полнейшей и единственной. По моим данным, среди расстрелянных были жертвы террора конца тридцатых годов из числа колпашевцев. Не исключено, что Шутову данное им разъяснение в тот момент показалось более «удобным». Тем не менее, пользуясь случаем, прошу жителей Прибалтики сообщить в редакцию «Советской молодежи» все, что им известно о репрессиях в Колпашеве.

Естественно, что распоряжение партийных функционеров «претворяли в жизнь» работники КГБ. В прошлом году вышел в свет первый номер рукописного журнала «Летопись террора», издаваемый томским отделением «Мемориала» (составители: В.Нилов, Б.Тренин, В.Фаст, Н.Кашеев). К слову, это единственное издание, напечатавшее очерк полностью. Мемориальцы разыскали Черепанова, капитана ОТ-2010, размывавшего захоронения. И тот честно, судя по всему, рассказал о своем участии в этой грязной истории.

По завершении работ в томском КГБ его осчастливили транзисторным радиоприемником «Томь» (еще кому-то презентовали «Альпинист», часы, женщинам выдали аж по 20 рублей денег, сказав: фирма у них небогатая) и вынесли благодарность от имени... Ю.В.Андропова. Честно говоря, я и сам немало удивлен, что в этом деле фигурирует еще и фамилия жандарма застоя.

И все-таки на КГБ может лежать только часть ответственности. К ликвидации захоронения были привлечены различные инстанции. Работали речники, солдаты стройбата, милиция, геофизики, даже учащиеся СПТУ. Так что без распоряжений со стороны обкома КПСС тут не могло обойтись в принципе. Наконец, по свидетельству члена команды ОТ-2010 С.Н.Копейкина, «руководил мероприятием секретарь обкома Вертников (по транспорту)». Неужто и секретарю обкома могли давать указания сотрудники КГБ?

У меня лично причастность Лигачева ко всей этой мерзости сомнений не вызывает.

Очерк был написан в 1987 г., но опубликовать его долгое время не удавалось. К слову сказать, напечатанный «Сибирь-

скими огнями» вариант также не является полным и несколько «облегчен» ножницами. К сожалению, сокращения эти редакцией «Сибирских огней» с автором согласованы не были.

Лишь после того, как «Колпашевский яр» стал распространяться в Сибири самиздатом, удалось опубликовать в апреле 1989 г. значительный отрывок из него в новосибирской газете «Молодежь Сибири». После этого 11.5.89 появилась обширная, но полная недомолвок статья в «Правде» под названием «Обнаженный яр, или История одного захоронения». «Правда» ограничилась фамилиями Шутова и Копейко, бывшего начальника колпашевского КГБ, создавая тем самым иллюзию, что речь идет о событии, так сказать, районного масштаба.

Не правда ли, странные затруднения с публикацией весьма сдержанного по тону исторического очерка? И это-то в нынешнее время, когда тема преступлений сталинизма стала почти конъюнктурой. Признаться, я способен объяснить подобные трудности лишь нежеланием упоминать – а это рано или поздно стало бы неизбежным – фамилию Лигачева.

В Заявлении новосибирского и томского общества «Мемориал» говорится, что Е.К.Лигачев несет «по меньшей мере моральную ответственность за происшедшее».

Вместе с тем хочу указать еще на один юридический аспект, который не может не учитываться в этом и других подобных случаях. Общеизвестно, что под принятой на 23-й сессии Генеральной ассамблеи ООН резолюцией о непризнании срока давности по отношению к преступлениям против человечности стоит подпись и советского представителя. Тем самым любые попытки должностных лиц скрыть преступления сталинского режима также не имеют срока давности и подпадают под действие статьи 189 УК РСФСР, предусматривающей наказание сроком до пяти лет заключения в исправительно-трудовых лагерях за сокрытие преступлений. Считаю, что на этом основании следует привлекать к ответственности всех тех, кто уже в наше время чинит препятствия для доступа общественности в партийные архивы и архивы КГБ, где такие документы о преступлениях режима имеются.

*Владимир Запецкий*

3.02.90

Р.С. В феврале месяце меня разыскал сотрудник «Московских новостей» Г.Н. Жаворонков (последние его публикации связаны как раз с темой репрессий, мест массовых захоронений и т.д.). По его просьбе 30.02.90 я передал в редакцию материалы по колпашевскому захоронению. Однако Егор Яковлев (как видно, полностью поглощенный идеей создания «Русского курьера») от какой бы то ни было публикации на эту тему воздержался.

23.04.90

**ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО**  
(но не для советской печати)  
Владимиру Максимову

Уважаемый Владимир Емельянович!

Прочитал интервью, данное Вами корреспонденту «Известий» (№12, 4 мая 1990 г.).

Сам факт В а ш е г о интервью «Известиям» меня огорчает, с некоторыми политическими оценками не могу согласиться. Но поскольку я не преследую цели завязать полемику, это не является причиной настоящего письма Вам.

Необходимость его заключается в некорректности, как мне кажется, : одной допущенной Вами аналогии при обсуждении проблемы Прибалтики: «Когда мне говорят о несправедливости экономических санкций правительства (а вы знаете из моей биографии, что я не поклонник ни этой системы, ни правительства), я считаю это общепринятой экономической мерой в мире. Когда в Никарагуа приходят к власти сандинисты, США тут же устраивают экономическую блокаду».

Действительно, экономические санкции в мире существуют. Но остаются в рамках международного (да и просто человеческого) права, если применяются одной независимой страной к другой независимой стране.

Допустим, США не признают сандинистское правительство, но признают независимость Никарагуа, не считают ее одним из своих штатов и не держат в Манагуа свои войска. Тогда,

признавая за Никарагуа ее свободу, США оставляют за собой свободу не иметь с ней экономических отношений.

Другое дело с Прибалтикой. Москва не признает независимости Литвы, считает ее частью СССР, и по Вильнюсу грочнут советские танки. В силу такого препятствования свободе Литвы не стоит говорить о свободе Москвы не иметь с ней экономических отношений. В сущности, экономические санкции против Литвы есть продолжение о к к у п а ц и о н н о г о про-извола. Остается пожалеть, что для его оправдания может использоваться неудачная аналогия.

Вполне допускаю, что корреспондент «Известий» мог неправильно истолковать Ваши слова. Но в таком случае уместно привести выдержку из Вашего интервью: «Я им говорил, что нужно быть очень точными в формулировках, тем более, если вы занялись политикой. Политика – это минное поле. Если вы знаете, что вас неправильно толкуют, относитесь к каждой фразе с огромной ответственностью».

Помнится, на вечере в МГУ (14 апреля 1990 г.) Вам был задан вопрос о приемлемости сотрудничества с советской прессой (в частности, учитывая наличие в СССР политзаключенных). Вы ответили в том смысле, что считаете возможным выдать нечто вроде аванса советским властям. Боюсь, что своим интервью «Известиям» Вы им несколько переплатили.

С наилучшими пожеланиями

*Кирилл Подрабинек*

*Москва*

## НАША БИБЛИОТЕКА

В ноябре 1988 года совместными усилиями крупнейших самиздатских изданий была организована Независимая общественная библиотека. В создании библиотеки приняли участие: журнал русской христианской культуры «Выбор» (В.Аксючиц), политический еженедельник «Экспресс-хроника» (А.Подрабинек), независимый журнал «Гласность» (С.Григорьянц), «Бюллетень христианской общественности» (А.Огородников) и другие издания. С помощью этих независимых изданий была заложена основа фонда, который стал быстро расти. Однако в мае 1989 г. представителями КГБ и МВД библиотека была ограблена — были изъяты все ксерокопии книг и журналов. На восстановление фонда ушло полгода.

Задача библиотеки — сбор, хранение и предоставление читателям произведений, не издаваемых в СССР, книг и журналов, вышедших на Западе и не попавших (или изъятых) в фонды публичных библиотек Союза, неподцензурных периодических изданий. К началу 1990 года наш фонд насчитывает более 10 000 единиц хранения (около 400 читателей), в том числе содержит уникальные документы неформальных общественных организаций, программы партий и союзов, декларации и заявления. Библиотека располагает редчайшими самиздатскими журналами, выходившими тиражом 9-16 экземпляров («Обводный канал», «Эпсилон-салон», «Часы»), рукописями литературных и публицистических произведений (среди них — роман полэта Н.Байтова «Ад в шалаше», сохранившиеся лишь в одном экземпляре воспоминания А.Ф. о восстании зеков в Кунгуре, первые выпуски «Хроники текущих событий», рукописный сборник откликов на «Письмо вождям» А.Солженицына и др.). Мы располагаем редкими изданиями таких авторов, как Шестов, Бердяев, Лосский, Франк, Шопенгауэр, Флоренский, Розанов, Ницше. Раздел политологии представлен именами Конквиста, Козна, Авторханова, Джиласа, Геллера, Восленского. Библиотека старается наиболее полно представить авторов русской эмиграции — Аксенова, Войновича, Владимирова, Буковского, Бродского, Галича, Зиновьева, книги издательств «Ардис», «Посев», ИМКА-Пресс, «Серебряный век», ОРІ.

Библиотека комплектуется независимыми изданиями 8 филиалов в разных городах страны — Омске, Ставрополе, Петербурге, Ташкенте, Нижнем Новгороде. Фонд независимой периодики насчитывает более двухсот названий, пред-

ставляющих весь спектр общественного движения в СССР — от монархистов до анархо-синдикалистов, от «Памяти» до «Иргун Циони». Имея собственную точку зрения на процессы, происходящие в стране, и на пути выхода из кризисной ситуации, сотрудники библиотеки, тем не менее, не считают возможным руководствоваться в профессиональной деятельности политическими принципами. Для нас непреложны принципы объективности и внепартийности.

Существующее при библиотеке независимое издательство «Из глубин» воспроизводит в факсимильных копиях газету «Русская мысль», журнал «Посев», печатает выходящий на базе библиотеки журнал «Независимый библиограф», еженедельные обзоры самиздата, периодический реферативный сборник «Независимая печать в СССР». Сотрудники библиотеки проводят социологические опросы читателей, способствуют комплектованию независимой периодической крупнейших библиотек, ведут библиографический учет неподцензурной прессы.

В феврале 1990 г. в издательстве «Из глубин» вышел «Справочник периодического самиздата», в котором описано около 800 независимых изданий. Задача библиотеки — дать возможность читателям ознакомиться с каждым из них.

Руководство библиотеки осуществляется коллегиально: на абонементе читателей встречает Людмила Вдовина, комплектование и научную работу ведет Александр Суетнов, хозяйственную и издательскую деятельность обеспечивает Юрий Кушков.

Деятельность библиотеки основывается на положениях Венских и Хельсинкских соглашений, на праве граждан свободно производить и распространять информацию независимо от государственных границ. Конечная цель — способствовать распространению в нашей стране европейских и мировых гуманитарных ценностей, возрождению духовности, более объективному взгляду на существующий общественно-политический строй.

**Абонемент: 117321 Москва, Профсоюзная ул., 136-4-317, Вдовина Л.Н., 338 36 67.**

**Архив: 115551 Москва, Ореховый бульвар, 11, кв.150, Суетнов А.И., 391 88 20.**

**Контактные телефоны: 391 88 20 (Александр Суетнов), 409 36 42 (Юрий Кушков), 267 22 86 (Дмитрий Бродский).**

## НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ОРИ

Эстер Файн.

### ПО ДОРОГАМ, НЕ НАМИ ВЫБРАННЫМ

Картина будней Второй мировой войны и положения женщины на фронте, данная автором, поражает крайней бесчеловечностью отношений, безалаберностью командования, особенно высшего. Но мемуаристка не входит в обсуждение чисто военных вопросов. Она ярко и весьма убедительно рисует именно будничные быт войны. Просто рассказом о повседневной жизни автор показывает жуткую работу коммунистической системы, в которой отдельные лица не играют даже роли винтиков.

296 стр.

9.50 ф.ст.

Григорий Нилов (Александр Кравцов)

### ГРАММАТИКА ЛЕНИНИЗМА

«Тоталитаризм вполне убедительно доказал свою устойчивость хотя бы тем, что ни разу не был разрушен изнутри. Только снаружи... Идеологическая сила тоталитаризма и не стареет. Она лишь ждет своего места и времени очередного общественного разочарования. И тогда очередной ее неистовый пророк не упустит там своего звездного часа, как не упустил его совсем недавно аятолла Хомейни» (стр. 184-185).

212 стр.

8 ф.ст.

Дора Штурман

### МОЯ ШКОЛА

«Моя жизнь не была ни спокойной, ни свободной, ни богатой, ни громкой. Она была трудной, со многими бедами, опасностями и утратами... Моя жизнь целиком укладывается в эпоху утвердившегося существования советской коммунистической власти: я родилась в год ее шестилетия». Особый интерес вызывает картина жизни и работы советского учителя в деревенской средней школе.

150 стр.

7 ф.ст.



# КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## *В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ИСТОРИИ*

Хотя жанр новой книги Петра Паламарчука определен автором как роман, его сочинение имеет больше отношения к историческому сказу, нежели к роману в традиционном смысле слова. И не только по форме организации текста – роман открывается восьмой главой. Но к этому мы еще вернемся.

Действие романа начинается с того момента, когда главный герой Ваня-Володя, проснувшись после тяжелого подпития, вспоминает, что: а) от него давеча ушла жена и б) у него не осталось ни копейки денег. Герой Паламарчука обитает в коммунальной квартире, в центре Москвы, на Ивановской горке. Кроме Вани-Володи и его исчезнувшей супруги, в квартире проживают некто Катасонов и Евдокия Васильевна Лощёнова, старуха. По случаю безденежья Ваня-Володя соглашается продать соседу Катасонову за тридцать рублей свой гоночный велосипед (Ваня-Володя – бывший велогонщик). Катасонов под предлогом опробования велосипеда исчезает, а Ваня-Володя, пока суд да дело, решает отправиться на поиски ушедшей от него жены Веры. Выйдя из дому, герой оказывается среди участников местного краеведческого кружка, которые совершают экскурсию по Ивановской Горке. Ваня-Володя присоединяется к экскурсантам, и таким образом начинаются похождения героя по Ивановской горке, одного и со случайными (хотя, конечно, не случайными) спутниками.

Хождение Вани-Володи по Ивановской Горке в продолжение целого дня – метафора. География в данном случае есть метафора Истории, и хождение героя по московским улицам и переулкам есть путешествие в Историю. Ваня-Володя занят поисками собственной исторической памяти и восстановлением целостности собственного сознания. Перефразируя Пруста, роман Паламарчука можно было бы назвать «В поисках утраченной Истории». Шаг за шагом Ваня-Володя собирает и реконструирует, сначала подсознательно, свою утраченную память и, таким образом, идентифицирует свое сознание в контексте истории.

Изначально Ваня-Володя – безличностный, двуликий пьяница, и имя его тому соответствующее. Имя этот герой получил от своей жены Веры, по мнению которой, «нету еще такого имени, которое способно тебе без стыда передать в отчество детям. Так что не Ваня ты даже просто, а Ваня-Володя, двусмысленное существо бесфамильного состояния...» Двусмысленность и бесфамильность – следствие конфуза, неопределенности Вани-Володиного сознания, не только экзистенциального, но и онтологического. Если в синхронной оси Вани-Володино сознание дезорганизовано по причине слабости

воли и постоянного пьянства, то диахронная ось попросту отсутствует. Ваня-Володя – человек без истории и в результате того – человек без личности, так как первая формирует вторую. И потому во всей московской географии места он себе найти не может: «Велика лежала кругом Москва, жаль только, места для Вани-Володи в ней подходящего не сыскивалось: всё смотрело на него осуждающе и вчуже...» Но постепенно сознание Вани-Володи начинает проясняться.

В начале своего пути Ваня-Володя попадает в подземелье, по которому долго плутает. Можно предположить, что подземелье это – не что иное, как Вани-Володино подсознание, по лабиринтам которого герой вынужден пробираться, пока не станет возможен «свет» сознания. В итоге герой выбирается наружу и первое место, в которое он попадает, – синагога. В синагоге Ване-Володе встречается некто Джон Тейлор – он же Иван Портнов, книжный спекулянт, мечтающий эмигрировать. Ходит Портнов-Тейлор в синагогу, как он сам объясняет, чтобы «подсмотреть, как бы так приспособиться, чтобы везде, не только во времени, но и в пространстве, через любые препоны протекать без особых потерь». Ход интересный: как только сознание героя отделяется от тьмы крошечной подсознания, в направлении света и осознания Истории, первый соблазн, который подстерегает новое сознание, соблазн бежать за границу, которая в данном случае служит метафорой вне-Истории, отличной от подсознания не-Истории и сознания-Истории. Ваня-Володя подобный выход отвергает.

Восстановление утраченной истории – одна из главных целей автора, так как только через восстановление истории возможно выздоровление сознания героя. Паламарчук кропотливо, метр за метром, переулком за переулком, выбирает события, факты, имена. Материал свой автор знает досконально. Все, кого Ваня-Володя встречает на своем пути, от экскурсовода краеведческого музея до Тейлора-Портнова и Катасонова, передают ему, по мере отпущенного им на это автором времени, часть истории Ивановской Горки и вместе с тем – истории Российского государства, так что в итоге перед Ваней-Володей (и читателем) предстает картина если не законченная, то достаточно значительная.

Восстановление утраченной памяти происходит не только на уровне исторических фактов, но и на уровне русского языка. Язык – это та нить, которая связывает прошлое с настоящим и будущим; нить Ариадны, благодаря которой возможно выбраться из темного лабиринта «не-Истории» на свет. Язык Паламарчука – главное его богатство, и обращается он с ним соответственно: любовно, но и щедро. Текст полнится такими словами, как «раздрай», «красуля», «десна», «калита», «отклячить», «выя» и т.д., часто смущая читателя его (читательским) невежеством.

Паламарчук увлечен своим языком. Однако в этом увлечении кроется и опасность. Роман Паламарчука в итоге получается монофоничным. Все герои, и положительные, и отрицательные, говорят так или иначе в одной тональности, используя пусть необычный, но одной категории лексический запас, одни и те же синтаксические построения предложений. Порой трудно различить, где повествование ведет сам автор, а где его герои: «...отечественного извода знаток бабочек, и тоже крайне искусный словесник»; «тут уже, как из неисчерпаемой колдовской калиты, посыпались в народ подложные сказания об основании престольного града Руси на поганский вовсе образец»; «С издетства еще навык он гонять дни напролет по проселочным

тропинкам и мягкотелому под солнцем асфальту Подмосквья; позже, парнишкой с ломким гласом, записался в секцию на стадионе «Юные пионеры», куда ехать от них было по прямой Ленинградским трактом и... быстро стал делать приметные далеко за пределами прежнего узкого окоема успехи; «Вон видишь в окошко domeц на той стороне, выползший чуть не на мостовую, подмяв пешеходную тропку... Мы же с тобою, благословясь, запросто отхватим себе там по чебуреку».

В первом случае говорит сосед Катасонов, во втором – экскурсовод краеведческого кружка, в третьем – автор, в четвертом – Тейлор. Именно в силу этой монофоничности текста сочинение Паламарчука не является романом в традиционном смысле.

Из-за этой же монофоничности происходит определенная идеологизация всего текста. В данном случае это традиционно-почвенническая идеология русского возрождения. Сам Паламарчук выражает ее следующими словами: «Еще в XVII столетии поборник славянского единства Юрий Крижанич сделал этот выбор так: не в уподоблении Руси ветхому Риму, а в укреплении народных устоев великой славянской державы состоит ее сила и спасение». Если сама по себе идеология вполне допустима в художественном произведении, то отсутствие четкого идеологического разграничения на уровне языка придает тексту определенную тенденциозность: идеология превращается в эстетiku. Это, в общем, жаль, чисто с художественной точки зрения, так как Паламарчук, бесспорно, писатель первоклассный.

История Вани-Володи – это своего рода «rite de passage». В «Ивановской Горке», собственно, три сюжетных линии, три «истории»: история самой Ивановской Горки, история Вани-Володи и история Ваньки-Каина – бандита, доносчика и душегуба XVIII века. История Каина представляет как бы альтернативную сюжетную линию в романе. Он – как бы тот, кем Ваня-Володя (и любой из нас) мог бы стать (а кто-то и стал). Недаром ведь большевик Яков Юровский, «один из наиболее видных сибирских революционеров... руководивший в Екатеринбурге расстрелом царской семьи», был «мещанином города Каинска», названного так, согласно автору, в честь Ваньки-Каина. Каин – проекция всего отрицательного, что может быть в русском человеке; он Вани-Володина тень.

Помимо тени Вани-Володи – Каина, в романе есть и антигерой. Это – российское сектантство, вернее, его история, которая материализуется к концу повествования в фигуре Катасонова. (Страницы, посвященные сектантству, – из наиболее интересных в романе.) Катасонов оказывается не так прост, как может показаться в начале повествования. Катасонов, как и само российское сектантство, историю которого Катасонов знает досконально, в итоге предстает демоническим соблазнителем. Соблазн Катасонова и же с ним – соблазн гордыни, он же соблазн своеволия, сведший в преисподнюю треть ангелов во главе с Люцифером. В финальном диалоге Катасонов говорит Ване-Володе:

«Закрой на минуту глаза. Вот так. Представь хорошенько, что именно в эдакой тьме тебе предстоит впредь существовать и действовать – тебе и твоим детям. Сожмись покрепче, сосредоточься и начинай повторять: я бог сего мира, я князь сего мира, я господин всего мира и дух, владеющий мною, единственно правый...

Сейчас ты завис между почвой и небом. Самое время сделать решающий шаг. Вот тебе тридцатник, гильни еще разок, а потом затворись и созрей. До скорого».

В данном случае очевидно, что не только сектантов имеет в виду автор, вкладывая в уста антигероя подобные слова, но и российских коммунистов. Между первыми и вторыми существует определенная духовная преемственность: и тех и других гордыня привела к изуверству. И недаром в конце истории Ваньки-Каина предлагается свобода и власть в качестве скопцовского «бога», с одним условием – что он оскопится, т.е. станет «всемогущим» кастратом.

Ваня-Володя денег, предложенных ему Катасоновым, не берет, поскольку деньги эти – червонные серебрянники. Аналогия очевидна – вместе с велосипедом Катасонов предлагает Ване-Володе продать душу. Ваня-Володя отказывается от денег и в итоге обретает гораздо большее – веру. «И тут на всю жизнь у Вани-Володи отложились нескучеющая память о том, что он однажды безо всяких предшествующих препон, прямо уста к устам, прикоснулся к живому воплощению высшей мудрости света». И не случайно, что жена Вани-Володи, которую зовут Вера, возвращается к нему в тот вечер и идет из церкви, со свечой в руке, так как день, когда все это происходит, – «Великий четверток», Страстной Четверг. Войдя в дом вслед за женой, Ваня-Володя обретает вновь единство имени, т.е. становится просто Иваном:

«Стараясь не упустить из виду счастливый образ, он на цыпочках двинулся следом – но остаться незамеченным не сумел из-за грубиянской выходки двери парадного, которая, громыхнув позади с визгом и клетотом, отсекала навсегда от его личного имени постылый хвост теневого прозвища».

Вместе с верой герой обретает и целостность личности, целостность сознания. Он более не случайный пьянчужка с двойным именем и абсурдом в мыслях, но человек исторический, или, вернее, человек, осознающий Историю и, следовательно, принимающий в ней участие. И к нему, как и к самому автору «Ивановской Горки», в полной мере подходят слова Александра Пушкина: «Клянись чество, что ни за что на свете не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал».

*Антон Козлов*

## *ИГРА ПОСЛЕ МАТА*

В Древней Индии существовали особые правила шахматной игры, утерянные сегодня; они говорили о том, что настоящая игра начинается после мата. Мне часто хотелось представить себе – в чем вообще-то может

---

Парщиков А. М. Фигуры интуиции. Стихотворения. М., «Московский рабочий», 1989.

заключаться такая игра? По-видимому, в отсутствии правил. Пешка может стать королевой, а та может начать гонять пешек клюшкой для гольфа. Можно турой расколошматить офицера в щепы, а коня заставить скакать по клеточкам, как первоклассницу, играющую в классики... А то – заставить все фигуры водить хоровод, по кругу... Такая древняя игра напоминает ушедший от всех «измов», от всех правил постмодернизм, где литературе предоставлена полная свобода.

Распоряжаясь собой по своему усмотрению, литераторы уходят от сектанства, шкалы школ, доктринерства. Писатель может писать, как Флобер, если захочет, или как Гомер, или как Беккет. Больше нет абсолютного «мэтра», диктатора – такого, каким был для сюрреалистов Бретон.

Советское искусство в этом смысле все никак не может сократить дистанцию от убегающего горизонта – передовой линии современной тенденции. Хотя наибольшее приближение к постмодернизму Запада наблюдается у российских метафористов, одним из лидеров (опять-таки лидеров!) которых можно считать поэта Алексея Парщикова.

«Фигуры интуиции» – его первая книга, которая уже предваряется доброй славой и интересом знатоков.

Этот сборник с постимажинистским названием по своему художественному темпераменту явно тяготеет к индивидуализму вне школ. Поскольку, на мой взгляд, метафоризм не может быть назван школой, как и гораздо более абстрагированное понятие – социалистический реализм.

Иероглиф соцреализма можно расшифровать как взаимодействие литературы с социумом – средой человеческого обитания – в целях воздействия на этот социум и достижения таким путем идеального общества, которое называется утопией, как всем хорошо известно. Попытка создания выдуманной реальности, вторжения вымысла, литературы в реальный мир, где течет время... (Впрочем, об этом уже говорилось – и говорилось немало.)

Что касается поэзии метафористов – то тут речь идет об использовании одного из основных тропов художественной речи. Метафора есть, по определению Аристотеля, перенесение имени или с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид – или же по аналогии. А еще Аристотель полагал, что «слагать хорошие метафоры – значит подмечать сходство» в природе.

Согласно этому определению Аристотеля, Алексей Парщиков как раз и может быть взят за образец такого тонкого умения пользоваться метафорическими выражениями:

Ветер времени раскручивает меня и ставит поперек потока  
С порога сознания я сбегаю ловец в наглазной повязке  
герои мои прячутся в час затмения и обмена око за око

ясновидящий спит посредине поля в коляске  
плоско дух натянут его и звенит от смены метафор...

Можно сказать, что образ, метафорическое выражение в этих стихах раскрывается, как пластины веера. Разрастается, обрастает вариациями виденья. Малая часть пейзажа становится крупной – как группа голов в окуляре бинокля, при разглядывании толпы, похожей на лягушачью игру для небооруженного глаза...

Глаз Парщикова – вооружен. Благодаря своему обостренному виденью поэт дает образное подобие и сложным, и простым жизненным явлениям – на протяжении строки, строфы, а то и поэмы.

За основу может быть взята метафора ходовая, почти бытовая. Такая, как выражение «прозрачная причина»:

Темна причина, но прозрачна  
бутылка пустая и петля,  
и, как на скатерти змея,  
весь замкнута и однозначна.

Общезвестная метафора может быть затем развернута. Такой общезвестной развернутой метафорой служит у Парщикова в стихотворении «1971 год» выражение «обратная связь»:

...пейте, партнеры, за эту обратную связь!  
Как зеркальная бабочка между шпаг,  
воспроизводится наша речь,  
но самим нам противен спортивный шаг,  
фехтовальные маски, токарность плеч;  
над колпаком блаженства дрожит модель,  
валясь на раздробленную постель.

Поэт берет метафоры для начала в прямом смысле. И в дальнейшем эта метафора может приобрести очертания внеобразного предмета. Реализацией привычной, бытовой метафоры может оказаться сдвиг – новое осмысление – и порой с гротескным, даже с юмористическим оттенком. На этом приеме в сборнике «Фигуры интуиции» построено немало:

От поясов идущие, как лепестки, подмышки бюстов,  
бокалы с головами деятелей...

.....

Как будто лепестки игрушечной Дюймовочки,  
подмышки бюстов – лопасти...

В плане развернутых гротескных метафор у метафористов, конечно, же, предтечи – конструктивисты. Но, в отличие от них, метафористы избрали себе в королевы Аллегория – повелительницу метафор. Ее величество Аллегория облакает уже не конкретный образ, а отвлеченную идею – притом в виде образа столь же конкретного, столь же отчетливо представляемого, как старинные символы: крест – вера, якорь – надежда, сердце – любовь, а череп с костями – смерть.

На таком вот последовательном метафорическом ряде чаще всего выстраиваются аллегоричные поэтические образы в стихах А. Парщикова:

Кто убит наповал, выпадает из сечи, как батарейка, выкатываясь  
из гнезда,  
и разряжается в землю, и восходит над Ворсклой неназванная звезда.



## «ПОЭТ – У ДРЕВА ВРЕМЕНИ ОТРОСТОК...»

С неким вийоновским запалом, пытаюсь определить квинтэссенцию подлинного поэта, а также, возможно, желая набросать штрихи к собственному воображаемому портрету, Вероника Долина декларировала:

Поэт – у древа времени отросток,  
Несчастный, но заносчивый подросток.  
Обиженный, но гордый старичок.  
Кусок коры и ветка, и сучок.

Поэт – у древа времени садовник.  
Босой как нищий, важный как сановник.  
Носящий на груди своей беду,  
Прозящий: «Подожди!» свою звезду...

Времена, когда это писалось, сейчас называются лукаво – «застойными». Бывает ли в литературе, культуре застой, или, может быть, это понятие скорее относится к другим областям жизни? Думаю, да. Тем не менее, «застой» в самом деле сказался и на ее судьбе. Известная многим в стране как одна из талантливейших молодых исполнительниц «авторской песни» – Вероника выступала и у шахтеров Норильска, и перед рабочими в Сибири, и у моряков Дальнего Востока, и в новосибирском Академгородке, участвовала во многих московских и ленинградских вечерах, песни ее широко распространялись в магнитофонном самиздате, – она словно не существовала в литературе. Газеты и журналы обходили ее творчество глубоким молчанием. И потребовалось немало лет терпения и большого труда до того момента, когда (в 1985 году) фирма «Мелодия» наконец предложила Веронике записать первую пластинку, которую теплым предисловием благословил Булат Окуджава. Вскоре в Париже вышел небольшим тиражом и первый поэтический сборник Долиной, оставленный на основе самиздатских текстов и записей, попавших на Запад. Как это нередко случается, пробитая во льду брешь стала разрастаться. Поэтесса получила возможность выпустить новые пластинки, первые – на сей раз уже в отечестве – сборники: в 1988 году в издательстве «Московский рабочий» была опубликована книжка «Моя радость», годом позже – в Таллинне, в издательстве «Ээсти раамат» вышла другая – «То ли кошка, то ли птица». Тиражи этих изданий, хотя и превышали парижский, были также очень скромными и, быстро разойдясь, превратились в своего рода литературные редкости. Между тем, Вероника Долина подготовила еще один, на сей раз, похоже, самый представительный свой сборник, назвав его «Воздухоплаватель», который выпустила (благо такая возможность появилась) за свой счет в Москве.

---

Вероника Долина. Воздухоплаватель. Стихи. М., «Книжная палата», 1989.



«Стихи мои очень связаны с фабулой моей жизни, раньше были совсем буквальны, тем не менее...» – говорит она. Предварив новую книгу небольшим вступлением, поэтесса так повествует о начале своего творческого пути:

«Мне было лет около шестнадцати... Вот и первые стихи. Привычное дело. Правда, оттенки были сразу – стихи явились крошечные размером и почему-то с мелодией. Я наигрывала себе на пианино, но голос звучал резко и неуверенно, был какой-то странно-низкий... В общем, не слишком обязательным было это... Немного позже пришла гитара. Настоящий музыкант, известный гитарист Андрей Гарин пять раз пришел ко мне домой и дал мне пять уроков – первые аккорды. И я сыграла "Дома без крыш" Новеллы Матвеевой и "Пилигримы" Клячкина на стихи Бродского. Андрей поцеловал мне руку, жутко смутив меня, сказал: "Дальше – сама" и пропал. С тех пор я "сама".

Потом была «Девушка из харчевни», снова Новелла Николаевна. Боже мой, без этой песни я – никто. Потом из каких-то осколков, обрывков тетрадок выплыли "...она меня не щадит...", "...в троекратном размере болтливость людская...", "...и, конечно, уже не вернется..." и еще, и еще, и еще...»

В этом признании, как мне кажется, содержится один из главных ключей к пониманию долинского творчества – все оно словно вырастает из того древа российской поэзии конца 50-х – начала 60-х годов, отростком которого – пользуясь ее образом – и почувствовала себя Вероника. Новелла Матвеева и Булат Окуджава стали при этом ее главными учителями и как бы духовными наставниками.

Тем не менее, к чести поэтессы, она не пошла по пути каких-то заимствований у старших мастеров – поняла: только непосредственное обращение к жизни, к окружающему миру может дать ей возможность найти себя, выразить свое отношение к людям, к реальности. Позднее такое ощущение представителя «иной» эпохи она сформулировала: «Мы не дети Арбата, мы пришлись на другие года...» Но видя себя скорее среди той московской интеллигенции, что выросла в новостройках Бирюлева и Тропарева, «меж Кузьминок недвижимых, среди Лосинок неближних», Долина все же осталась верной своей родной Сретенке, Чистым прудам, то есть тому старому городу, который вошел в ее биографию и сердце с детства. Не случайно поэтому, как мне кажется, своеобразным визуальным мотивом в «Воздухоплаватель», рядом со стихами, проникнутыми нежной любовью к знакомым местам, к «пирожкам с капустой», которые когда-то покупались на улице («Где ты, райский аромат?») и т.п., поместила Вероника свои фотографии на фоне обшарпанных стен и подворотен московских домов. В этом мире – она своя.

В самом деле, тема Москвы – одна из наиболее острых, типичных для Долиной. Пишет ли она о стариках с авоськами, или погружается в воспоминания о Высоцком, Галиче («...и все-таки жаль, что нельзя Александра Аркадьевича нечаянно встретить в метро "Аэропорт"») – вечно своеобразный ореол столицы мерцает над их силуэтами. Конечно, «время мчится, как лихой всадник», и «жизнь сама – недлинная повесть» – понимает поэтесса, но:

Дело не в водоворотах,  
А опять во мне одной...

Уж не знаю я, что есть родина,  
Но никто меня не украдет,  
Ибо Сретенка – это родинка.  
Это до смерти не пройдет.

Впрочем, постоянно варьируя тему «малой родины» – родинки, Вероника в последние годы все чаще пытается определить для себя и, так сказать, параметры родины «большой». Поэтическая география ее при этом, правда, остается ограничена очень личным опытом: Крым, таллиннский парк Кадрнорг, Клин, где жил Чайковский («Подержи меня в плену, старая калитка!») – уголки, освещенные воспоминаниями о радостных и печальных встречах, она любовно, как слегка пожелтевшие снимки, вставляет также в свой интимный альбом. Но обращение к дорогим местам рождает у поэтессы как бы новое, порядком выше, ощущение – нет человека вообще равнодушного к своей земле, к тому или иному обжитому уголку. Отрыв от своей почвы – страшен, трагичен. Свидетельница растущего потока эмиграции из страны, к тому же провожающая в дальний путь близких и друзей, она словно неожиданно для себя – и, как мне кажется, первой из поэтов своего поколения – поворачивается к теме эмиграции. В, увы, не вошедшем в «Воздухоплаватель» стихотворении «Караганда – Франкфурт», одном из лучших произведений данной темы, возникают перед читателем, слушателем (песню эту Вероника сейчас исполняет довольно часто) печальные фигуры коренных немцев, бросающих прошлую нищую, но привычную жизнь в стране, где родились и выросли, и отправляющихся в неизвестную Германию... Печалью и болью пронизаны долинские «Эмиграция», «Московские новости», «Друзьям», «Не пускайте поэта в Париж», включенные в «Воздухоплаватель», так же, как прекрасное «Серая Шейка», где трагедия близких переживается автором как собственная:

Семья улетает. Прощайте, прощайте, семья!  
Меня угнетает, что сестры сильнее, чем я.  
Взлетай, неумейка! Мне это с небес донесло.  
Я Серая Шейка, и мне перебили крыло.

Гляжу близоруко, гляжу безнадежно во мглу.  
Но я однорука и, значит, лететь не могу.  
Счастливо, счастливо, кричу я вдогонку семье.  
Тоскливо, тоскливо одной оставаться к зиме...

Читая такие строки, невольно как бы приходишь к известной мысли о том, что всякий подлинный поэт совершает путь, ведущий его, с одной стороны, к самосовершенству, к познанию собственного «я», а с другой – к определению своего места на земле, в обществе, когда первый – уводит в почти неизбежное состояние одиночества, второй же – заставляет сохранять и даже углублять свои корни в окружающей среде и, как выразился однажды о сходной ситуации Иосиф Бродский: «Требуется незаурядная трезвость сознания и немалое усилие воли, чтобы удержать эти быстро расходящиеся концы ножиц». Страницы «Воздухоплавателя», в общем, в значительной степени проникнуты и таким ощущением разрыва, и стремлением удержать

некое единство. Примеры мужественной собранности при этом вырастают у Вероники то в образе Жанны д'Арк, то Марины Цветаевой. Прекрасен монолог, с которым она мысленно обращается к последней, сохраняя дистанцию глубокого почтения к одной из самых трагичных в русской литературе женских фигур и в то же самое время с чувством достоинства декларируя свою кровную связь с ней:

От твоего дома – до моего сада.  
От твоего тома – до моего взгляда.  
От моего чуда – до твоего чада.  
От моего худа – до твоего ада.

От моего Клина – до твоего Крыма.  
От моего сына – до твоего сына.  
От твоего гроба – до моего хлеба.  
От моего нёба – до твоего неба.

От твоей соли – до моей силы.  
От твоей боли – до моей были.  
От твоей Камы – до моей Истры.  
Твоего пламени – все мои искры.

Сочетание нежности и твердости духа, глубочайшая женственность характерны для многих стихов Долиной. Но если в своих первых книгах она подчас как бы культивировала особенность женской судьбы («Снежная баба», «А хочешь, я выучусь шить?..», «Ах, дочка! О чем ты плачешь?..», «Когда б мы жили без затей...» и др.), то в «Воздухоплателе», как мне кажется, эта тенденция пошла на убыль, острее обозначились попытки коснуться более широких тем, запечатлеть бег своего времени. «Памяти Д.А.Хармса», «Виртути-Милитари», «Из истории», «Все менее друзей, все больше экстрасенсов», «Прощай, – говорю себе...» – характерны в этом отношении. Конечно, как и прежде, поэтесса не расстается в новой книге с привычными символами – летающими или рвущимися в полет домами, людьми (не случайно даже название сборнику было дано соответствующее – «Воздухоплатель!»), музыкой, огнями. Спросив Веронику об этом как-то, получил я такой ответ: «Огни, полеты и музыка – мне кажется, это атрибутика каждого, кто пишет лирику. Это, так сказать, атавизм шаманства, это то, что околдовывает. У поэта поющего – это вообще предметы первопланыые...»

Знаменательно, тем не менее, что, активно пользуясь подобным словом метафор, она никогда не стремилась и не стремится усложнить главную мысль. Синтаксис ее также был и остался предельно прост. «Я расположилась, очевидно, между авангардом и традицией, и все же – чуть в стороне. Звук, слово, знак мне чрезвычайно важны, но язык чувства еще важнее», – признается она.

Что же стоит за этим определением – «звук чувства»? Читая «Воздухоплатель», разбитый на циклы «Пусть буду птицей», «Средневековая юность моя», и «Все мои искры», составленные из стихов, как ранее уже опубликованных, так и новых, – признаюсь, я не мог отделаться от ощущение

ния, что и в самой композиции книги, и в отборе представленных произведений проявилась некая новая для Вероники тенденция. Как-то отчетливее выступили – тревога, надломленность...

Из улыбки тяжелой, нервной  
Вижу трещину в самой крови –  
Незапекшейся, черной, венозной.  
И, пытаюсь в себе заглушить  
Нарастающий гул камнепада,  
Говорю себе: «Надобно жить!  
На краю этой трещины – надо».

Было бы, пожалуй, неверно говорить о том, что тема «тревоги» представляет в творчестве поэтессы нечто принципиально новое. Имела она место и ранее, скажем, в таких вещах, как «Мой дом летает», «Семь песен Жанны д'Арк», «Не боюсь ни беды, ни покоя» и др., – но там, пожалуй, не было все-таки такой обнаженной боли, надрыва, как в процитированном выше отрывке из «Трещины». Может быть, не столь остро, но достаточно откровенно свидетельствуют о каком-то обнажившемся болевом пороге и «Ирландская песня», и такие, к примеру (не единственному), строки:

Подыми забрало  
И шагай за гробом.  
Чтоб тебя пробрало  
Мертвенным ознобом...

Новый виток жизни? Состояние момента? Или выход наружу того потаенного, что всегда сжимало душу? Сложно, конечно, пока – на основании каких-то отдельных, пусть даже обращающих на себя внимание стихов – судить, насколько произошел (и произошел ли) сдвиг в мироощущении Долиной. Но он, безусловно, намечился, и в этом отношении «Воздухоплаватель» – не книга итога, а книга этапа.

*Виталий Амурский*

## НУ ЧТО ЖЕ ЕЩЕ МОЖНО СКАЗАТЬ О ПРИГОВЕ?

Для того, чтобы пояснить некоторую истеричность этого заголовка, сошлюсь на статью в новом для советского читателя журнале «Флэш арт» (№1, 1989) о том же весьма ярком персонаже сегодняшней московской литературно-художественной жизни, называвшуюся «Что можно еще сказать о Пригове». К ней можно было бы присовокупить и то немалое число

---

Д. Пригов. Слезы геральдической души. Стихи. М., «Московский рабочий», 1990. (Серия «Анонс»).

публикаций – все о нем же, о Пригове, и все его же, Пригова, – появившихся за последнюю пару лет в различных советских журналах и альманахах. Что касается этой статьи, то поводом к ней послужил недавний выход его первой небольшой самостоятельной книжки стихов «Слезы геральдической души».

Для читателя эмиграции, давно отвыкшего от московского свежего воздуха и привычных московской интеллигенции игр и развлечений, автор этот, возможно, знаком недостаточно хорошо. В Москве, однако, имя Дмитрия Александровича Пригова способно вызвать целую бурю эмоций и цитат у самой различной публики – от той, что предпочитает проводить жизнь в литературных салонах, именуемых на новоречи эпохи перестройки «тусовкой», до той, что вынужденно проводит ту же жизнь в курилке какого-нибудь НИИ. В «доперестроечные» годы, когда культура андерграунда действительно пребывала в глубоком подполье (впрочем, настолько ли уж глубоко? – боюсь, глубина эта сильно преувеличена, иначе андерграунду вряд ли удалось бы так скоро выбраться на поверхность и так удачно «встроиться» в культуру официальную), московский самиздат был буквально переполнен маленькими машинописными книжечками его текстов – Призывов, Обращений, Рассуждений, Стихограмм, Новых книг и т.п. Поэтому его первый «официальный» сборник способен вызвать у читателя, хоть сколько-нибудь знакомого с плодovitостью этого автора и вообще с его творчеством, некоторое недоумение своим скромным объемом: он состоит только из двух разделов: «Слабые стихи» и «Сильные стихи» – и включает около сорока стихотворений.

Мне могут возразить: дескать, в сборник могли войти наиболее интересные и репрезентативные для данного автора произведения, наиболее сильные его тексты. Но уже сами названия обоих разделов книги – «Сильные» и «Слабые» – своей ироничностью снимают это привычное читательскому уху (и глазу) противопоставление. Действительно, чтобы понять такого рода литературу, «включиться» в эту пугающую «не посвященного» в таинство концептуалистской поэтики (а эта литература и впрямь зачастую пугает, да еще как, традиционно мыслящего читателя), нужно представлять себе творчество такого «нового» автора по возможности гораздо более полно и знать не только эту небольшую подборку его стихов, вырванных из привычного им контекста, но знать, видеть и слышать (а подобная литература во многом рассчитана именно на то, чтобы ее читали или, точнее, и сполняли перед аудиторией) самые различные визуальные, объемные и манипулятивные приговские циклы, все его Вертушки, Окна, Банки, Мини-буксы, Гробики отринутых стихов и т.д. Поскольку эмигрантский, да и тот советский читатель, которого у нас принято называть «широким», очевидно, до сих пор не могли быть достаточно знакомы с такого рода явлениями нашей контркультуры, я попытаюсь взять на себя смелость по возможности его «объяснить» и прокомментировать.

Задача эта нелегкая, поскольку явление это имеет достаточно давнюю и непростую предысторию. Дмитрий Александрович Пригов, поэт и художник, признанный ныне лидер так называемой школы московского концептуализма, относится к той особой категории авторов, сформировавшихся и вышедших на предоставленную им тогдашней культурной и политической ситуацией сцену к концу 60-х – середине 70-х годов. Причем тот специфический тип мышления, который резко отличал их не только от «официально-

го» литературного фона, но и от того, что творилось тогда в литературе неофициальной, сформировался, пожалуй, не столько в литературной среде, сколько, в первую очередь, в среде изобразительной. Именно поэтому в едином ряду концептуалистов оказались Всеволод Некрасов, Лев Рубинштейн, Комар и Меламид, Илья Кабаков, Иван Чуйков, Владимир Сорокин и другие художники и литераторы (зачастую оба эти рода профессиональной деятельности совмещались). Всех их отличала общая рефлексивность по отношению к предыдущей традиции и восприятие ее как соединения условных языковых жестов и жанров. Что же касается того, что принято подразумевать под понятием некоей реальности, то и она оказывалась для них чем-то вроде слоеного пирога, состоящего из различных языков описания, находящихся по отношению друг к другу в состоянии постоянной борьбы и взаимодействия. Сам же автор, вопреки прежней «погруженности» в текст, «включенности» в его сюжетные коллизии и психологические нюансы переживаний своих героев, теперь оказывается как бы на значительном расстоянии от него, взяв на себя роль режиссера, работающего с этими различными языками.

Думаю, здесь было бы уместно привести слова самого Пригова, комментирующего эту ситуацию в одном из своих интервью: «Любой язык, объявившийся в своей зоне, начинает потом расти и являть свои тоталитарные амбиции. Он как бы хочет охватить весь мир, описав его в своих терминах. И мы, собственно, живем в эпоху такого вот рода взаимных попыток языков пожрать друг друга... Поэтому концептуализм, собственно говоря, выявляя логосы языка... пытается как-то обнаружить эти их тоталитарные амбиции; и смеховая реакция читателя или слушателя возникает на той грани, где данный язык выходит за границы своей аксиоматики, в пределах которой он истинен, и скатывается в абсурд». Именно это и обуславливает то обстоятельство, что одной из своих первоочередных задач концептуалисты видят расширение пространства художественного, вводя в него те языки (допустим, высокий государственный, бюрократический, язык идеологии, различные низовые языки и т.д.), которые до сих пор ему не принадлежали.

Увы, ограничения жанра короткой рецензии и страх утомить непривычного читателя обилием жестких наукообразных конструкций (но в этом-то и заключается специфика концептуалистского языка самоописания или самоинтерпретации) не позволяет мне продолжить эту лекцию о специфике московской концептуальной школы более подробно, тем более, что хотелось бы несколько слов сказать более конкретно о самом Пригове.

Основной принцип его работы – во всяком случае, как он сам его декларирует, – это работа с различными имиджами (именно это обстоятельство и не позволяет составить сколько-нибудь полное представление о нем как об авторе только по одному этому маленькому сборничку). Он может выступать и как автор социальных стихов и как автор сатирических; одно время он писал так называемые «женские» стихи, потом – «английские». Помнится, на недавней, весенней конференции по вопросам авангарда, проводимой Московским университетом (а теперь есть и такие конференции) Пригов поризил соскучившуюся аудиторию стихами «эротическими». Таким образом, «поймать» его как реального автора, а не автора-маску или автора-персонажа, можно, лишь держа в поле зрения не только одну конкретную

мизансцену, разыгрываемую в данный момент на сцене, но и всю сцену целиком, чтобы не оказаться очередной жертвой приговских мистификаций.

Стихотворения Пригова строятся как бы на нескольких уровнях, первый из которых – это уровень социального или бытового анекдота; второй – назовем его так – уровень конвенционально принятых поэтических «красот»; третий предполагает игру автора с текстом, различную степень его погружения или отстраненности от него; наконец, четвертый – уровень общих метафизических принципов. И каждый читатель (а их немало, аудитория приговских почитателей в Москве сейчас очень и очень велика) вправе выбрать себе именно тот из них, который покажется ему наиболее интересным или доступным. Каждый из этих уровней предполагает существование самостоятельного языка, который автор, по его же собственному признанию, пытается вывести за пределы истинности своего существования, сталкивая и одновременно замещая соседними языковыми пластами. И задача наблюдающего эту драму автора и читателя – угадать ту точку свободы, которая неизбежно оказывается на гребне их столкновений. На мой взгляд, способность улавливать эту точку свободы с достаточной степенью точности, дающая право свободного выбора, и является основным достоинством автора сборника «Слезы геральдической души». Надеюсь, ее сумеет оценить и тот читатель, который прочтет эти стихи впервые.

*Светлана Беляева*

*Москва*

## СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИСТ

### ВИДЕО · ИНФОРМАТИКА · СЕРВИС · ТОРГОВЛЯ

Советско-американское научно-производственное предприятие ВИСТ создано для реализации перспективных контактов советских и зарубежных партнеров в области науки, производства, образования, культуры и ремесел.

СП ВИСТ зарегистрировано министерством финансов СССР 4 декабря 1989 года под номером 1163 и осуществляет свою деятельность под эгидой Американско-советского торгово-экономического совета.

СП ВИСТ разработало собственную коммерческую стратегию, реализующую принцип: «Все для советских предприятий и организаций в США! Все для американских компаний и фирм в СССР!»

#### **В СССР:**

Внедрение передовой зарубежной технологии на транспорте, в сельском хозяйстве, в промышленности (концептуальная и системная проработка и материально-техническое обеспечение на условиях кредита).

Аналитико-прогнозные разработки в различных отраслях народного хозяйства, реализуемые в специализированных программно-аппаратных комплексах.

Производство и реализация кино-видео-телефильмов научно-популярного, документального и учебного характера.

Организация и проведение концертных и музыкальных представлений, художественных и прочих выставок, аукционов, производство музыкальной продукции.

Изготовление сувенирных, кустарно-художественных изделий и игрушек.

Организация обучения специалистов.

#### **В США и других зарубежных странах:**

Продвижение научно-технических изобретений и открытий советских специалистов.

Организация специализированных научно-технических и коммерческих семинаров в СССР для зарубежных компаний и фирм.

Производство и прокат рекламной кино-видеопродукции для зарубежных фирм и компаний.

Содействие в организации культурных центров, выставок и аукционов в СССР.

Продвижение товаров народных промыслов на зарубежный рынок.

Оказание консультационных услуг компаниям и фирмам, работающим на советском рынке.



## КОРОТКО О КНИГАХ

### ВЕСТЬ

*Литературный сборник*  
М., «Книжная палата», 1989

В 1989 году вышел из печати новый выпуск давно обещанного альманаха «Весть», в редколлегию которого входят В.Каверин, Д.Самойлов (оба – ныне уже скончавшиеся), В.Быков, Ф.Искандер, Б.Окуджава и др.

Из наиболее интересных произведений, представленных в «Вести», следует отметить рассказ Фазили Искандера «Абхазские негры». Не будем распространяться о достоинствах прозы Искандера, но заметим, что Искандер по праву считается одним из лучших прозаиков, работающих в Советском Союзе.

Как всегда, отраднo читать прозу Евгения Попова, в данном случае его повесть «Билли Бонс». Произведения Попова – скорее о русском языке, нежели о каких-то конкретных событиях или людях. Несмотря на отсутствие четкой (традиционной) структуры, Попов выигрывает именно со своим языком. Из так называемых «молодых» (давно уже не молодых в действительности) прозаиков Попов – один из наиболее интересных.

Также необходимо отметить рассказы Якова Гордина «Ночлег» и «Ночное погребение императора». «Ночлег» написан в духе гоголевско-гофмановского «фантастического реализма». Второй рассказ несколько иного плана – Гордин пытается передать размышления Пушкина во время изучения им документов, связанных со смертью императора Петра Первого.

Стоит обратить внимание и на рассказ Нины Катерли «Старушка неспеша...». Рассказ Катерли – пример советского «неореализма» (не боюсь этого затертого определения); чем-то напоминает прозу Ю.Милославского, скорее всего, качеством.

Булат Окуджава представлен повестью «Приключения секретного баптиста». Начало повести многообещающее: о попытке вербовки в МГБ в 50-е годы молодого журналиста из семьи репрессированных. Но конец, увы, как при резком торможении на красный свет: создается впечатление, будто автор хотел поскорее закончить однажды им начатое повествование.

Вениамин Каверин поместил в альманахе свои воспоминания-размышления о Шкловском, Горьком, литературных событиях 30-х годов. Воспоминания интересные, хотя с некоторыми оценками и суждениями Каверина согласиться трудно.

В альманахе также печатается повесть Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки».

Из стихов следует отметить подборку орловского поэта Вадима Ерёмкина. Стихи Ерёмкина, чем-то отдаленно напоминающие московских «барачников», – наиболее неожиданные из собранных в альманахе:

Авоська с помидором  
На ватнике дыра.  
Скончался под забором  
Еще позавчера.  
Никто его не поднял.  
Не бросился искать.  
Он полежал и понял,  
Что стало припекать;  
Что снова загалдели  
Живые кореша;  
Что умер в самом деле,  
Жива одна душа.

Также нужно обратить внимание на отрывки из поэмы Давида Самойлова «Последние каникулы», в которой попадаются чарующие строфы:

Превыше всех Россий,  
Америк, Польш и Англий,  
Мне мил дорожный ангел,  
Сказавший – не убий!

Александр Кушнер, к сожалению, представлен не самыми лучшими стихами, хотя и в том, что представлено, чувствуется замечательный поэт.

Несколько удивило появление в данном сборнике достаточно бес­связного и малоинтересного текста Эдуардаса Межелайтиса. Не говоря уже о том, что стихи его просто беспомощны и напоминают вирши школьника. Сомнительна также поэма В.Коркия «Сорок сороков», хотя, может быть, иные и сочтут ее интересной.

А.К.

*МИНУВШЕЕ*  
*Исторический альманах. Вып. 8*  
*Париж, 1989*

Вышел в свет восьмой том исторического альманаха «Минувшее», целиком посвященный вопросам истории отечественной литературы. В разделе «Воспоминания», которым открывается альманах, помещены мемуары Нины Петровской о литературной жизни Москвы начала века. Петровская, жена Сергея Соколова (Кречетова), редактора альманаха «Гриф» и владельца одноименного издательства, пользовалась широкой известностью в кругах московских символистов и была близко знакома с В.Брюсовым, Бальмонтом, Белым и др. В дополнение к мемуарам приводятся также письма Петровской, адресованные Ольге Ресневич-Синьорелли. В том же разделе публикуется текст выступления Ивана Гронского в ЦГАЛИ в сентябре 1959 года, посвященного так называемым «крестьянским пи-

сателям»: С.Есенину, Н.Клюеву, С.Клычкову, П.Васильеву. Гронский долгое время был одним из руководящих советских «литературных» функционеров – сначала председателем оргкомитета Союза советских писателей, позже – главным редактором «Нового мира». Несмотря на косноязычность Гронского и его очевидную политическую однозность, воспоминания интересны, так как являются документом эпохи и освещают взаимоотношения литераторов и чиновников с точки зрения чиновников, а подобное встречается нечасто. В конце публикации приводится также письмо П.Мансурова к Ольге Синьорелли, в котором Мансуров рассказывает об обстоятельствах самоубийства С.Есенина.

В разделе «Из истории литературной жизни» публикуются малоизвестные письма Бенедикта Лившица В.Брюсову, М.Кузмину, К.Чуковскому, Д.Бурлюку и др. Там же помещены письма Марины Цветаевой к Р.Ломоносовой, написанные Цветаевой в период между 1928 и 1931 гг. Документ примечательный, так как освещает чисто бытовые стороны жизни семьи Цветаевых в этот период. Интересны четыре письма В.Набокова редактору «Современных записок» В.В.Рудневу в связи с публикацией в «Записках» набоковского «Дара». Письма эти – «хроника литературных нравов» эпохи, однако вопросы, поднимаемые Набоковым, не утратили своей актуальности и сегодня. Завершается раздел подборкой писем И. и В.Бунинных к М. и М.Цейтлинным.

Раздел «Литература и власть» открывается статьей Н.Пунина «Революция без литературы», которая является ответом на статью Л.Троцкого «Внеоктябрьская литература». Текст статьи Троцкого приводится параллельно тексту Пунина. В данном случае статья Троцкого даже некоторым образом интереснее пунинской, так как дает непосредственное представление об «эстетических» воззрениях и оценках одного из главных «интеллектуалов» Октябрьской революции.

Статья Павла Нерлера «С гурьбой и гуртом» – попытка реконструировать последний год жизни О.Мандельштама. Статья полна деталей, вплоть до того, какие спектакли давались в Москве вечером 1 мая 1938 года, и номера тюремной фотографии Мандельштама. Самыми жуткими являются страницы, относящиеся к последним месяцам жизни Мандельштама в лагере; приводится даже стихотворение, написанное как будто Мандельштамом в лагере.

Раздел завершается публикацией писем И.Эренбурга Хрущеву, Сулову, Шостаковичу и другим в связи с публикацией мемуаров Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Также приводится текст внутренней рецензии, написанной А.Г.Дементьевым на шестую книгу мемуаров Эренбурга.

В разделе «Из истории духовных течений в России» помещены воспоминания Андрея Белого «Материал к биографии». Воспоминания Белого касаются его жизни в Швейцарии в 1914-15 гг. Главное внимание Белый уделяет хронике антропософского движения, участником которого Белый являлся.

*А.Смит*

Генрих Сапгир  
*Лица СОЦА. Стихи*  
*Париж, изд. «Афоня»*  
*совместно с Ассоциацией русских художников, 1990*  
*Илл. А.Хвостенко*

«Лица СОЦА» – таким названием, похожим на орвелловскую новоречь, назван сборник стихов Генриха Сапгира. Эта книга – уже третья по счету, выпущенная в Париже. В 1977 году издательство «Третья волна» выпустило «Сонеты на рубашках». Затем, во время приезда Сапгира в Париж в 1987 году, его стихи опубликовало издательство «Афоня». Крошечное издательство, которое предприняло попытку (очень удачную) – выпускать со скоростью листовки стихотворные сборники в подарок автору. Стихи Сапгира были первой ласточкой. Особенно радуются такой стремительности советские авторы. Издание стихотворного сборника советские издательства держат по многу лет. Особенно большие сроки существуют в отношении книг Сапгира: в отечестве их выпуск откладывается, затем от него по неясным причинам отказываются вообще... Всячески, кстати, лаская автора, объясняясь в большой любви к его стихам и приязни к нему самому... Я говорю о книгах для взрослых – ведь детские книги, написанные для заработка, уже сделали Сапгира (быть может, к его собственному удивлению) детским классиком, начиная с 60-х. Но вот его настоящие книги, которых (с тех же 60-х) написано уже на академическое издание, – все еще где-то в нулевом пространстве.

Поэт пишет именно книгами, большими циклами. Каждая – этап либо миропонимания, либо творческий (впрочем, одно без другого не живет). Итак, «Голоса» 60-х (из «Голосов» сделали тощую подборку в «Новом мире» за январь 1989-го). Затем – философское «Молчание», страстные «Псалмы», глубокие «Элегии», саркастически-онтологические «Сонеты на рубашках», «Московские мифы»... – труд непрерывный, беспросветный, где единственным движущим началом можно считать неутолимую жажду экстатической, божественной игры – ну, и долю оптимизма, конечно же.

«Лица СОЦА» – еще один опыт, новый этап творчества Сапгира. Уже начиная с суконно-страшно шуршащего названия: поэт использует в качестве рабочего материала шелк изуродованных слов. В качестве главной реалии – ложь окружающей действительности:

страна лжи  
что-нибудь скажи!  
–Образ Бож...  
Опять врешь!

Поэт решил здесь соскрести ту последнюю маску, которая многим сейчас кажется лицом. Его орудием в этой борьбе оказалась сатира, пародия, к которым он прибегает на протяжении всей своей творческой деятельности, а стало быть, и жизни.

Социализм – «обеспечу всех»  
С голым черепом  
Вечный Смех.

Поэт не столько пародирует реальность, не столько выворачивает действительность наизнанку, сколько ставит на место уже вывернутую действительность. Вымеряет по точному лекалу кривую существующих искажений. Оттого такая лирика кому-то кажется гражданской. Либо циничной, в пору «мучительных раздумий о судьбах своей родины», которым предаются сейчас в обязательном запланированном порядке. Иные видят в этих стихах китч, отрывку массовой культуры, частушку, чугунную, как утюг:

на лице повидло –  
любит себя быдло  
хорошо бы быдло  
само себе обрыдло

Нет нужды говорить положенные слова о мастерстве, нужном подборе понятий и страшных рифм с буквой «ы», «ыд» – как бы каменной отрывкой... Эти рифмы приоткрывают реальность, похожую на пустырь, усеянный тусклыми бутылочными осколками, под гниющей луной...

Иногда кажется, что стихи Сапгира все еще за железным занавесом. На авансцену их не пускает сама жизнь, которая отражается в них вернее, чем в самом прямом из зеркал. Приговор – лапидарен, как диагноз: «больной безнадежен». В стране не умерло Государство. Как чудовище, как некий Левиафан, способно оно потерять все свои отличительные признаки – хвост, каменный гребень, панцирь, наконец. И – уцелеть, приняв личину. Государство-чудовище-симулянт бородавки, присущие этому виду, выдает за язвы, нечто временное, излечимое. Таков взгляд и вывод автора «Лиц СОЦА».

В этой небольшой книжке стихов – несколько десятков вариаций на тему псевдочеловечности нынешних процессов в стране – и не только там, а и на Западе, в неких таких цивилизованных, «скандинавских» краях:

социализм  
с лицом доброй овцы  
как ощерится –  
волчья резцы

Сапгир не задумывается над судьбами страны – страна сама предстает ему в обличи грозном или грязном. Стихи при своей кажущейся плакатной сиюминутности никак не назовешь скоропортящимися. Впечатление не уходит. Зернами этих «свинцовых четок» оказалась не только издевка над несостоятельной попыткой реформ – но и издевка над соц-артом, в последние годы незаметно потеснившим в России соцреализм, который соц-арт якобы пародирует.

Поэт использует для своих стихов-сарказмов свой излюбленный метод сдвига, экспрессивной шутки:

лицом к стене  
и видеть сны...  
социализм  
с лицом стены

Написаны стихи свободным размером, как раешники; рифмы – тоже от скоморошины. Оформлена книга Алексеем Хвостенко, другом-стихотворцем. Как в свое время авангардисты 20-х, Хвостенко при оформлении пользовался шрифтами и надписями из арсенала советской пропаганды – делал коллажи из советских газет. Только, в отличие от своих предшественников, он заставляет этот графический аккомпанемент к стихам Сапгира звучать абсурдно: переставляет буквы, слова, меняет смысл надписей на прямо противоположный.

Перед читателем этой маленькой книжки – Россия, которой со стороны не понять из парадно-покаянных советских журналистических опусов. Быть может, единственной возможностью видеть обладают те, кто предпочел индивидуальное одиночество перед лицом общих чаяний. И Сапгир своими стихами говорит: сегодня, как и вчера, Россия живет промежуточными истинами.

К.С.

Антон Козлов  
*25 стихотворений*  
*Нью-Йорк–Париж, Imperial Fork Orchestra Books, 1990.*

Для громких времен, когда лишь шумных слышно, стихи Козлова тихи, камерны (слово напоминает одиночное заключение). Они не взрывны, не восхитительны, не филигранны; не непременно полнятся подспудной энергией языка, не поражают воображение гирляндой аллитераций и не удивляют гибкостью рифм. Это, в общем, жаль, потому что кому ж не нравятся фейерверки. Но сила двадцати пяти стихотворений в другом. Они берут свое своей интонацией, которая, за неимением лучших определений, и светла и грустна (и прозрачна, следовало бы добавить для сладости). Но вот, надо сказать, сладости в стихах Козлова нет вовсе, а есть определенная, уловимая горечь. Горечь эта, понятно, от обостренной памяти о собственных воспоминаниях, от нормального сознания памяти своей как ежедневного, будничного страха смерти. Говоря стихами Козлова:

У господ всегда есть слуги,  
кто-то с кем-то идет под венец,  
но нет никого в округе,  
кто сказал бы, что смерть – не конец.  
Или же, на менее меланхоличной ноте:  
Я дышу, живу,  
жду – случится абсурд,  
но не во сне – наяву  
свой покину сосуд.

В голове пожар,  
ветер вздохом с губ,  
стану я как шар,  
как квадрат, как куб.

27-летний автор живет в США, преподает антропологию в Гарварде; конечно, непросто и, наверно, тяжело поэту писать в стране, где никто не понимает его языка. Но одновременно и хорошо, потому что если ты один, то целый мир твой, и если ты жил в одном, а потом поселился в другом мире, но продолжал — или начал — писать на языке первого, то достигаешь острой остраненности, отстраненности взгляда и точности и необычности слова, а это мало кому удается: у одних нет возможности, у других желания, у третьих — храбрости...

К тому же если родной язык живее и незабываемей в гуще его растрепанных носителей, то большое все же лучше видится на расстоянии, особенно страна твоего рождения; мне кажется, что Антон Козлов правильно понял, что государство не может сделать лучшего подарка писателю, чем оставить его в покое. И находясь в покое, стихи можно заселить всем, что никому не подотчетно.

Короткий зимний день  
закончен. Молодежь из деревень  
в лесу, на озере проводит свой досуг.  
Вот юноши, обняв своих подруг,  
катаются по кругу на коньках.  
Беспечные, они забыли страх  
перед лесными волками, а те  
каток их окружили в темноте.

И по соседству разместить почти набоковский

Мир железных дорог,  
клетчатого полотна,  
пассажир доедает пирог  
за чтением книги «Война

и мир», пьет из кружки перно,  
курит английский табак,  
безразлично глядит в окно —  
все это только так,

для глаз любопытных отвод.

Стихи Козлова приятно цитировать. Я уподобил бы их ранним стихам замечательного американского поэта Уоллеса Стивенса — та же трезвость взгляда, сочетающаяся с грустной иронией, то же отсутствие сентиментальности и при этом абсолютная незащищенность перед окружающей его жесткой действительностью.

*Михаил Иоссель*

Дорогие мои соотечественники! Да, со-отечественники, ибо говорящие, думающие и молящиеся Господу на одном со мной языке — имеем одно Отечество, этим уже и дороги мне, смею надеяться на взаимность. С тем и обращаюсь к вам, братья и сестры! Вспоминая поэта: «...большое видится на расстоянии!», знаю, как больно вам каждой своей кровинкой, хранящей память о земле дедов, ощущать боль за землю, которая еще вчера была богата нутром своих недр, верой и талантом живущих на ней. И вот... растерзанная Родина сегодня. Беда! Беда в нашем доме! И продолжают уезжать из него лучшие сыновья и дочери, оставляя свою старушку-мать и калик братьев и сестер. Ветшает кровля, и дождь да солнце стирают лики с икон, нет уж больше мастеров, развалилась большая семья. Беда! Исчезают лучшие, а вместе — лучшее... Только наше соборное делание будущего дома, в котором жить и моим детям, только вместе и с братской любовью, с Верой и Молитвой и с Покаянием поможет с радостью в сердце жить в новом доме детям и внукам. Друзья! Мы тоже хотим вложить кирпичик в кладку этого дома, мы хотим собрать, возродить и записать духовную музыку наших народов. Наш проект назвали «Антология духовной музыки, имея в виду духовную музыку всех мировых религий. Сейчас над программой проекта работают специалисты и исполнители православной русской духовной музыки, ведутся переговоры с Московской хоральной синагогой и Армянской Церковью. Нас поддерживает журнал «Наука и религия», советско-американское предприятие VIST готово оказать нам поддержку.

Мы обращаемся к вам с предложением о сотрудничестве и с просьбой о материальной поддержке — для оборудования современной студии звукозаписи (а мы будем записывать лучших исполнителей классической музыки) по предварительным подсчетам необходимо четверть миллиона долларов. Неблагодарное и неблагоприятное дело просить, но просим у соотечественников и для Отечества, для культуры, для будущего. Мы также открыты для любых ваших предложений, готовы к обменам: идеями, визитами, гастрольными поездками, всем, что поможет возвести в сердцах наших и на земле нашей к двухтысячелетию Рождества Христова Храм Всех Святых мировых религий!

И да благословит нас на это Единосущий Господь!

С уважением и любовью

*Александр Котляр*

*СССР, Москва 111524, а.я.26*



## НАША АНКЕТА

### «Я СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР...»

*Беседа с главным редактором журнала «Новый мир»  
писателем Сергеем Залыгиным*

Ведет журналист Виталий Амурский



*– Если собрать всё написанное вами за многие годы, то я бы поставил эпиграфом к этому слова Радищева из «Путешествия из Петербурга в Москву»: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Вы не стали бы возражать?*

– Нет, не возражал бы. Но, понимаете, в разном возрасте в слово «уязвлена» вкладывается разный смысл. То есть я не возражал бы с такой поправкой, что я – это несколько человек, это целый ряд жизней. В каждой из них было что-то особое, что уязвляло. На памяти моей так менялась история, происходили такие огромные события, что порой мне самому трудно поверить, что всё это был я. Детство – там одно... Зрелые годы – другое. Представляете, я же помню Февральскую революцию, помню довольно отчетливо – она проходила по всей стране почти одновременно, а вот Октябрьскую, которая где-то там совершилась и продолжалась четыре года, – не помню... Помню хорошо НЭП, уже в 1929 году я поступил в техникум. Помню коллективизацию, в 1932 году я уже работал районным агрономом в Хакасской автономной области, на границе с Тувой. Помню предвоенные годы, когда был студентом

Омского сельскохозяйственного института, который закончил в 1939 году. Все события как в самой стране, так и за границей как-то отражались на нас всех. Скажем, каждый раз, когда немцы наступали на Европу – захватывали Австрию, чехословацкие Судеты и т.д., – нас, студентов, брали в армию, отрывали от занятий. Даже в последний год учебы, когда мы писали дипломы, нас вдруг недели на две или три отправили на военные сборы...

*– Все эти этапы вашей биографии, которые вы вспоминаете, указывают прежде всего на то, что вы жили в полной гармонии со своей эпохой, а была она довольно суровой...*

– Действительно, лет до пятидесяти я особой чувствительностью не отличался. Я работал, был всегда погружен в какие-то дела, находил в этом удовлетворение. Знаете, я начал работать с шести лет! Я был одним ребенком в семье, жили мы очень бедно. Родители у меня были недоучившимися интеллигентами, у нас, как помню, редко бывала какая-нибудь комната даже в коммунальных квартирах – чаще ютились мы по разным углам. Но все же жили мы какой-то хорошей жизнью! И позднее, когда я учился и работал, имея своих стариков на иждивении, мне это не только не мешало, но помогало...

*– Сейчас вы в основном продолжаете касаться внешних сторон вашей биографии. Тот же упомянутый Радищев, которого я процитировал, говорил о том, что чувствовала его душа. Внутренняя и внешняя биография человека могут не совпадать в параметрах.*

– Если попытаться разобраться как следует, то, думаю, в данном случае есть глубокая связь. В те годы, о которых я говорю, передо мной просто не возникало вопросов о том, что действительно происходит в нашем государстве и в мире, во взаимоотношениях между людьми. Все это пришло ко мне довольно поздно. Года до 1955-го я такие вопросы перед собой просто не ставил. Плохо или хорошо – другой разговор, но, например, даже 1937 года я не заметил особенно. Так случилось, что никто из моих знакомых или родственников не пострадал. Все страшное, о чем стало известно позднее и масштабов которого я тогда не подозревал, проходило от меня в стороне. Я

работал в гидрометеослужбе Сибирского военного округа, в бассейне Карского моря – и опять-таки жил своей работой. Так продолжалось и когда я преподавал в Омском сельскохозяйственном институте после защиты кандидатской диссертации в 1948 году. А вот когда я оставил кафедру, которой заведовал десять лет, и решил заниматься литературой профессионально (первая книжка рассказов у меня вышла перед войной, в 1941 году) – тут я начал уже размышлять о событиях, о нравах.

*– Такой переход к профессиональной литературе, видимо, требовал усилий?*

– Я занимался самообразованием. Допустим, если читал Успенского, то всего, если Решетникова, то всего. И так далее.

*– Говоря о переходе к профессиональной литературе, я имею в виду не только вопросы, связанные с освоением ее истории, ее внутренних залежей...*

– Конечно, литература помогала мне сопоставлять, думать. И эти сопоставления не были абстрактны. Скажем, как мелиоратор я оказался причастен к проблеме освоения целины, увидел, что решается она совершенно нелепо. Решается вопреки природным условиям, природным данным, не вписывается в них. Такое внутреннее противодействие породило соответствующее отношение к политическим лозунгам. Боль, тревога росли. Тот научный багаж, который у меня накопился, привел к тому, что я стал выступать как бы в противоположную официальной линии сторону. Большим делом в моей жизни явилась тогда акция против строительства Нижне-Обской ГЭС. Я когда-то работал в том районе, хорошо знал те места, представлял, какой огромный ущерб может быть нанесен Западно-Сибирской низменности, если она окажется затопленной. Под угрозой была территория, равная примерно Чехословакии. К тому же я представлял, сколько еще земли окажется потоплено грунтовыми водами. Действовал я тогда почти в одиночку, хотя позже у меня нашлись союзники. Проект этот не был осуществлен, а я почувствовал, что сделал важное дело. Причем речь шла не только о земле, но и о людях. Надругательство над природой – это же и надругательство над человеком.

*– То есть, если я правильно вас понимаю, литература пробудила в вас особый интерес к человеку, а тот профессиональный опыт, который вы имели, вызвал своеобразную цепную реакцию к проблемам общества в целом?*

– Да. При этом социальные противоречия стали и моими внутренними противоречиями.

*– В 1954 году в журнале «Новый мир» были опубликованы ваши очерки «Весной нынешнего года». Наряду с вышедшими в том же году «Районными буднями» Валентина Овечкина эта публикация вызвала огромный интерес, большие споры. Вас зачислили в первенцы «деревенской темы» или, как позднее стали говорить, «деревенской прозы». Как вы оцениваете данный эпизод своей творческой биографии?*

– Наверно, это был важный этап. Хотя сейчас написанное тогда мне не очень-то нравится. Но как факт творческой биографии эту публикацию я признаю. Впрочем, думаю, и для «Нового мира» эти очерки сыграли какую-то роль. Твардовский говорил мне тогда, что вот – впервые в истории русской публицистики мы открываем журнал (кажется, это был 8-й номер) такими очерками. Сейчас это делается запросто, и многое пишется значительно острее, а для того времени было иначе, и я понимаю теперь, какое большое значение Александр Трифонович этому придавал.

*– Постепенно в круг ваших писательских интересов вошли размышления не только об острых социальных и экономических проблемах, но также размышления о творчестве как таковом. Свидетельством тому – статьи о прозе Чехова, Платонова, других авторов. Чем это было мотивировано?*

– Вот уж этого я не знаю. Литературно-критических книг у меня написано более десяти. Работа о Чехове, о которой вы говорите, самая большая. Но я также писал о Гоголе, о Толстом, о Пушкине, о Златовратском, о Решетникове, обращался к венгерской и латышской литературе. Что интересно – когда пишешь о каком-то писателе, ты словно беседуешь с ним внутренне, находишься на равной ноге. Но с одними это получается, с дру-

гими нет. Допустим, Достоевский имеет для меня не меньшее значение, чем Платонов или Чехов, но написать о нем я не могу. Он как бы подавляет...

*– Проза вашего любимого Чехова импрессионистична на свой лад. Не случайно в ней есть некая переключка с живописью близкого импрессионистам Левитана. Я знаю, что вы вообще любите импрессионистов. Приезжая в Париж, спешите в их музей...*

– К сожалению, его закрыли!

*– Продолжая свою мысль, я хотел бы отметить вот что: как художник слова вы представляетесь мне скорее импрессионистом. Стремительное развитие сюжета, использование народной терминологии, окрашенной яркими тонами, – все это присуще вашему письму, вашему стилю. Нет ли в таком случае какого-либо внутреннего противоречия между тем, что вы любите, и тем, как выражаете собственную мысль, себя?*

– Понимаете, душа потребляет одно, а производит другое. Экспрессия диктуется хорошим сюжетом. Хороший сюжет я очень ценю. Вот сейчас читаю «Генерала и его армию» Георгия Владимова – великолепная вещь! Там на каждой странице происходит какое-то интересное событие, а стиль как будто совершенно спокойный. Мне это удивительно нравится. Вообще, я думаю, Владимов – это один из крупнейших русских писателей нашего времени. Говоря же о своем собственном языке, точнее, о языке своих героев, здесь все зависит от того, кто ведет речь. Если это мужик, то я стараюсь, чтобы это было именно по-мужицки, если интеллигент – то по-интеллигентски. Когда я начинаю писать, то в памяти восстанавливаю три-четыре фразы, свойственные той среде, которой принадлежит мой герой. Это как камертон, который мне необходим. Ну, а потом все пишется по аналогии. Между прочим, я сам был удивлен тому, что мне, кажется, дался народный язык, ведь в деревне за всю жизнь я прожил в общей сложности года полтора.

*– Только?! Как в таком случае можно понять следующие ваши слова – позвольте процитировать из статьи 1969 года*

*(«Интервью у самого себя»): «...видимо, наше поколение – последнее, которое своими глазами видело тот тысячелетний уклад, из которого мы вышли все и каждый. Если мы не скажем о нем и о его решительной переделке в течение короткого срока, кто же скажет?»...*

– Бывают такие ситуации, когда вы приезжаете к каким-то людям, в какую-то семью, живете с ними совсем недолго, а потом оказывается, что сохранили впечатление о них на всю жизнь. Допустим, вы, живя за границей, не видели родственников долго, но они приехали, и вы вдруг понимаете, что это – ваша семья, ваши люди, ваша кровь, это ваш язык. Точно так же со мной случилось в 1931 году, когда я оказался в Бельмесёво – эта деревня была недалеко от Барнаула. Это было колоссальное впечатление! Особенно в первые полтора месяца. Как сейчас я всё помню... И мои герои: Чаузов, Печура, Пилев – оттуда. Между прочим, когда я приехал в деревню, мне было плохо. Вот я вам говорил, что у нас городской квартиры никогда не было, а в деревенской избе мне было еще труднее приспособиться к ее быту, к тому, как люди едят, спят, ходят на двор. А все равно ощущалось это как свое. Мало ли что, если я не могу петь в хоре – от этого он не теряет для меня своей привлекательности.

*– Возвращаясь к проблеме языка, я хотел бы вас спросить: нет ли у вас впечатления, что при всей сердечности отношения к теме деревни, некоторые современные писатели как бы искусственно насыщают свою речь народной терминологией, которая уже почти не сохранилась в наше время. Ведь советизация проникла туда не только в виде изменения организационных структур, ломки старых отношений, но и в лексику. Нужно ли в таком случае некое искусственное культивирование языка?*

– Отчасти так. А что – Платонов не культивировал язык, что ли? А Толстой не культивировал? Да, задача любого писателя – культивировать язык, возвращать его. Андрей Белый, например, возделывал его в оранжерее, Твардовский на сельских дорогах, Распутин в крестьянской колхозной избе... Каждый в своей сфере. Я, например, считаю, что в определенный период Твардовский спас русский язык – в период Второй ми-

ровой вой-ны и сразу после нее, в период смешения народов, когда появилась масса новых понятий и казалось, что русский лексикон устаревает. Он оказался единственным крупным русским писателем, который показал, что на этом языке можно сказать все, обо всем, обо всех новых явлениях. Кстати, в 6-м номере «Нового мира», к юбилею Александра Трифоновича, у меня будет опубликована об этом небольшая статья.

*– Живое слово, которое у вас в начале каждой работы ищется как камертон, обладает своей особой музыкальностью. Надо полагать, что музыка также занимает важное место в вашей жизни. Вы могли бы что-то сказать о такой привязанности?*

– Думаю, что я не очень оригинален в этом отношении.. Для меня великими композиторами...

*– Нет, пожалуйста, не великих, а о близких вам душевно!*

– Это – Шостакович, Свиридов, Гаврилин. Очень люблю хоровую музыку, народную и церковную. По-моему, в ней всегда делаешь какое-то открытие. Если модерн привлекает вас извне, как бы сам надвигается на вас, когда вы его не ждете, – это одно. А когда вы, слушая, допустим, церковное пение, понимаете, что это в вас всегда жило вместе с каким-то историческим чувством, – это другое. Для меня это очень важно.

*– О вашем творчестве написано столько статей, столько разных специальных работ, что почти всякий разговор о нем рискует попасть на заезженную колею. Тем не менее, как мне кажется, остается еще немало аспектов, которые ждут своего освещения. Вот, скажем, проблема героя. В русской литературе XIX века возник и сформировался тип «лишнего человека». Хрестоматийно он предстал в образах пушкинского Онегина, лермонтовского Печорина, позднее гончаровского Обломова... В период становления советской литературы, утверждения так называемого социалистического реализма своеобразными антиподами «лишних людей» оказались герои Николая Островского, Серафимовича, Gladкова, Фадеева, Шолохова... Советские критики и литературоведы, писавшие о вашем творчестве, по-*

*ставили в ряд таких положительных героев и упомянутых вами Печору из романа «На Иртыше», и Ефрема Мещерякова из «Солёной пади»... Но так сложилась или – точнее – складывается ситуация, что в период переоценки ценностей читатель начинает понимать, что те бывшие «лишние люди» – отнюдь не лишние, а всевозможные «положительные герои» революции, гражданской войны и прочих «славных лет» укрепления советской власти – лишние. Именно они наломали таких дров, что дальше идти некуда. Не думаете ли вы, что, наделив своих главных персонажей тех книг многими позитивными качествами, совершили просчет?*

– Это довольно сложный вопрос. Нравственность как категория существует, проявляется в историческом, социальном контексте. Взять того же Гришку Мелехова – не он сам пришел в такую ситуацию, обстоятельства его привели. Такова история! Вот мой Мещеряков – он мне симпатичен, близок, как настоящий лихой сибирский мужик. Почему он выдвигается? Потому что пользуется уважением среди земляков. Объективные условия приводят к тому, что он становится вожаком. Но нравственный человек, оказавшись в безнравственной ситуации гражданской войны, – как он себя ведет? Он старается с наименьшими потерями нравственности пройти через это. Для него гражданская война – не возможность свести счеты со всем окружающим миром, а прежде всего задача – в безнравственной ситуации сохранить свою нравственность.

*– Нельзя не обратить внимания на то, что ситуацию гражданской войны вы характеризуете как безнравственную. Для ваших (невольных) литературных предшественников, о которых я упомянул выше, сам факт причастности героя к «красным» являлся своеобразным мерилom гражданственности, и в таком контексте гражданская война оказывалась событием именно нравственным. Не тут ли прошел водораздел, отделяющий вас от известных советских классиков?*

– Наверное... Может быть... Я об этом не думал. Но если это так – то это хорошо. Выбор или оценку исторического явления нельзя сделать произвольно, а герою и нужно дать свободу



выбора. И если мой герой выбрал в такой ситуации нравственный путь – я рад. Интуиция меня не подвела. И его тоже.

*– Шкала нравственных категорий все же, как мне думается, существует не только в каком-то конкретном историческом контексте, о чем вы заметили раньше?*

– Безусловно, существует еще одно самое нравственное из всех нравственных начал – это охрана природы и человека. Это вневременное чувство. В этом отношении, конечно, ни Онегин, ни Печорин не были «лишними людьми» – леса они не рубили, землю не затапывали, никого не уничтожали...

*– То есть уже в этом отношении оказались полезнее ряда «положительных героев»?*

– Конечно.

*– Вы заметили, что выбор исторического явления нельзя сделать произвольно, а герою можно дать свободу выбора. Как эти – один жесткий, а другой гибкий – лимиты конкретно соблюдаются вами в работе над материалом?*

– Все знают, допустим, чем кончилась война 1812 года или Вторая мировая война. Конечный результат известен. В этом своя ограниченность, которую с разных сторон изучает историк. Приступая к исторической теме, я тоже изучал материалы как историк. Но моя задача как романиста иная, поскольку мои герои не знают конечного результата, события. И я тоже не должен бы знать его, но лишен этой возможности. Поэтому я не довожу обычно дела до исторического финала – до победы или до поражения, я назначаю герою только его судьбу, его финал. Так, я знал заранее, что Мещерякова убьют в последнем бою, что Чаузова сошлют, но как именно это случится, я заранее не представлял. Это решение, этот путь подсказывал мне сам герой, прежде всего – его характер. Для писателя характер – это уже судьба. Также в «Комиссии» мне заранее было известно, что все герои погибнут, но каждый шел к гибели своим путем, и я вел их страница за страницей, не зная, что случится в ближайший момент, когда же наступит развязка. Литературные герои, в отличие от нас, прекрасно знают, когда они должны погибнуть или хотя бы оставить страницы книги. Нам надо у них этому учиться.

*– Также, наверно, было и с повестью «Наши лошади», где животные оказались нравственно выше людей?*

– Совершенно верно, и мне приятно, что именно так – верно – поняли это произведение, вызвавшее в свое время столько разных толкований.

*– Давайте сейчас вернемся к «Новому миру». Мы уже вспомнили о том, что в 1954 году именно в этом журнале состоялась важная для вас публикация очерков «Весной нынешнего года». Три с лишним десятилетия спустя, в августе 1986 года, вы стали главным редактором этого издания. Не кажется ли вам это в какой-то мере символичным?*

– Символика тут или случайность – не знаю. К «Новому миру» у меня, конечно, была старая, глубокая привязанность, и если бы мне предложили возглавить другой журнал, то я бы просто не пошел на это.

*– Хронологически это период, предшествующий «перестройке». Уже то, что во главе знаменитого журнала стал беспартийный писатель, представляется значительным. Согласившись на руководство им, вы поставили какие-либо предварительные условия Союзу писателей СССР или получили их от этой организации, от других инстанций?*

– Нет. Мне было важно только одно – чтобы никто не вмешивался в мои дела. Больше ничего. И в этом отношении проблем не было. Никаких директив я также не имел. Вообще сначала я предполагал, что останусь на этом посту года два-три, но, как видите, прошло уже больше, а я все еще не ухожу. За тот срок, который я первоначально себе наметил, мне хотелось прежде всего вернуть читателю Солженицына, Платонова, Пастернака. Сейчс это сделано, но возникают и возникают новые задачи.

*– С публикациями Солженицына, кажется, у вас все-таки имелись сложности?*

– Самым большим препятствием для этого оказался он сам. И вот почему: Александр Исаевич с самого начала поставил условием, что начинать печатать его нужно с «Архипелага» как с главной книги. Если бы такого условия не было, то романы «В круге первом», «Раковый корпус» можно было бы увидеть в

журнале года на полтора раньше, то есть такие публикации можно было бы начать весной 1988 года. Но он был против. Я даже думал, что это обычное, свойственное ему упрямство. Однако в конце концов я понял, что он был прав. Потому что если бы мы напечатали сначала эти романы, то потом нам могли бы сказать: «Ну, нельзя же всего Солженицына напечатать!..» Когда же первым был «Архипелаг», то это уже принципиальное явление. Все остальные вещи писателя уже не представляли трудностей для выхода в свет. Публикация «Архипелага» стала решающим моментом – с этого времени в Советском Союзе перестала существовать цензура. Кстати, догадайтесь, кто мог мне напечатать Солженицына?

– \_\_\_?!

– Главлит! И вот почему. К тому времени у этой организации уже не осталось каких-то запретительных функций, кроме охраны военных и прочих государственных тайн. Получая для знакомства наши материалы, Главлит был обязан лишь пересылать их в ведомственные цензуры (они сохранились), если считал это нужным. Причем, посылая тексты, скажем, военным, атомщикам и т.п., высказывал свое мнение – претензий с их стороны не имеется. Солженицын попал именно в число авторов, которых не требовалось предоставлять ведомствам.

– *Вы говорите, что цензура перестала существовать, но тут же отмечаете наличие ведомственных цензур!*

– Да, они сохранились, и вот от них-то я натерпелся... Но это все же другой вид цензуры. И с ней тоже можно бороться. Вы даже не представляете, сколько генералов перебивало у меня в кабинете. В связи с публикацией «Стройбата» Сергея Каледина. Но он тоже, между прочим, сам во многом испортил дело, вмешиваясь не в свои дела, подчас бестактно. Однако дело завершилось тем, что, внося незначительные поправки, причем сделанные самим автором, мы эту вещь все-таки напечатали. До того была очень и очень трудная история с публикацией «Чернобыльской тетради» Медведева – там против выступили атомщики. Схожая ситуация была с материалом Адамовича...

– *Солженицын в последние годы совершенно исчез из виду западных журналистов. Он не дает никаких интервью журналам*

*и газетам, его не слышно и не видно в радио- и телепередачах. Репутация «вермонтского затворника», которую он имел до начала перестройки (то есть с этого момента такое исчезновение приобрело совершенно удивительный характер) сейчас еще больше утвердилось за ним. Как вам удастся поддерживать с ним связи?*

– По почте, телеграфом. Работающий в «Новом мире» редактором Вадим Михайлович Борисов ездил к нему в Америку на целый месяц. Вместе они подготавливали публикации для журнала. Правда, надо заметить, что Борисов не случайный человек для Солженицына, а его давний друг. Александр Исаевич по русскому обычаю даже близкий родственник Борисова, так как крестил его детей. Борисов также крестный отец кого-то из детей Солженицына.

*– А у вас есть личные контакты с Александром Исаевичем?*

– Со времени его изгнания из страны я его не видел, но мы переписываемся. Не так часто, правда, но со своей стороны я отправил ему три-четыре письма, и от него получил примерно столько же.

*– Видимо, это не сугубо деловая переписка?*

– Нет. Это и литературные письма, которые когда-нибудь, думаю, увидят свет. Это очень интересные письма. Пишет он о том, что не мыслит своего возвращения на родину в качестве туриста. Хочет умереть у себя на родине. А я думаю – и это он знает, – что в своей земле он сможет когда-нибудь почивать, но не более того. Зачем сейчас об этом думать! Ему жить надо, и пусть живет и работает для русской литературы, для России!

*– Если я верно уловил смысл ваших слов, вы считаете, что возвращение писателя в СССР не принесет ему пользы?*

– Нет, если он приедет в гости – это будет замечательно. А вот действительно, если вернется сейчас в страну, то ему просто не дадут писать. Уже сейчас вокруг его имени, вокруг его жены, детей идет столько кривотолков, что все это просто выбьет его из рабочего режима. Куда более продуктивно он сможет писать в отдалении от всего этого. По-человечески мне так кажется... Но я не вправе давать ему советы, да, мне кажется, он их и не любит.

*– Все же встретиться с ним вам хочется?*

– Как же! Если он не придет к нам в ближайшее время, то сам поеду к нему, хотя я уже плохо в своем возрасте переносу перелеты через океан. Но также не представляю себе, чтобы наши отношения ограничились только письмами. Это моя мечта – увидеться с ним, поговорить о чем Бог на душу положит.

*– Сергей Павлович, Солженицын – огромное явление в русской литературе. И то, что ваш журнал смог вернуть его отечественному читателю, – заслуга колоссальная. Но, помимо всего, как вы знаете, русская литература на Западе существовала прежде и существует теперь. Как вы относитесь к этому пласту культуры, какие произведения представляют для вас особый интерес?*

– Видите ли, я не рассматриваю «Новый мир» как место, где можно просто заниматься разного рода перепечатками. Мы не печатный станок. Вот, допустим, напечатали мы Набокова. Что мы выбрали? Его эссе о Гоголе. Эта вещь до нас никогда не выходила по-русски. То есть мы перевели ее и тем самым как бы впервые открыли русскому читателю. Пьеса «Происхождение Вальса» Набокова тоже была среди малоизвестных его вещей, когда-то, очень давно печаталась в Париже, в русском журнале, и стала редкостью. Нам этот факт был интересен. Перепечатанный роман Платонова у нас оказался в более полном виде, чем он вышел на Западе. У дочери Платонова мы нашли произведение с несколькими разными финалами. Причем нам было важно не только дать эти версии, но и сопроводить их литературоведческим комментарием. «Доктор Живаго» Пастернака у нас был издан по существу в новой редакции. Дело в том, что, когда Пастернак получил первое русское издание, вышедшее в Италии, он внес в него 632 поправки. Этот пастернаковский экземпляр мы и положили в основу своей публикации. То есть наш журнал стал своего рода научным институтом, где проводится огромная работа. Мы не полиграфисты, а литературоведы – вот в чем дело. И такая работа встречает интерес читателей. Еще бы не так, если наш тираж – 2,7 миллиона экземпляров, а в нашем портфеле – три тысячи рукописей.

*– Это в том, что касается произведений писателей, уже покинувших нас. А из тех, что сейчас продолжают работать?*

– Состоялась публикация стихов Бродского (и еще собираемся опубликовать). Это было важное событие. Я очень хотел получить «Генерала и его армию» Георгия Владимова и был огорчен, узнав, что он уже согласился опубликовать эту вещь в другом журнале. Я не могу сказать, конечно, что очень хорошо знаю русскую зарубежную литературу. Возможно, что-то упускаю из виду. Но нынешние русские писатели-эмигранты сейчас часто оказывают на меня такое давление, что я вынужден ему противиться. Они энергичнее, чем наши живущие на родине. Шлют рукописи, звонят, требуют, приезжают... Говорят: «Пока вы меня не напечатаете, не поверю, что у вас перестройка!» Как будто такая сентенция имеет какое-то значение.

*– Вы могли бы назвать имена таких авторов?*

– Не надо пока их трогать. Но, поверьте, месяца не проходит, чтобы ко мне кто-то не пришел, выложив на стол стопы своих книг, изданных на Западе. «Там издают, вот и вы должны!»

*– Извините, но мне кажется, что такой уход от ответа может посеять недоразумения. Неприятная тень может упасть на писателей, поэтов, чья репутация как будто никогда не вызывала сомнения! Скажем, вы не причисляете к такому ряду ни Максимова, ни Бродского, ни каких-либо авторов, тесно связанных с «Континентом»?*

– Нет, конечно. Они как раз отнюдь не забрасывают нас рукописями – мы их сами ищем, а не они нас.

*– А какие критерии вы вообще имеете при отборе произведений?*

– Я не знаю. Никогда никто не знал этого. Это вопрос, на который никогда нельзя было ответить. Как говорил Чехов, у нас целый ряд критериев. Многословие – это плохо. Если в данном произведении его нет, это уже хорошо. Образная система размыта – плохо. Но если не размыта – хорошо. И так далее. Идешь путем исключения недостатков, одного, другого, третьего, десятого и приходишь к хорошему. Но что такое хорошее – само по себе объяснить нельзя. Это в отношении художественной прозы. С публицистикой обстоит по-другому. Мне приносят статью. Кладут на стол. Я читаю и спрашиваю: сколько она

проживет? Если вы считаете, что год-два, то забирайте ее обратно. Мне такая публицистика не нужна. Это дело газет, еженедельников. Вот если статья не утерит значения через четыре-пять лет, тогда другое дело – я ее печатаю.

*– Как в целом вы рассматриваете свой журнал?*

– Мы рассматриваем себя, конечно, органом перестройки. Меня часто спрашивают, а что я думаю – как всё сложится через год, два? К чему все это приведет? Ведь ситуация в стране крайне сложная. Отвечаю: я не знаю. И никто у нас толком этого не знает. Моя партийность – это беспартийность. Я так жизнь прожил. Пионером я не был, комсомольцем не был, членом партии не был. Но я сделал свой выбор, и если вдруг наступит когда-нибудь момент, когда сторонников перестройки останется всего человек десять, то я буду среди них. Вот это я знаю твердо.

## ПАМЯТИ НАТАШИ ДЮЖЕВОЙ

(1 мая 1949 — 28 мая 1990)

Была у нас такая постоянная шутка: что когда ей будет лет восемьдесят, а мне далеко за девяносто и мы обе будем ездить в креслах на колесиках, то я буду грозить ей клюкой и по привычке ворчливо поучать. Еще совсем недавно я напоминала, уговаривала: а как же клюка? надо же обязательно дожить до клюки... И Наташа находила силы улыбнуться.

В голове навязчиво звучит: «Не может быть, ведь ты была всегда». Удивительно: какое же всегда? Но для меня это «всегда» — без малого вся моя эмигрантская жизнь, от первой случайной встречи на набережной Сены летом 76-го года, а потом уже не случайной — во Владимирской группе, которая была создана после обмена Буковского на Корвалана и занималась политзаключенными Владимирской тюрьмы.

Наташа до того несколько лет прожила совсем без контактов с русскими, а уехала совсем юной, ни про каких «диссидентов» не знала и, говорят, знать не хотела. Но за несколько лет жизни в Париже она, видно, и узнала, и поняла, иначе не пришла бы во Владимирскую группу. Отсюда и началась наша дружба.

Она (еще не могу говорить «была») — самый близкий мой друг, самый близкий человек. Такими бывают только друзья с молодости, а мне уже стукнуло сорок, когда мы познакомились. Разница лет, хоть и не настолько большая, временами дополняла мою дружбу оттенком материнства. А Наташа, в раннем детстве брошенная матерью, тоже привязалась ко мне, как будто находя замену недоданной материнской любви. Сдержанная, скорее даже замкнутая, с близкими она вся раскрывалась, хотя времени и сил, физических и душевных, не щадила и для «дальних» (достаточно напомнить, например, о том, сколько она помогала лозаннскому Комитету Марченко).

«Моя крестная дочка в журналистике», в которую я ее затащила, — мы вместе сидели над ее первыми переводами, рецензиями для «Континента», радиопередачами. Вместе ездили на «диссидентские сходки» — в Вашингтон, Гаагу, Мадрид. В газету она пришла года на полтора раньше меня, и я, в свою очередь появившись в редакции, принялась, конечно, размахивать той самой клюкой, но чем дальше, тем больше замечала, сколько она уже сама может и умеет, притом



такого, чего я не умею. Сколько у нее живого, заразительного интереса к тому, что меня, скажем, при чтении западных газет оставляет прохладной. Все чаще я их откладывала и говорила: «Ты напишешь — а я тогда прочту и всё пойму».

Еще до ее прихода в «Русскую мысль» было создание фонда помощи политзаключенным, названного фондом Александра Гинзбурга (вскоре после суда над ним). Идея создать фонд принадлежала Тане Житниковой, Наташа пошла с нами к профессору Анри Картану как переводчица, а стала секретарем фонда и вела эту работу до самого последнего времени. Кажется, именно тогда Таня и назвала ее «маленькая Наташа» («в отличие» от меня: я на полголовы меньше), и так оно закрепилось: и среди диссидентских знаменитостей (напроралую, но безнадежно за ней ухаживавших), и в газете — все так ее называли.

«Маленькая Наташа», не будучи профессиональным литературным критиком, написала одну из лучших рецензий на мои стихи, самую, может быть, глубокую. (Лучшая — это не та, где меня хвалят, а та, из которой я сама о себе узнаю что-то новое.) Посвящая ей книжку стихов на рождение сына (Стефана, моего крестника), я написала: «...моему неизменному первому слушателю». Слушатель — это тот, о ком: «Читателя! Советчика! Врача!», тот, кого «внешнему» эмигранту нехватает, может, еще больше, чем «внутреннему». Тот, кто не просто слушает, а умеет и, что так здесь редко, хочет слушать.

Три года назад, когда она заболела и первый раз лежала в больнице, в стерильной палате, я шла по улице (может быть, даже в один из тех дней, в которые ехала ее навещать, поговорить через стекло — как в тюрьме) и — как обычно, на ходу — сочиняла стихи. А когда они добормотались до конца, вдруг увидела, что это — ей, хотя в этих стихах нет и не может быть ничего портретного или биографического. Согласовав с главным редактором, я опубликовала их на 3-й странице обложки «Континента», где до того пару раз появлялись мои стихотворные опусы свойства скорее политического.

*Наташеньке* — наверное, посторонний читатель недоумевал, что это за Наташенька и почему стишок помещен на таком видном месте. Но мы-то знали: и сама Наташа, и Владимир Емельянович, и я, и все вокруг, — кому и почему.

Наталья Горбаневская

## ПРОШУ ОТОЗВАТЬСЯ!

В недавние годы заступиться за политзаключенного людям мешал страх. Страх принял форму условного рефлекса «не высовываться». Страх подавил людей — они стали равнодушны, глухи к страданиям ближнего. Они закрывали глаза и уши, надеясь сохранить себя — и не понимая, что их собственная безопасность зависит от человечности и отзывчивости окружающих.

Опыт минувших десятилетий показал, что зло торжествует там, где оно бесконтрольно, где его не обличают, там, где ему никто не противостоит.

Одним из важнейших направлений работы правозащитников я считаю розыск людей, репрессированных по политическим и религиозным мотивам. Узнать о таком человеке, предать гласности информацию о нем — это первая ступень в деле защиты узника.

Именно эту цель преследует «Список репрессированных», который мы начали издавать в Москве и надеемся выпускать ежемесячно.

Основное препятствие в нашей работе — недостаток информации.

Я обращаюсь ко всем, кому дороги идеалы свободы и демократии: Помогайте правозащитникам в розысках репрессированных! Предавайте гласности информацию о них — это необходимо для их защиты!

Надо помочь людям избавиться от патологического страха перед произволом. Ни один честный человек не должен пропасть в казематах ГУЛАГа.

**Никто, кроме нас самих, нас не защитит!**

*М.Алексеев*

*Москва, 1990*

Уважаемый читатель!

Редакция бюллетеня «Страничка узника» настоятельно просит отозваться на призыв Михаила Алексеева. Мы просим сообщать известные Вам данные об узниках совести, о репрессированных за убеждения, за слово, за твердую гражданскую позицию, за политическую и религиозную деятельность.

Организация надежной сети защиты политзаключенных сегодня — верная гарантия Вашей свободы завтра.

Пишите по адресам:

Контактный адрес бюллетеня «Страничка узника» — 125047 Москва, Оружейный пер., 25, кв.134, Санниковой Елене Никитичне.

Редакция «Списка репрессированных» — 117418 Москва, Зюзинская ул., 4, корп.5, кв.249, Смирнову Алексею Олеговичу (Московская Хельсинкская группа).

Московская группа Международного общества защиты прав человека — 101000 Москва, Уланский пер., 14, кв.54, Сендерову Валерию Анатольевичу; 117335 Москва, ул. Гарибальди, 17, кв.48, Попову Кириллу Николаевичу.

Крониду Любарскому, издающему «Список политзаключенных СССР», члену Московской Хельсинкской группы, — Wolfpratshauer Str. 68/III, 8000 München.

Кроме того — пишите в известные Вам правозащитные организации с настоятельной просьбой вступить за узников.

**(Из московского независимого бюллетеня  
«Страничка узника»)**

**Imprimé en Pologne**

**Набор — Анатолий Копейкин**

**Верстка сделана с помощью русской версии  
программы «Вентура», разработанной  
Игорем Ошаниным**

**КОНТИНЕНТ — CONTINENT**  
**Годовая подписка (4 номера)**  
**Abonnement pour 1 an (4 numéros)**

**Фамилия (Название учреждения) (Nom ou établissement):**

.....  
.....

**Адрес (Adresse):** .....

.....  
.....

**Оплату произвожу (Je fais le paiement):**  
приложенным чеком во франках (par chèque en francs)   
почтовым переводом (par mandat postal)   
банковским переводом (par ordre bancaire)

**Стоимость годовой подписки (Prix d'abonnement annuel):**  
200 francs fr. — 60 DM — 32 \$ USA (air mail — 40 \$)

**Заполненный талон просим направлять по адресу**  
(Veuillez envoyer votre talon rempli à l'adresse):

**Association des Amis de la revue «Continent»,  
11bis rue Lauriston, 75116 Paris, France**

**Платеж — по тому же адресу или в банк**  
(Paiement à la même adresse ou à la banque):  
**Les Amis de la revue «Continent», compte 3.726130.8,  
Société Générale, Agence Kléber, 45 av. Kléber,  
75116 Paris, France**

**Для подписчиков в США и Канаде**  
(For the subscribers in USA and Canada):  
**Continent-USA, Edward D. Lozansky  
3001 Veazey Terrace, N.W., Washington, D.C. 20008,  
USA**

Ⓚ

Журнал «Континент» выражает свою глубокую благодарность русским зарубежным художникам, откликнувшимся на призыв помочь журналу продолжить свое существование:

**Татьяне Gabriелянц  
Виталию Длугому  
Евгению Есауленко  
Виталию Комару и Александру Меламиду  
Эрнсту Неизвестному  
Владимиру Некрасову  
Оскар Рабину  
Арнольду Шараду  
Михаилу Шемякину  
Александру Шкурову**

Работы, переданные ими в дар «Континенту», будут выставлены для продажи на крупнейших французских аукционах.

*Редакция также искренне благодарит члена редколлегии нашего журнала **Александра Гинзбурга**, предоставившего нам в долгосрочное пользование компьютер, на котором с 62-го номера осуществляется набор «Континента».*

Получив нижеприведенное письмо, редакция обращается к читателям журнала с просьбой высказать мнение по поводу полученного нами предложения.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СТОЛИЦА»  
Московская организация Союза писателей РСФСР  
17 апреля 1990

Главному редактору журнала «Континент»  
т. Максимову В.Е.

Уважаемый Владимир Емельянович!

Как Вам известно, в нашей стране в последние годы произошли глубокие изменения в области печати. Публикуются ранее запрещенные произведения, принят в первом чтении Закон о печати, разрешающий каждому желающему открывать газеты и журналы любого направления. Открыто обсуждаются в средствах массовой информации проблемы внутренней жизни страны, о которых раньше можно было говорить только в таких журналах, как редактируемый Вами «Континент».

Журнал «Континент» известен всему миру не только многочисленными публикациями высокохудожественных произведений, принесших авторам мировую славу, но и своей человеколюбивой позицией. Идеи свободы, добра, справедливости, которые постоянно утверждает на своих страницах журнал, так необходимы сейчас нашему обществу, раздираемому разногласиями.

Издательство «Столица» считает, что «Континент» должен стать доступным советским читателям, и предлагает издавать журнал в Москве. Никаких изменений в работе редколлегии и редакции не произойдет. Редакция, подготовив номер, передает нам фотонабор. Издательство на своей бумаге тиражирует и поставляет необходимого количество экземпляров за пределы страны, а остальной тираж распространяет внутри страны через подписку и магазины.

Издательство гарантирует невмешательство в творческие дела журнала и обязуется выпускать его на хорошей бумаге. Конкретные вопросы совместной работы можно обсудить и отразить в контракте.

С глубоким уважением

Директор издательства П.Ф. Алешкин